ГРАНИ

GRANY

38

1958

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 4. 1958

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XIII | № 38 | Апрель - Июнь 1958 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ В СССР

Голоса молодой России — Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Я. Аким, Евгений Винокуров, Юнна Мориц, Владимир Гордиенко, Белла Ахмадулина, Иван Рядченко, Иван Харабаров, Валерий Рыжей, Владимир Соколов, Наталия Астафьева, Сергей Давыдов, Владимир Цыбин, Владимир Фирсов, Майя Борисова, Анатолий Поперечный, Александр Коренев — с предисловием И. Гусева 3

РУССКАЯ ПРОЗА ЗА РУБЕЖОМ

А. КАШИН — **Крест на солнце,** рассказ 28
Отец Павел, рассказ 44
ПЕТР ЕРШОВ — **Киримбюбю,** рассказ 60
Г. КЛИМОВ — **Все люди братья,** глава из романа «Имя мое легион» 95

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

Проф. М. НОВИКОВ — **Первые шаги в эмиграции** 128
МИХАИЛ БЕРЛОГИН — **Из воспоминаний советского журналиста** 137

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКОЛАЙ ОЦУП — **Свобода творчества** 147
В. МАЙЦЕВ — **Два течения в литературе и искусстве народов Кавказа** 159
А. МАЗУРОВА — **Мир любви** 175

ИСКУССТВО

Н. А. ГОРЧАКОВ — **Борьба за новое в советской кинематографии** 184

НАУКА И ТЕХНИКА

А. ПОПЛЮЙКО — **Ученые России в советской науке** 195

ПУБЛИЦИСТИКА

Р. ПЛЕТНЕВ — **Закат Европы** 208
Проф. Н. АРСЕНЬЕВ — **А. С. Хомяков** 215
С. ЛЕВИЦКИЙ — **По ту сторону славянофильства и западничества** 237

БИБЛИОГРАФИЯ

К. Фотиев. Облик великого поэта. — **Александр Шик.** «Марьянка». — **М. Шведова.** Три книги о борьбе за свободу. — **С. Рафальский.** «Поющая книга». — **Л. Дувинг.** Об отверженных. 242

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы за апрель — июнь 1958 г. 254
Обращение российского антикоммунистического изд-ва «П о с е в» к деятелям литературы, искусства и науки порабощенной России 260

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ В СССР

Голоса молодой России

Голоса молодой России... Но как определить границу молодости поэта? Годом рождения? Это было бы слишком условно. А какая-то граница была в нашей работе необходима. В качестве таковой, тоже условной, нами взята война.

Мы хотим познакомить читателя с поэтами, творчество которых развивалось или начиналось уже в послевоенные годы. Среди представленных ниже поэтов есть даже участники войны, как, например, А. Коренев, Е. Винокуров, юношами ушедшие на фронт. Военные годы были годами их поэтического детства, поэтическая юность началась после войны.

Для некоторых, как, например, Е. Евтушенко и Р. Рождественского, годы войны оказались переломными. Встретив войну детьми, к концу ее они были двенадцати-тринадцатилетними подростками.

А у самых молодых, как В. Рыжей (18 лет), Б. Ахмадулина, И. Харабаров, В. Фирсов — предвоенные, а для некоторых и военные годы вообще не могли остаться в памяти.

Большинство поэтов либо студенты московского Литературного института имени М. Горького (В. Рыжей, Ю. Мориц, Б. Ахмадулина, В. Фирсов, И. Харабаров), либо уже окончили его.

Все помещенные в подборке стихи были опубликованы в центральных периодических изданиях и альманахах, в течение 1955-58 гг. и, естественно, прошли сквозь соответствующую партийную цензуру. К сожалению, мы не располагали институтскими и кружковыми изданиями, в которых молодые голоса нового поэтического поколения звучат смелее, творческие искания определеннее и ярче.

Эта подборка не претендует на полноту. Восемнадцати имен слишком мало, чтобы широко представить поэтов послевоенного периода. Да и одно или два стихотворения не могут характеризовать все творчество поэта. Чем же руководствовались мы, останавливаясь на том или ином стихотворении? Не мастерство являлось основным признаком при выборе. Не тематика и не какая-либо определенная направленность. Искренность, звучащая в словах поэта, — вот что было взято за основу этой подборки. Эпиграфом к ней можно было бы поставить последнюю строку стихотворения В. Соколова «Даль»:

«Дай мне быть каким хочу».

Мы не отдавали заведомого предпочтения и «крамольным» поэтам, не выискивали «порочных» стихотворений, но когда подборка была окончена, большинство авторов оказалось из числа осужденных партийной критикой. Не говоря

уже об Е. Евтушенко, который обвинялся во всех мыслимых и немыслимых «грехах», осуждался и Р. Рождественский — за «извращение действительности» и «штукачество», И. Харабаров («Люди ржавые, железные...»), В. Рыжей — за «сомнительную символику», Ю. Мориц, Б. Ахмадулина — за «аполитичность» и «упадочничество», Н. Астафьева — за «философию «просто так», В. Фирсов — за «прославление бездеятельного, созерцательного покоя» («Впереди — дороги») и т. д. и т. п.

Предоставляем читателю самому судить о молодом поэтическом поколении послевоенной России. Нам же слышится в их творчестве здоровая жадность к жизни, неудовлетворенность настоящим, стремление к лучшему будущему, порой ими самими еще неосознанному, и главное — стремление к искренности и правде.

И хочется от всей души верить, что

...И по дороге,
самой крутой,
Вздыбленной в высоту,
Будут идти они за мечтой,
Осуществлять мечту!

И. Гусев

Роберт Рождественский

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «МОЯ ЛЮБОВЬ»

Сердце,
слышишь?
Сердце,
помоги мне
отыскать потерю.
Сердце!
Самое святое гибнет!
То,
чем жил я.
То,
во что я верил.
Оказался
очень трудным путь.
Помощь
не окажут мне врачи...
Слышишь, сердце?!
Слышишь?
Не молчи!
Помоги.
Скажи мне что-нибудь...
А сердцу что?
Стучит оно

И не дает ответа.
Немало книг прочитано
Про это.
Задачи сложные
не ждут
Спокойствия души,
Они встают
и там
и тут
И требуют:
реши!
Реши,
а то тебе —
не жить!
И время
не тяни.
Скорей реши!
А как
решить —
Не говорят
они...
Нас вначале
не касалась
Жизни
трудная огромность,
Нам вначале
жизнь
казалась
Очень тихой,
очень ровной.
Как на кафельные плиты,
Вышли мы
в недавнем прошлом
В жизнь,
где ставились конфликты
Только «лучшего»
с «хорошим».
Мы проверяли это,
Мы сгоряча спешили,
Нам давали советы
Мудрые
старожилы.
Нам советы давали
И, разводя руками,
Наши мечты называли
«Розовыми
очками».
Это
не «розовые очки»!

Это
не «розовые мечты»!
Вышли безусые пареньки
В мир,
где тропы
круты.
Вышли учиться и побеждать,
Вышли работать,
но,
Где б они ни были,
всё равно
Будут
они
мечтать!
И по дороге
самой крутой,
Вздыбленной в высоту,
Будут идти они за мечтой,
Осуществлять мечту!

«Октябрь», 1955 г.

У Т Р О

Есть граница между ночью и утром,
между тьмою и зыбким рассветом,
между призрачной тишью
и мудрым
ветром . . .
Вот осиновый лист трясется,
до прожилок за ночь промокнув.
Ждет,
когда появится солнце . . .
В доме стали заметней окна.
Спит,
раскинув улицы,
город.
Все в нем —
от проводов антенных
до замков,
до афиш на стенах —
все полно ожидания:
скоро!
Скоро!
Скоро!
Вы слышите?
Скоро!!
Птицы грянут звонким обвалом,
растворятся, сгинут туманы . . .

Темнота заползает в подвалы,
в подворотни,
в пустые карманы.
Наклоняется над часами,
смотрит вьцветшими глазами
(ей уже не поможет это!), —
и она говорит
голосами
тех, кто не переносит света.
Говорит спокойно вначале,
а потом — клокоча от гнева:
«Люди! Что ж это вы?
Ведь при мне вы
тоже
кое-что
различали . . .
Шли, с моею правдой не ссорясь,
хоть и медленно, да осторожно.
Я темней
становилась
нарочно,
чтобы вас не мучила совесть,
чтобы вы не видели грязи,
чтобы вы себя не корили . . .
Разве было плохо вам?
Разве
вы об этом тогда говорили?!?
Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся в полнеба зари.
Замолчи. Будет утро тебе отвечать!
Будет утро с тобой говорить.
Ты себя оставь для своих льстецов,
а с такими советами к нам не лезь!
Человек погибает
в конце концов,
если он
скрывает свою болезнь!
Мы хотим оглядеться и вспомнить теперь
тех, кто песен своих не донес до утра.
Говоришь, что грязь не видна при тебе?!
Мы хотим ее видеть!
Слышишь?
Пора!
Знать, в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,
чтобы руки скрутить им,
чтоб шеи свернуть . . .
Зазвенели будильники на столах.

А за ними нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах
с клекотом гулким
проснулась вода . . .
С добрым утром!
Ты спишь еще?
Встань скорей!
Ты сегодня веселое платье надень,
Встань!
Я птицам петь для тебя велю . . .
Начинается день!
Я люблю это время.
Я
жизнь
люблю!

«Литературная Москва», 1956 г.
Сборник первый

К О С Т Е Р

Умирал костер, как человек . . .
То устало затихал,
то вдруг
вздрагивал,
вытягивая вверх
кисти желтых
и прозрачных рук.
Вздрагивал,
по струйке дыма
лез,
будто унести хотел с собой
этот душный,
неподвижный лес,
от осин желтеющих
рябой,
птиц
неразличимые слова,
пухлого тумана
длинный хвост,
и траву,
и россыпь синих звезд,
тучами прикрытую едва.

«Знамя», 1958 г.

Евгений Евтушенко

ДВЁ ЛЮБИМЫХ

Милая,
не надо слов обидных,
что ищу тревог и маяты.
У меня на свете две любимых —
это Революция и ты.

Стала Революция фамильной,
воплотилась в песни и литьё.
Пишут книги,
ставят кинофильмы,
лекции читают про нее.
Но ее большие годовщины —
не одни итоги звучных дат.
Вижу на лице ее морщины
от измен, раздумий и утрат.
Вижу всё,
но я не просто каюсь —
очищаюсь и готовлюсь в бой.
На колени
тихо
опускаюсь
перед нею
и перед тобой.
Признаюсь вам с горькой неулыбкой,
сколько понабилось в дни мои
самой всякой дружбы невеликой,
самой всякой маленькой любви.
Вы меня,
любимые,
простите.
Не рутайте с нынешнего дня.
Вы меня в дорогу проводите.
Вы любите всё-таки меня.
Ухожу я не с одной виною —
с мужеством и правдою в груди,
честный перед тем, что за спиною,
сильный перед тем, что впереди.

«Новый мир», 1955 г.

В ПАЛЬТО НЕЗИМНЕМ, В КЕПКЕ РЫЖЕЙ...

В пальто незимнем,
в кепке рыжей
выходит парень из ворот.
Сосульку, пахнущую крышей,
он в зубы зябкие берет.
Он перешагивает лужи,
он улыбается заре...
Кого он любит?
С кем он дружит?
Чего он хочет на земле?
Его умело отводили
от наболевших «почему».
Усердно критики твердили
о бесконфликтности ему.
Он был заверен ложью веской
в предельной гладкости пути,
но череда несоответствий
могла к безверью привести.
Он устоял,
он глаз не прятал,
и с той поры открытий злых
заклятый враг его —
неправда
во всех обличиях земных.
Втираясь к людям, как родная,
она украдкой гнет свое,
большую правду подменяя
игрой постыдною в нее.
Клеймит людей судом суровым.
Вздувает, глядя на листок,
перенасыщенный сиропом
свой газированный восторг.
Но все и взгляды и улыбки,
вся заверительная прыть
для парня этого —
улики,
чтобы лицо ее открыть.
В большое пестрое кипенье
выходит парень из ворот.
Он в кепке, мокрой от капели,
по громким улицам идет.
И рядом
с болью и весельем
о том же думают,
грустят
и тем же льдом хрустят весенним,
того же самого хотят.

«Молодая Гвардия», 1956 г.

* * *

Какое наступает отрезвленье,
как наша совесть к нам потом строга,
когда в застольном чьем-то откровенье
не замечаем вкрадчивость врага.
Но страшно ничему не научиться,
всегда на роли судей притязать
и юности мятущейся, но чистой
нечистые стремленья приписать.
Усердье в подозреньях — не заслуга.
Слепой судья — народу не слуга.
Еще страшнее, чем врага за друга,
принять поспешно друга за врага.

«Новый мир», 1957 г.

Я. Аким

СЛЕПОЙ В МЕТРО

Он шел тихонько, без поводыря,
Нездешний житель, если приглядеться:
Косой стежок чиненного дырья,
Мешок из вафельного полотенца.

Вдоль гулкой залы ветерок сквозит,
Грохочет гром в подземных коридорах.
А палка непривыкшая скользит
По вылощенным плитам лабрадора.

Он век провел как будто под землей.
Всегда один. В потемках. Без ответа.
Он шествует, как патриарх седой,
Среди толпы и неживого света.

Ему в вагон пробраться помогли,
Он сел. И вдруг у девочки-соседки
В руках почуял запахи земли —
Березок зеленеющие ветки.

И с девочкой старик заговорил,
И с нею вместе выйдя из вагона,
Не трогая захватанных перил,
Поехал вверх, за веточкой зеленой.

Несла его наклонная река . . .
А мне казалось, что свершится чудо,
И девочка слепого старика
На землю зрячим выведет отсюда.

«Литературная Москва», 1956 г.

Евгений Винокуров

Пишите кровью!
Лишь одной, пожалуй,
Я верю ей —
Она всему виной.
Пишите кровью,
Настоящей,
Алой,
Пишите кровью,
Только ей одной!

Пишите кровью,
И тогда поймете,
Что кровь правдива
И всегда нова.
Линючие чернила не в почете
У выстрадавших право на слова!

Пишите кровью,
Снова повторяю
И буду повторять
Из года в год.
Пишите кровью,
Я ей доверяю.
Довертесь ей —
Она не подведет!

«День поэзии», 1957 г.

О Г О Н Ь

Когда-то в детстве я читал про это,
И мысль тревожит до сих пор меня,
Что родилась из пламени планета,
Что мир возник однажды из огня.

И страшно мне становится порою,
Лишь только я представлю, что сейчас
Вот здесь, под нами,
под земной корою,
С дней первозданья пламень не погас.

Бывало:
ветки наломай сухие,
Ударь кресалом и полой накрой,

И вот клочочек мировой стихии
Затеплится средь полночи сырой.
Среди январской темноты военной,
В тревожную метель и гололедь
Он, тайна тайн,
из глубины вселенной
Возникнет, чтоб ладони отогреть.
Он скрыт во всем.
Ему лишь дай пробиться . . .
От лет древнейших
И по наши дни
Огонь в сердцах пророков и провидцев
Огню тому вселенскому сродни.

«Октябрь», 1957 г.

Юнна Мориц

* * *

Земля казалась ровной под ногами,
Но исчезали в море корабли,
И кто-то первый робкими шагами
Пошел тогда на самый край земли.

Ему, наверно, было ровно двадцать,
Но я не знаю имени его.
Он просто первым начал сомневаться
В существованье края самого.

Но впереди земля сходилась с небом
И уверяла смелого гонца,
Что хватит жизни, хватит сил и хлеба,
Чтоб он сумел добраться до конца.

Желтели травы, замерзали реки,
Цвели сады от майского дождя,
И находились силы в человеке,
Чтоб умереть, до края не дойдя.

И, увидав последний раз планету
И светлый-светлый горизонт вдали,
Понять: того, что так искал он, нету,
Раз исчезают в море корабли.

«Молодая гвардия», 1956 г.

* * *

Послушай, птах! Возьми меня с собой.
Я буду крепко за крыло держаться,
Я буду крепко с коршуном сражаться,
Как ты, у всей земли над головой.
Не думай, птах! Возьми меня с собой.

Летим! На небе не бывает мертвых,
И птицы умирают на земле.
Я всё смогу под молнией, во мгле
На тонких теплых крыльях распростертых.
Возьми. На небе не бывает мертвых.

Послушай, птах! А если вдруг случится,
Что крыльев я своих не обрету,
А на твоих, измерив высоту,
Уже ходить успею разучиться
И заживу не на своем лету?
Послушай, птах! А если так случится . . .

«Молодая гвардия», 1956 г.

Владимир Гордиенко

П О Л Е Т

Этот счет мы ведем с Икара,
С риска, с гибельного удара
Так века на земле ползли.
Сколько раз постигала кара
Нас, штурмующих вышину!

Это славы не приносило,
Это верную смерть сулило.
Так века по земле ползли.
Но жила в человеке сила,
Отрывавшая от земли.

И случалось чаще и чаще:
Где-нибудь над городом спящим,
Над развернутым фронтом крыш
Черепичных или тесовых
Человек поднимался новый
На рассвете в сквозную тишь.

Он на миг хмелел от простора,
Но внизу пробуждался город,
Совмещающий блеск и грязь,
Куполами своих соборов
От взлетевшего открестясь,
И земля надвигалась грозно,
И на ней процветала косность,
И кричали взахлеб ханжи:

«Человек, ты из праха создан,
Что ж ты в небе искал, скажи!»

Это время давно минуло.
Реактивным смятенный гулом,
Над планетой простор навис.
С каждым днем совершенней крылья,
Но земля не сдалась в бессилье
И по-прежнему тянет вниз,

Чтоб, в полет устремившись трудный,
Не увлекся ты зовом смутным
Бесконечно больших путей,
Чтобы помнил ежеминутно,
Чей должник ты и пленник чей.

А забудешь — назад с разлета,
И прощайте навек, высоты,
И сгибает горе родных.

Есть квартиры в домах пилотов,
Безутешные вдовы в них.
Без отцов там остались дети . . .
Но за окнами на рассвете
Чей-то новый мотор поет —
То по-прежнему, в нарушенье
Силы вечного притяженья,
Человек уходит в полет.

«Нева», 1957 г.

Белла Ахмадулина

ЕЛЬ

Здравствуй, старая ель. Я опять на твоем пригорке.
Ты стоишь в окруженьи своих невысоких подруг.
У тебя на макушке уже поседели иголки,
Да и всё изменилось вокруг.

Я к тебе прихожу таким же прозрачным утром,
Словно не было года до этого летнего дня.
Ты встречаешь меня по-прежнему строгой и мудрой.
Ты все понимаешь и, наверное, любишь меня.

У тебя на корнях, словно в прошлом году, примостилась
Рыжеватая стайка каких-то липких грибов.
А чего только за год со мной не случилось:
И печали, и радости, и большая любовь.

Из тревожного сердца столько вылилось строчек,
Столько неясного стало понятным насквозь.
Кончилось то, что когда-то казалось прочным,
А то, чего не было, началось.

Но осталась любовь к твоей стороне заречной,
К тебе — в сапожках из мягкого, теплого мха.
Это — Родина. Может, лишь это вечно,
Может, лишь это никогда не уйдет из стиха.

«Октябрь», 1955 г.

ЖАЛЕЙКА

Я уеду ранним утром
Наставленьям вопреки,
Я проснусь в домишке утлом
Возле пасмурной реки.

Залюбуюсь сивым дедом,
Что проходит босиком.
Ах, откройте, что он сделал
С тем зеленым тростником.

Он спускается с пригорка,
Бабы смотрят из ворот.
Так ли тонко, так ли горько
Та тростиночка поет?

Я стою с тяжелой лейкой,
Спелых грядок не полью.
Пожалей меня, жалейка,
Что я песен не пою.

Я болею, я устала,
Оттого и не могу.
Промычало мимо стадо,
Запестрело на лугу . . .

Водят кони вострым ухом,
Дождь пузырится у ног,
И метет лебяжьим пухом
Тополиный ветерок.

А по теплым тем сугробам,
По глубокой той воде
Всё идет с лицом суровым
Дед с тростинкой в бороде.

«Молодая гвардия», 1957 г.

Иван Рядченко

* * *

Когда ты лгал на поле обожженном
бессмертному сержанту своему,
что не задет взорвавшимся патроном,
и стон скрывал улыбкою в дыму;

когда ты знал: припасов больше нету,
твердил, что сыт, и, сделавши привал,
как целый мир, последнюю галету
товарищу больному отдавал;

когда в глазах у женщины заветной
ты замечал вдруг жалость, а не пыл,
и храбро врал в печали безответной,
что встретил и другую полюбил, —

тогда, сойдя с крутого пьедестала,
преодолев преграды и бои,
перед тобою Правда преклоняла
колени неистертые свои!

«Октябрь», 1957 г.

Иван Харабаров

* * *

Тайга родила меня
в темном лесу,
В зеленую
мокрую ночь.
Гладили ветви
ее по лицу,

Старый кедр
ей старался помочь.
И долго металась
и билась она,
Долго стонала от мук.
Я родился
в дебрях
дремоты и сна,
Весел, упрям и смугл.
Я будил их как мог,
я сил не берег,
Чистым голосом
в небе звеня.
И глядели медведи
из древних берлог
С удивлением на меня.
С белками
весело я играл —
Шишки ловил на лету.
У края пропасти замирал
И жадно глотал
пустоту.
О тайга,
моя хвойнорукая мать
В мягком собольем меху,
Ты большая,
тебя не могу я обнять,
Лишь целовать
могу . . .
Я ушел от тебя
по воде, по весне,
Я живу от тебя вдалеке.
По ночам
ты являешься мне во сне,
Прикасаешься хвоей
к щеке.
Я навеки
близкий тебе и родной,
Дай мне зоркость
и гордость гор,
Чтоб не сбился с пути я,
следи за мной
Глазами
своих озер.

«День поэзии», 1957 г.

Валерий Рыжей

* * *

Я это вижу каждый год . . .
Опять на реках стаял лед,
И слышно, как трава растет,
Как в тесной почке лист живет
И землю корень раздает.
И доказательства весны
Неумолимы и ясны.

Уже в цветке бунтует плод,
И пчелы сочиняют мед,
Такой же, как и прошлый год . . .

Мне надоел круговорот,
И я хочу найти одну
Необычайную страну,
Где всё идет наоборот:

Там стрелка на часах ползет
Не как у нас — наоборот.
Там суток ход наоборот,
И лет черед наоборот.

И прошлое там впереди,
И будущее — позади.

Там в глубь земли растет трава,
Четырежды четыре — два.

Там добродетели — пороки,
А все историки — пророки.
Потомки предков порождают,
И горы, вставшие стеной,
Вдруг альпинистов поражают
Непостижимой глубиной.

И рифма слышится всегда
Меж словом «нет» и словом «да».

И если слава велика —
Для благодарных поколений
Ржавеет памятник века,
И лишь потом родится гений.

Живет всегда наоборот
Наоборотичей народ . . .

Я там, наверное, пойму,
Что это вовсе ни к чему,
И что четыре — дважды два,
И что весна всегда права . . .

«Молодая гвардия», 1957 г.

Владимир Соколов

Ч А Й К А

Вот так и встретились — случайно.
— Да ты ль? — Да, я! — Ну, с коих пор! . .
И, что ж, сидим, пьем пиво в чайной,
Никак не склеим разговор.

— Давно не виделись . . . — Давненько.
— Ну, вот и встретились. — Ну, вот . . .
И всё какая-то ступенька
Нам шагу сделать не дает.

А за окном желтеет глина,
Накрапывает . . . И вот-вот
Меня попутная машина
Сигналом долгим позовет.

И — все. А были годы, годы,
Все звонкие, как на подбор.
И — через немоту — я с ходу,
Как в годы те, — через забор.

И, как всегда, — на первом слове:
Что думаешь и как живешь?
А он, приподымая брови:
— Ты, — говорит, — машину ждешь?

А я, товарищ, ни машины,
Ни Божьих ангелов не жду.
Живу — как все. И нет причины
Пороть, как в детстве, ерунду.

А ты, гляжу, все так же бредишь.
Не понимаешь ничего.
Худой, как чёрт, бодришься, едешь . . .
Куда, зачем и для кого . . .

Ну, старый, чокнемся давай-ка, —
И наклонился над столом.
А дальше будет всё про чайку,
Про белую на голубом.

. . . Летела чайка, птица смелая,
Так воздух резала легко.
Дурного никому не делая,
Летать умела высоко.

Не приручишь, не приневолишь,
Не возвратишь издалека,
Хоть чайка и была всего лишь —
Со спичечного коробка.

Но, как у всякой чайки, были
И даль, и море у нее,
И к небу вскинутые крылья,
И пены белое шитье.

Но мой приятель, заугрюмев,
Коробку (видно, свет не мил)
Тупым ножом сломал в раздумье
И чайке крылья перебил.

. . . Лил дождь над спутанною рожью,
Над ширью смутной и рябой.
Машина шла по бездорожью
И свет несла перед собой.

Я в тучах разглядеть старался,
Как трудно прояснялась даль.
А он . . . Он где-то там остался,
Там, позади . . .
А чайку — жаль.

«Литературная Москва», 1956 г.

Д А Л Ь

Лес и поле. Обь и Волга.
Всюду полая вода.
Ты не спрашивай: надолго?
Ты спроси меня: когда?

Я зову тебя в дорогу,
В солнце, в радугу, в тревогу.
К ним лицом — спиной к порогу.
Много света, мало льда.

Отчего весною дали
Пахнут ветром и сосной?
Это — чтобы мы не спали,
До рассвета снег топтали,
Чтобы вещи собирали,
Чтобы ты была со мной.

Отчего родство и свойство
У весны и неустройства?
Это — чтобы в поздний час
Красота и беспокойство
К нам входили, не стучась.

Чтоб, откинув одеяло,
Чтобы, подбежав к окну,
Мы твердили: мало! мало!
Надо всё начать сначала,
Чтобы всё не так звучало.
Нам бы жизнь еще одну.

Отчего простор весенний
Убегает, убегает:
Рельсы, шпалы, провода,
Облака и птичьи семьи? —
Чтобы вызвать опасенье:
Что как он — сбежит, растает.
С чем останется тогда?

Слушай, слушай, снова, снова
Потянулся мир к лучу.

Дай мне руку, дай мне слово,
Дай мне быть каким хочу.

«День поэзии», 1956 г.

Наталия Астафьева

Я сдаю свои позиции,
я сдаюсь —
хочу влюбиться,
мне сынишка светлолицый,
знаешь, стал всё чаще сниться.
Захотела я простого
счастья женского. И что же?
Ничего в том нет плохого,
в том, что я на всех похожа.

Захотела жизни полной.
Пусть семейные заботы
надо мной смыкают волны
с воскресенья до субботы.
Пусть сынок белоголовый
ручкой мне сжимает груди,
пусть меня хорошим словом
за любовь помянут люди.

«Октябрь», 1957 г.

Сергей Давыдов

В ПОСЛЕДНЕМ АВТОБУСЕ

К холодной вытертой клеенке
Прижавшись теплою щекой,
С вечерней смены спит девчонка,
Минутный обретя покой.
А на руках уж вен извивы
Узоры первые сплели,
И первые на лбу красивом
Морщинки тонкие легли.
Пройдет автобус, до рассвета
Вновь будет улица тиха . . .
Сентиментальность? — Нет, не это
Я нынче выбрал для стиха.
Хоть вижу — мне уж кто-то машет
И жмурит недовольно глаз.
Товарищ мой! Подруги наши
Стареют всё же раньше нас.
Мы знаем смерть и грохот боя,
За нами дел уже гора.
Мы столько сделали с тобою,
Что можно б крикнуть и ура,
Но не шумишь ты о победе,
До боли в сердце оценив,
Как плохо, что девчонка едет,
Устало голову склонив.

«Нева», 1957 г.

Владимир Цыбин

СЛОВА

Они завязывались, мякли,
во мне бродили,
как в ковше.
Я собирал слова по капле
в чужих устах,
в своей душе.

Они цвели в простых улыбках
и в травах горкли на земле,
их мама нянчила над зыбкой
и дед качал в своем седле.
Я их держал в себе глубоко
и, чтоб не канули во тьму,
их не показывал до срока,
не говорил их никому.

И пусть они из сердца рвутся,
я их до цели донесу!
Пускай в груди моей толкутся,
покамест в тучи не собьются,
не понесут в себе грозу!

И я помочь грозе стараюсь,
ведь, может, где-то,
не дыша,
их ждет,
от жажды задыхаясь,
ночная смутная душа.
И если силы все иссякли
и если ей дышать невмочь,
хочу,
хотя бы малой каплей,
а всё же вовремя помочь.

Пускай еще их очень мало,
но я коплю их с каждым днем,
чтоб из всего,
что есть кругом,
во тьме ни грамма не пропало, —
чтоб капля
превратилась в гром!

«Москва», 1958 г.

Владимир Фирсов

ВПЕРЕДИ — ДОРОГИ

В росе босые ноги.
Иду — трава по грудь.
И хочется в дороге
Немного отдохнуть:

Присесть на пень замшелый,
Котомку сбросить с плеч,
И целый день без дела
Лесной покой стеречь . . .

Иван в обнимку с Марьей
В твои глядят глаза;
Ты здесь хороший парень,
Здесь быть плохим нельзя,

Дрожит осинник робкий:
Теплынь, — а он продрог . . .
И убегает тропка
Из-под усталых ног.

Чуть свистнешь — отзовется
Тебе проворный дрозд,
Спешит большое солнце
Допить остатки рос.

Сидишь.
Босые ноги
Кусают муравьи . . .
А впереди — дороги
И все они — твои!

«День поэзии», 1957 г.

Майя Борисова

Мороз был яростен.
Топор — остер.
Срубив,
Березку бросили в костер.
Огонь взревел,
Глуша предсмертный всхлип.
И вдруг
Она на миг
Раскрыла почки,

И клейкие зеленые листочки
На обгоревших прутьях
Зацвели.
И дрогнуло изрубленное тело.
Так храбрые
Поют
Перед расстрелом.

«Нева», 1957 г.

Анатолий Поперечный

П Т И Ц Ы

Мороз. И ветви скрючены в саду.
Мороз. И в жестком небе не согреться.
И умирает птица на лету,
Как умирают от разрыва сердца . . .
А там, где млеют листья от тепла,
Живут другие птицы на земле,
Почти не вылетая из дупла,
Привыкшие глазами к полумгле . . .
Отшелестел к рассвету снегопад.
Мороз. И крылья сложены твои.
И — камнем вниз,
в запорошенный сад.
Поминки справят летом соловьи.
И сумасшедший день придет в цвету
С травой в росе и знойным небом
в звездах.
Есть птицы — умирают на лету.
И есть птенцы — стареют в теплых гнездах.

«Литературная газета», 1958 г.

Александр Коренев

ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ

После купанья в лесном ручье
Крепче, моложе всё чувствую вдвое.
Ноги
легко
взбегают по хвое
В сосенной, солнечной толчее.
Сосенный,

Солнечный,
Невесомый,
Сонный
Зной
Лесной,
Сквозной
Смыт, словно пыль со стекол оконных,
С чувств моих,
вспыхнувших новизной.
В нараспах, на бегу, на лету,
Лес ощущаю
Жилкою каждой,
Тугостью кожи,
дыханья жаждой,
Мокрыми волосами на лбу.
Трудное,
знойное лето Сибири . . .
Разве про отдых
Мы позабыли?
Как хорошо, что за горной грядою
В дебри забраться мне довелось!
О, это чувство
мокрых волос,
Пахнущих молодостью и водою!
Может, жар-птица,
Может, мне снится,
Лес, ты зеленое море, ты рыж.
Ты
сквозь намокшие ресницы
Мохнатыми радугами горишь.
Гладковолосый,
в блеске богатом,
В бликах, играючи и крича,
Весь, будто рыба,
блестящ и обкатан,
В сосны вбегаю
После ручья . . .
Жизнь моя,
Вечно я твой
И ничей.
Жизнь моя,
ты мой лесной ручей!
Дай мне
озноб и разбег твой вешний,
Не позволяй мне забыться сном,
Чтобы я жил,
чтоб любил,
чтоб вечно —
После купанья в ручье лесном.

«Молодая гвардия», 1956 г.

А. Кашин

КРЕСТ НА СОЛНЦЕ

Рассказ

1

Город — громадина. Жители соревнуются друг с другом в хвастовстве: « Восьмой порт в мире!» Есть в городе стройные, вытянутые в струнку центральные улицы и есть заброшенные районы. Они выглядят так, будто однажды, совсем недавно, отданы были кому-то на поток и разграбление. Небоскрёб в сорок этажей, а под ним в ветхой хибарке седой патриарх с тонкой бородой жарит лепёшки. И голодные рикши воздевают любопытные головы — оглядеть верхушку.

Пустыри. Там ребятишки собирают сочный зеленый лук и большими охапками носят его домой. Они едят его с крупной, зернистой китайской солью, сочно чавкают, наслаждаются. С пустырей несёт по городу полынью, и прохожие торопятся от них убежать — не опьянеть бы и не упасть бы. Соломенные домишки глядят с пустырей на пустые улицы.

Летом город полон цикадного грохота и сухого зноя. Вечерами люди выползают на улицы, полнят их табуретками-коротышками. Тогда трудно пройти по тротуару, и на расплавленных, асфальтовых дорогах пешеходы соревнуются в ловкости с быстроногими рикшами.

Но все это далеко, далеко... совсем иной мир, иные заботы. Нам всё это неизвестно. Мы этого не видим. Даже когда проходим по таким, полным народа, улицам, мы закрываем глаза и не видим. Нам нельзя этого видеть. Мы другие. Мы не говорим: восьмой порт в мире! Нам это безразлично. А когда всё же приходится говорить о городе, мы называем его «мир». Мир и мы. Совершенно разные, совершенно другие. И ничего общего у нас нет. Мир иногда приходит к нам, мы к нему никогда.

В одном из заброшенных районов, окруженных полынными пустырями — пятиглавый, православный собор. Это — мы. Сюда мир приходит по субботам и воскресеньям. Тогда, пробегая по двору, куда богомольцы выходят из собора перекурить, отдохнуть, пококетничать, приходится слышать разговоры.

— А «голдбары» поднялись, и здорово поднялись.

Я долго не мог догадаться, о чём говорят. И только какими-то тёмными путями, не помню даже у кого, удалось мне выпытать, что таинственные «голдбары» не что иное, как слитки золота.

Ещё задевает меня пряное слово «она». Она мне сказала... она пришла ко мне... она сегодня здесь будет...

Она!

Как давно это было! Неужели это было когда-нибудь! И неужели еще где-то, еще в каком-то непонятном, таинственном чужом мире существует эта, почти забытая «она»!

Внутри главного купола расположился огромный Бог-Саваоф. Распахнул мощные руки и наблюдает. Наверное, знает каждую мысль, каждый соблазн. К счастью, соблазнов нет. Неоткуда им взяться. Горят ароматные свечи, воздух пышет ладаном: не до соблазнов. И только редко-редко приходит в голову вот это — «она»:

Голос чтеца: «Господи помилуй, Господи помилуй!..» Потом он переходит в монотонные удары бубна: «осмыл, осмыл, осмыл...» И тогда он не мешает думать.

Вот, допусти, есть двое. Он — такой как я. Послушник в странном соборе на пустыре большого города. И она — послушница, тоже в каком-нибудь таком же странном монастыре. Они как-то встречаются. Это, конечно, трудно устроить. Где могут они встретиться, если они нигде не бывают, если всё, что за стенами — мир? Но допустим, допустим они встретились. И вот у них родилось что-то, что называется любовь. Они скрываются по ночам, уходят туда, в мир. Оба, вдвоем. Это тоже трудно, это почти невозможно. Но допустим, допустим... Что они делают там? Они говорят друг другу о своей любви. А потом? Проходят недели, проходят месяцы. Они хотят бежать. Мне представляется так. Они обязательно бегут на лодке. Иначе не может быть. Почему? Не знаю. Но обязательно так. Они выходят из реки (наверно, есть какая-нибудь река в нашем городе. Какой же это город, если в нем нет реки! Ах да, ведь восьмой порт в мире!). Лодка начинает поворачивать и вдруг... навстречу пароход, и они не успевают проскочить. Наказание сразу за преступлением.

Как быстро! Еще не успело кончиться гугнивое «осмыл», а прошла целая трагедия. И тогда я начинаю понимать. Конечно же, они сели в лодку с умыслом. Они ведь этого и хотели. Они знали: жизни им нет. И они хотели умереть. Но обязательно вместе. Всё.

А Господь-Саваоф смотрит с купола и всё знает. Потому нет у него в глазах даже гнева. Он знает: ну, я так подумал, но ведь со мной этого никогда не случится.

Дьякон толстенной ручищей толкает в бок: надо петь.

«Свете тихий, святыя славы, бессмертного Отца Небесного...»

И приходит вечер. Золотятся иконы, свет льётся в широкие окна, мягким, нежным полотном ложится на пол. Блестки огня пронизывают весь собор. Вечер кончается, подходит ночь. Где-то за стенами шумит «мир». А мы здесь, мы одни. На нас глядит Господь-Саваоф. И мы одни, одни, одни...

2

Я ему как-то рассказал об этом, отцу Рафаилу. Он улыбнулся своей кривой улыбкой и сказал: — А знаешь, что с ними потом было? Не знаешь? То-то же. А вот что. Бултыхнулись в воду с головой и

всякое желание топиться пропало. Друг друга за волосы хватали, топили, выбраться бы, хоть даже и ценой чужой шкуры свою спасти. Ну и вопили, конечно: спасите — дескать. Спасли их. Так, уверяю тебя, они потом глядеть друг на друга без отвращения не могли. Как посмотрят, так и вспомнится, как топили один другого...

Странный он человек, отец Рафаил. И какой он монах? Помню, познакомился с ним. Это было столетие назад. Мы разговаривали в трапезной. Он пришел, я читал «Четьи-Минеи».

— Интересно? — спросил он.

— Да, очень интересно. — Другого ответа я подыскать не мог — тем паче в беседе с монахом (ведь он все-таки монах).

— Брось! — сказал он. — Совсем не интересно. Давай лучше разговаривать будем.

Он ни минуты не мог на месте пробыть: крутился волчком, грохотал скамейками, четками крутил в воздухе, будто четки ему на забаву даны. Какой он монах! Я так и сказал ему: какой вы монах, отец Рафаил!

— Никакой. А какой это монастырь?

— Ну как какой! Где монахи живут, там и монастырь.

Он мне задал коварный вопрос:

— Который нынче час?

— Не знаю. Часов десять.

— Десять чего?

— Вечера.

Тогда и заметил я впервые эту улыбку — оттянутость верхней губы и напряженность взгляда.

— То-то и оно что вечера. А я вот сейчас шел по лестнице и видел: две женщины куда-то шагают...

— Они уборку делают... — хотел я объяснить, но он меня перебил.

— По уставу, в монастыре после захода солнца и ангелам женского пола пребывать воспрещается.

Я живу напротив его кельи и потому встречаюсь с ним часто. И разговариваю. Учусь? Не знаю. Стоит ли этому учиться!

У ворот собора всегда толпа. Рикши, просто нищие. Когда начинается богослужение, все лезут в ограду. При входе в самый храм, помимо огромных входных дверей (скорее ворот), построили еще одни — низкие, в полчеловеческого роста, чтобы можно было только заглянуть вовнутрь. Это и держит всю ораву на площадке перед входом — на паперти. Порой какой-нибудь слишком ретивый богомолец начинает разгонять их. Они летят воробьиной стаей, вылетают на улицу и оттуда глядят удивленными глазами: почему нельзя? Попробуйте им объяснить. А ведь действительно: почему нельзя?

Отец Рафаил говорит: — И вот всегда так. Хвастают, бахвалятся: мы, христиане! А что сказано? «Не запрещайте малым сим приходить ко Мне».

А однажды он сказал мне так: — Что ты сюда пришел, это правильно. Только ты должен понимать, зачем ты сюда пришел. Если искать правду, истину пришел, — глупо сделал. Здесь есть недалеко таоистский монастырь, туда бы тебе стопы свои и направить в таком

случае. А если пришел с пониманием, тогда правильно. От всей России у нас ведь только это и осталось . . .

От всей России? . .

— Погляди, что там происходит нынче. Тризна каннибалов! — Усмешка.

От всей России! Ярко горит на солнце золотой крест. На нём одном солнца больше, чем во всём остальном городе. И это всё, что осталось от России. А разве этого мало?

3

Конечно, и у нас кое-что случается. Монах Фёдор, сильно подвыпивши, читал «Апостол». И прочёл, вместо «стамна злата в ковчеге с манной» — «сатана злата в ковчеге». Смеху было! До сих пор, вспоминая, смеются. И еще: тот же монах Федор на Крещенье, ныряя за крестом в купель, сорвался и зуб себе вышиб. Потом владыка ему зуб искать в купели запретил. Так и раздавали православным воду вместе с зубом отца Фёдора.

Вообще же, жизнь у нас, конечно, тихая и без происшествий. Только если глядеть в ворота, можно что-то увидеть. Проходят монахи из таоистского монастыря. Далёкие, что-то знающие. Глядят всегда прямо перед собой. Ни с кем не заговаривают. Даже не поворачивают головы — взглянуть на наш собор. Одни губы их быстро шевелятся. А мне, глядя на них, обидно: строили, вымахали этакую громадину, а им хоть бы хны, будто и нет никакого собора — пустое место.

— Что они бормочут, отец Рафаил?

— Бормочут? — он собирает в кулак тонкую, совсем китайскую бороду. — Они говорят: «Великое Тао не допустит себя хвалить. Великий спор не требует слов» . . .

— А что это такое? . . Да ведь это они про нас . . .

А он вновь улыбается и вновь эта кривая усмешка: — Вот тебе и Господь-Саваоф.

— Отец Рафаил, а зачем вы в монахи пошли?

— Говорю же тебе, единственное, что осталось от России. . .

— А разве Россия так обязательна?

Я ведь её не видел — откуда мне знать!

— Нет, не обязательна. Но без нее вообще ничего не остается. А жить надо.

А зачем я пошел? Я себя об этом никогда не спрашиваю. Потому что знаю. Это только для вас я говорю теперь.

Здесь тихо, здесь спокойно, здесь всё на своём месте. И только отец Рафаил — единственная загадка, которую, может быть, не стоит и разгадывать. И даже эта таинственная «она» отсюда таинственнее, чище и лучше. Потому что издалека всё ближе.

Кроме того, есть у меня память.

Это было давно. Столетия пронеслись с тех пор над землёй и над моей жизнью. Но память от этого не погибла. Наоборот, повзрослела, осмыслилась.

Только что кончилась какая-то война. Кто-то с кем-то воевал, и значит кто-то войну эту выиграл. Город был полон солдатами, и ребя-

тишки бросили собирать сочный лук. Они теперь бегали за солдатами и попрошайничали. Порой им удавалось выклянчить пачку сигарет или жевательную резинку. В городе участились пожары. Будто что-то нависло над городом. Люди стали тише и гораздо осторожнее. Вечерами город пустел. Горожане становились похожими на тени, и только солдаты делались еще более плотскими, еще более живыми и угрожающими.

Если выйти из ворот нашего собора и повернуть направо, перед вами парк. Там вырастают из земли причудливые скалы, там шепчутся с ветром редкие тростники, там стоит сказочная беседка, и на берегу пруда ползает каменная черепаха. Случалось мне видеть громадных черепах, но такой как эта, нигде не находилось. Летом там особенно настойчиво звенят цикады, и оттуда несет приторной вонью гниющих акаций. Тогда кружится голова и куда-то тянет. Куда-то уйти, за что-то спрятаться. Чтобы не нашли, не нашли, не нашли... Остаться бы совсем, совсем одному. И из каких-нибудь ярко-зеленых кустов смотреть на ярко-голубое небо.

Я помню этот парк. Это было в те тысячелетия, когда по городу бродили солдаты. Я пришел туда поздно вечером, часов в одиннадцать. Я ходил по аллеям, и дорожки, посыпанные толчёным кирпичом, не были видны. Но когда луна выплывала из-за туч, и свет ее падал на эти дорожки, мне чудились следы крови.

На скамейке в одной из таких аллей я нашел солдат. С ними было несколько девочек-подростков и моя сестра. Ей только что исполнилось четырнадцать, но она уже красила губы и уже знала, что наш город — восьмой порт в мире.

Она была там. Что они делали? Припоминается чья-то рука, закинутая на узкие, девичьи плечи, чьи-то полотоядные глаза, жадный оскал зубов... Я рванулся вперед, поскользнулся на дорожке и, едва успев подняться с колен, крикнул: «Домой, немедленно домой»!

Она прижалась к чужому солдату, и он, не понимая в чём дело, но обрадованный случаем, взял ее крепко вокруг талии...

— Не хочу. Я хочу здесь...

Я схватил ее за руку и потащил, она отбивалась. Я был только немногим сильнее её и с трудом мог передвигать её тело. Это было смешно и очень неуклюже. Кто-то ударил меня по затылку. Я покатился по кирпичной дорожке. Звёзды закрутились перед глазами, весь мир перевернулся, и вдруг мне стало безразлично. Всё безразлично. Не всё ли равно!

Я лежал на берегу пруда. Я видел сапоги с острыми гвоздями. Они поднимались и падали. Вместе с ними на меня обрушивалась вселенная. И я не знал, хватит ли во мне сил вынести. Но и это было — всё равно.

Некто невидимый рядом протяжно выл. А наверху, над звёздами, смеялись. Для них это была шутка. Им было весело и очень смешно. Я не помню, как и когда они ушли. Я остался один.

Глубоко в пруду, захлебнувшись и утонув, плавала луна. Каменная черепаха, наклонившись над водой, пила, вытянув длинную шею.

— Дай же и мне... воды... Дай мне, ну! Я... пить... хочу...

И не было в мире никого, и никого это не тронуло. Смешной, маленький человечек, упавший на кирпичную дорожку, чего-то хочет, чего-то просит... Он глуп. Громко смеялись тростники и сплетничали. Зелеными хрусткими пальцами показывали в мою сторону.

На секунду всё переворачивалось, а затем опять вдруг становилось на своё место. Я ещё не понимал, что произошло. Что же произошло? Меня били чужие люди? Я даже лиц их не запомнил, а они меня били. За что? Что я им сделал? Да разве бьют за что, разве бьют не потому только, что бить надо! Как надо пить, как надо есть, как надо жить... Я хотел кричать и не мог. Да и зачем? Разве кто-нибудь услышит! Не хотят слышать — закрыли уши...

В парке была ночь. Я делил ее с тростниками и с каменной черепахой. Я мыл своё грязное лицо в чистой воде пруда. Внизу, подо мной колыхалось нечто невообразимое. Неужели это моё лицо! Ерунда!

Я уходил из парка.

На улице ко мне подошла накрашенная девушка. Розовые пятна румян чахоточным румянцем расползлись по ее лицу. Она ухватила меня за рукав и потянула к себе: может быть, она думала, что я солдат. Я повернулся к ней лицом. Она всплеснула руками и закричала. Так и по сей день помню этот крик на одинокой, пустынной улице, крик, которого никто, кроме меня, не слышал. Я, кажется, не был дома в эту ночь...

4

Если я что-нибудь сделаю не так, меня ставят на поклоны. Ставит отец Сергий, иеромонах. У нас нет старца, и я у отца Сергия на послушании. В пустом храме, на каменном полу я бью поклоны, а отец Сергий стоит надо мной с чётками и отсчитывает по бусинкам. Потом ноги начинают дрожать, когда я пытаюсь заносить их над ступеньками. Бедные ноги! А я заставляю себя думать: бедный отец Сергий! Ему бы сейчас в теплую постель, он ведь старовать — отдохнуть бы ему. А он вместо того вот тут, со мной.

Вечер. Пустеют коридоры. Уже ушли женщины, что помогают по хозяйству. Уже только шустрые тени шныряют в каменных нишах. Изредка ударит колокол — это значит какая-то тень зацепилась за его веревку. Я сплю в ванной, на узкой корявой скамейке. Ванна рядом. Она меня соблазняет. Я сползаю со скамейки, закрываю дверь на крючок и лезу в ванну. Холодно, неудобно. Вот так и все соблазны, решаю я. Тянет, тянет, а когда попробуешь, оказывается — ничего в этом нет. Не стоило и труда.

Тишина. Но нет. Нет тишины. Что-то скребется в мою дверь, Чей-то шепот.

— Кто там?

— Отпирай, отпирай! Ишь двери запер — не монах еще, негоже от мира до времени прятаться.

И, конечно, это отец Рафаил.

— Пойдём ко мне.

Как мало похоже это на келью. Книги — книги кругом. Вдоль стен, на полу, на стульях, весь стол завален книгами. Ими и пахнет. А лампадка у икон никогда не зажигается.

— Идолопоклонство! — говорит он. — Наказали тебя сегодня! — это не вопрос, это утверждение.

— Наказали.

— Это неправильно. Человека надо счастливым делать, а не несчастным.

— Так я виноват...

— Божье это дело, а не человечье — судить виновных и невиновных. «Не судите да не судимы будете». Я тебя утешить хочу.

— Но ночь уже... нельзя...

— И, опять-таки, Божье это дело, а не человечье, — знать что можно, чего нельзя.

С колокольни — чуть слышный удар. Ходят, бродят тени по колокольне. И это очень хорошо, что мы вдвоем. Тишина становится мерзлой, липкой, страшной. Тишина ведь и убить человека может.

— Красота мир спасет — это сказал какой-то русский. Уже за это одно его стоило бы китайцем сделать. Сейчас тебя лечить буду. Слушай! Я тут китайца одного перевёл.

Он читает, а я слушаю. Впрочем, сначала только в пол-уха, но чем дальше, тем больше захватывает странная мелодия слов.

Девушка, одинокая девушка,
Зачем ты бродишь в сумерки на берегу?
Девушка, иди домой, девушка!

И опять забираюсь я мыслью на колокольню, к теням, или брожу по коридору, или вхожу в чужие кельи и вижу темные согбенные фигуры на полу: молятся — о чём? просят? благодарят? за что благодарят? А мелодия всё звучит и всё льётся.

Девушка, милая девушка,
Тёмные тучи закрывают края моря.
Скоро весь мир покроют свирепые, лютые тучи.
Девушка, иди домой, девушка!..

Какое это чужое, странное, как мало относится это к нам! Девушка! Что такое девушка? Я поправляю себя сам: не что, а кто! Но разве это разрешение, и разве в этом ответ? Кто — девушка? Знаю, девица — невеста Христова, но как в монашескую келью забрела соблазнительница — «она»?

Смотрите, я танцую в воздухе.
Я — чайка, ныряющая в волнах,
Быстро парящая, изящно — над морем...

Отец Рафаил поднимает голос и, скандируя, раздирая фразу на слова и слова на чёткие слоги:

Девушка, где ты, девушка?
Где твоя песня?
Где твое стройное тело?
Где ты, родная?
Темная ночь поедает звезды.
Нет больше света на море,
Нет больше девушки на берегу —
Нет девушки, нет...

Молчание. Нам нечего сказать: ни ему, ни мне. А это что? Неужели горит лампадка? Нет, только показалось. Шорохи за дверью. Шоро-

хи больше принадлежащие тишине, чем шуму. Кто-то стучится? Нет, никого...

— Если тебе и это не поможет, значит тебе спасения нет... Ну, иди домой.

И у меня в сознании, в мыслях, в мозгу, не то в сердце, просто в крови, ударом колокола: «Где ты, девушка?»

Это странное «она». Зачем это он? Но есть во всём этом нечто, звучащее так же, как звучит «Свете тихий» осенним вечером, осиянным умирающим солнечным светом, претворённым сквозь церковное стекло. Есть в этом что-то... Неужели религия и искусство это одно!

Выйти бы вот туда, на эту улицу. Там ходят пьяные солдаты, там люди не знают света. Чем они там занимаются? Что у них есть?..

И как это попал я на колокольню! Найдут — плохо будет. Но я вдруг понимаю, что это все равно. И пусть будет плохо. Зато сейчас хорошо. Отсюда бы закричать вниз какие-то слова, которые придут внезапно. Громко, громко, чтобы услышал каждый. И сказать: опомнитесь, подождите, куда вы! И сказать: «еще есть время, но уже как мало его»!

А разве я не знаю, что полетит в ответ!

— Оригинальничает, выше других быть хочет! Выслужиться хочет!

Да ведь я не говорю, что знаю. Я не знаю, так же как и вы. Но давайте, давайте же вместе искать. Ведь должны же, должны же найти...

Тишина. И даже тени не трогают колокольной верёвки, притаились по углам — меня боятся. Я один наверху, а внизу весь мир. А ведь только что я говорил, что у нас никогда ничего не случается.

«Девушка, милая девушка!»

5

Я долго не мог спуститься по лестнице. На площадке разорялся отец Леонид — китаец-священник. Пронзительный голос его гулким эхом прокатывался по каменным коридорам. Недавно он перевёл на китайский язык молитвослов и вот теперь возмущался:

— Моя Кирилл и Мефодий, а моя золотой крест не дают!

Его куда-то увели уговаривать. Я спустился в храм. Стояло жаркое, знойное лето. Солнце каскадами вливалось в каменную громаду собора. Его было так много, что, пожалуй, и чересчур. Из парка напротив доносилось скрипящее стрекотание цикад. Гремели кузнечики, им подпевали сверчки. Все жило, все веселилось, все к чему-то готовилось. Мы тоже готовились к престольному празднику. Женщины мыли храм, собирали букеты. Между скользкими обрубками мыла на полу пышно и густо цвели цветы. Аромат их оглушал. Было трудно думать, соображать. Я помогал то здесь, то там. Меня звали всюду, и всюду я должен был поспевать. Всё это похоже было на бесконечную карусель. И от постоянного движения меня охватывал все больший восторг.

Это прервалось неожиданно.

На ней была коричневая форма женской гимназии. Откуда она

появилась? Я повернулся — она стояла рядом со мной. Она не спросила ни одну из женщин, прямо подошла ко мне.

— Я бы хотела отца Рафаила повидать.

— Отца Рафаила?

Что случилось со мной? Я уже знал, что густо краснею. Мне было стыдно и, пытаясь это скрыть, я краснел ещё пуще. А она была рядом и, не отрываясь, глядела на меня.

— Отец Рафаил здесь... Я сейчас... Я его позову в минуту...

Я заметался, зацепился за полу подрясника, едва не упал. Потом я крикнул ей:

— Сейчас позову!

И, приподняв подрясник, я побежал прочь. От нее. Подальше. И старался забыть. И не думать. А в голову всё приходило, в голове приливом муки, страсти, ужаса билось: Господь-Саваоф... Она и он... В лодке... И я думал: вот ты говорил — никуда не выходишь, а она сама пришла...

Но она пришла не ко мне... И... и она не монашка. Это как будто успокоило. Что общего между ней, пришедшей из «мира», и мной? Мы живём в разных мирах, мы говорим на разных языках — что у нас общего?

— Отец Рафаил!

— Ну!

— Отец Рафаил... к вам там...

— Ну, ну!

— Пришла одна...

— Да кто пришел? Говори толком, наконец.

— Такая... в коричневом всём... студентка... я не знаю. Пришла, говорит: отца Рафаила. А я...

— Что ты?..

— Я не знаю.

Он в светлом шелковом подряснике кормил на подоконнике птиц. И напевал себе под нос. Мне пришлось долго ждать, и я разобрал, что он поёт:

«Добиться чести, заслужить славу — потом уйти!»

— Отец Рафаил!

— Ну!

— Она ждёт.

— Ты, голубчик, пойди, поговори с ней пока, займи её. Я сейчас соберусь. А то неловко как-то девушку ждать заставлять.

Как это фальшиво звучит — «голубчик»! Он этого никогда раньше не говорил. И улыбка, которая раньше была кривой, теперь медоточива.

— Он придет сейчас... Отец Рафаил... Он сказал, чтобы с вами поговорить... чтобы вас... чтобы вас занять покамест.

А потом мы стояли друг против друга, и я замечал, что она ниже меня, но кажется очень высокой, что у неё каштановые волосы, что добрая улыбка почти не сходит с её лица... Я всё замечал, а она молчала и, только уже совершенно доведя меня до страха и трепета, сказала вдруг:

— Что же вы не говорите, не занимаете?

И улыбка ее просветлела, проступила отчетливее.

Как гармонировала она с этим летним днём! Какое я имею право всё это замечать!

А его всё не было, не было!..

— Я вам покажу здесь всё.

Монахи, священники удивленно поднимали брови, оборачивались, глядели нам вслед. Да за что же это, Господи! Бросить, убежать? Нельзя.

Я показывал ей развалины старой церкви. Мусор, кирпичи. Наклонялся, ворошил палкой, оттуда вылезли на свет Божий косматые, ногастые пауки. Я чувствовал, как пристален ее взгляд — мне в затылок.

— А сколько вам лет?

— Мне? Не знаю... двадцать.

— Молодой какой!

— Да, да, молодой.

А его всё не было.

— Молодой какой, а уже монах.

— Я не монах, я послушник.

— Ах, как интересно! А скажите, вам можно отсюда уходить? Мы могли бы, например, встретиться с вами где-нибудь?

— Нет, мне нельзя отсюда.

Зачем я так груб? Зачем я ее обижаю? Разве она виновата, что я так слаб? Это меня и погубило.

— В общем, мне, конечно, можно, я сам только...

Она не дала договорить:

— Вот и хорошо. Вы завтра и приходите в парк. Напротив. Ну, скажем, в два часа. Днем. Днем вы можете?

— Может, может — и, конечно, он должен был появиться именно в этот момент. — Может, — сказал он и увел ее. А я снова остался один.

И это было как тогда, в парке. Когда все безразлично. Только сейчас был пёстрый, солнечный день. И китаец-торговец через ограду собора предлагал мне толстые желтые дыни. А я смотрел на него и не знал, что ответить.Но все равно, это было как тогда. Такая же безнадежность. Так же все непонятно. А самое главное, я так же был один. Куда я пойду? Что я скажу?

К отцу Сергию? Это значит опять на поклоны. Но ведь не в ногах, не в ногах же это...

Я уверял себя, что не пойду, и знал, что пойду неизбежно...

6

А я говорил, что у нас ничего не случается. Как это называется у них, в «миру»? Идти на свидание? Я иду на свидание. Очень просто. Выхожу из ворот — пусто. Никого на дворе, никого на улице. Никто не видит. Как будто сейчас ночь, и непроглядная тьма скрывает меня от любопытных взглядов. Но меня не видят не поэтому. Не видят потому, что не хотят видеть. Нет более слепых, чем те, что не желают видеть.

В этом парке меня уже били однажды. Теперь снова. Та же черепаха. Здравствуй, родная! ты всё ещё здесь! Сквозь редкие деревья виднеется горящий крест. Он меня провожает, он следит за мной. Он все знает. Но я ведь ничего не делаю. Я просто пришел. И пока её нет, я могу уйти. Вот хотя бы и сейчас — повернусь и уйду! Но она меня не найдет. Не могу же я обмануть ее. И отец Рафаил, он тоже сказал — «может». Значит могу.

Я вижу, как она идёт по аллее. Платьем она задевает кусты, с них сыплются на землю сухие листья. Она такая же знойная, как этот знойный летний день. Она такая же . . .

«Иди домой, девушка»!

Но она идёт сюда, она уже рядом.

— Я знала, что вы придете. У вас такое хорошее лицо. Вы, наверное, уже почти святой.

Рядом со мной «она», женщина. Как это страшно! Я только сейчас, в последнее мгновение вдруг понял, сообразил. То мне все казалось, что это лишь бесплотное, таинственное «она», а теперь я понял, что это — женщина.

— Вы меня боитесь?

— Да.

— Зачем меня бояться? Если вас не могут соблазнить эти птицы и эти цветы, как же я вас соблазню ? Мы ведь одинаковые, только они сильнее.

Эти птицы и эти цветы! Она явно не наша, не русская. Она темная, глаза ее слегка косят. В них что-то глубокое, далекое, далекое. . .

— Отец мой китаец, а мать русская. А я сама вот такая — и здесь, и там, и везде. Меня все тянет, ко всему тянет: и туда тянет, и сюда. Хотите я вас с таоистским монахом познакомлю? Он тоже молодой.

Зачем мне таоистский монах? Мне так хорошо здесь. Кажется, я всё нашел. Всё, что искал так долго и так трудно. Всё, за чем и в монастырь пошел. Но я понимаю, что это не то. Нельзя всю жизнь просидеть тут, в саду, на каменной черепахе. Придется уходить, что-то делать, зарабатывать какие-то «голдбары». Знать сколько они стоят; многое нужно знать и многое надо делать, чтобы оправдать такие вот несколько минут.

— Вы все, наверное, большие эгоисты. Бросили нас, ушли и сами спасаетесь. А мы как? Неужели вам не жалко нас?

Все ближе, все ближе. Уйди, уйди! Какие горячие губы! За что, за что? Но у меня больше нет дыхания. Я знаю, что сделанного не поправишь, что это уже конец. Возврата нет — надо оставаться, надо уходить. . . что надо делать?

Поздний вечер — я возвращаюсь. Крест горит на луне, а мне кажется, что это солнце горит вокруг него золотым огнём. Не для меня горит. Меня здесь уже нет. Я могу ходить по каменным ступеням, я могу лежать на каменном полу, но меня здесь все равно не будет, не может быть.

Я пролезаю сквозь колючую проволоку, которой обит забор. Хромой сторож кидает в меня камнями, громко ругается, кое-где в окошках зажигается свет. И одичало ревут кошки, в которых попадают камни, брошенные неверной рукой.

Яркий свет фонаря брызнул мне в лицо. Меня увидели, меня узнали. Не всё ли равно! Разве это первый такой вечер, разве он последний!

7

У отца Сергия келья двойная. В одной — только походный алтарь с аналоем и жесткая койка. В другой — столик, шкап для ряс и белья и богослужебные книги вдоль стен. Я убираю комнату с аналоем, отец Сергий ходит по другой. Каждый звук оттуда четко отдается здесь.

— Ай-яй-яй! — и скрип шагов.

— Ай-яй-яй, как плохо, какой скандал!

Шаги приближаются. Наклонившись, я вижу часть рясы. Нарочно не поднимаюсь — не хочу глядеть в лицо.

— Ты уж, миленький, отбей еще десяточек. Душу-то свою надоть, всё-таки, поберечь.

Раз-два-три-четыре! — шелестят чётки.

Шаги уходят. Тянутся минуты. Я скребу веником по полу. О чём я думаю? Наверное, о ней. Где она? Что она? Как она? Ведь и на ней грех. Обоих ввёл я в соблазн, обоим не будет спасения.

Ширк-ширк — по полу веник.

Шаги.

— Ай-яй-яй, ужас-то какой! Ты уж еще десяточек, милый. Не поленись уж.

Ерзает веник, и мне начинает казаться, что я пытаюсь смести им солнечную лужу на полу . . .

8

Она сказала: сегодня ты придёшь ко мне!

Я пришел. На лестнице пахло керосином, кислой капустой. И так странно, что она — такая — живет здесь. Скрипели под ногами ступеньки, наводили ужас. Услышат —сбегутся. Станут показывать пальцами. Какое счастье — поймать беглого, застать человека на грехе его. Я постучал — меня впустили. Она была не одна.

На нём рыжая ряса, — потёртая, ветхая. Но это, наверное, называется не ряса. А как? Балахон? Выбритая голова. И сам он весь, как живое изваяние Будды. Встал, поклонился — я поклонился в ответ. Сели оба.

И я видел, как наблюдала нас она, как она хотела всё увидеть, — всё, каждый жест, каждое движение. Это была не встреча людей, это было как бы столкновение миров, планет, солнц . . .

Но мы молчали — о чём было говорить?

— Фу, видишь, тоже послушник, — наконец сказала она.

И я не выдержал:

— Почему же он тогда здесь?

Он говорил, закрывая глаза, будто не хотел видеть ни себя, ни мира вокруг, ни меня.

— Я еще только на пути к Тао. Когда я достигну совершенства,

вернусь в мир. Буду есть мясо, буду жить с женщинами, буду делать всё. Если это меня не будет соблазнять, значит я святой.

— Как же это так! Ну хорошо, а теперь? . . Нет, ты мне скажи, кто же твой Бог, если он позволяет тебе туда и обратно? . .

В голосе бесстрастность:

— Тао, которое может быть выражено, не есть вечное Тао.

И всё.

Он скоро ушел. Я больше его никогда не видел. Но думал я о нём всегда. Зачем он здесь? Как это он сказал? «Когда достигну совершенства, вернусь»! Куда? Сюда?

У меня кривилось лицо — мне хотелось смеяться и плакать вместе.

— Зачем ты его пускаешь?

— Я его не пускаю, я его зову. Он собирает на монастырь, ну и ко мне приходит. Я ему много даю. Я одна, мне не надо.

— А я?

— Ты? А что ты? . . Слушай, я тебе скажу что-то. Знаешь, как пишется по-китайски «хорошо»?

— Ну, знаю. Иероглиф вот такой.

Я написал.

— Ну, разбери его теперь по частям.

— По каким частям?

— Как он написан?

— Ну, вот так. Слева — женщина, справа — ребёнок.

— Вот именно. Женщина и ребенок, а все вместе — хорошо. Понимаешь?

— Да, да. . . нет. . . да, конечно, понимаю. Женщина и ребенок — это хорошо, а женщина без ребенка. . .

— Вот имено: женщина без ребёнка . . . хуже: никогда не будет ребёнка. Заранее известно.

Потом я возвращался через забор. Всякая хитрость — от лукавого, но не от него ли и мудрость? Я уже знал, когда и где бывает сторож, меня уже никто никогда не ловил. И не было больше бессмысленных поклонов.

Так легко и просто приходил я теперь домой. Только вот было ли это моим домом — кто знает! . .

10

Время летело всё быстрее, быстрее, и я не понимал больше, зачем я здесь остаюсь. Уже нет тишины, и даже ночью, во сне, я слышал звуки, приходившие издалека, из мира. Зачем я здесь? Я, помню, спросил его: а как ты узнаешь, что твоё время пришло? И он ответил: если бы я знал, как узнать, я бы теперь уже достиг совершенства. Такое знание означает, что предел достигнут и больше в монастыре делать нечего.

А, может быть, мое время уже прошло, и я только не знаю об этом.

Вечерами, где-то за стеной, труба надоедливо слюнявила всегда несколько одних и тех же нот. И это надо было слушать. С острова прокаженных убежать нельзя.

Выходя на улицу, я никогда не глядел вверх. Я боялся не увидеть креста, а вдруг его нет больше!

Я никогда не поднимал голову к куполу. Что я там увижу? Какой взор у страшного Бога, раскинувшего свои мощные руки?

Жил ли я? Не знаю. Я собирался жить.

Я пришел к отцу Рафаилу.

— Ухожу я...

— Куда?

— К ней ухожу. Вы уже знаете...

— Знаю.

Стояла осень. Золотая китайская осень стояла на дворе. Как тонки, как аристократичны были краски! И природа говорила: что хочешь делать, делай скорее! Потому что придёт зима, и больше ничего сделать будет нельзя. Солнце больше не пугало: его было как раз в меру. И оно тоже советовало: делай скорее, иначе не сделаешь совсем! И даже вечернее «Свете тихий» как будто только открывало путь в мир.

Всё-таки было страшно. Пугали разные слова, подслушанные во дворе собора у богомольцев: «голдбары», «цены», «политика». А что если опять все это приведет только к солдатам?

— И все равно ухожу я!

— Напрасно, напрасно. Надо оставаться, надо уметь получать и то и другое. Если только здесь, лопнешь от тишины, но если только там, оглохнешь от шума.

— А я не умею.

— Вот и говорю: напрасно не умеешь. Впрочем...

Опять искры в глазах. Или это огонёк затравленности, вечный волчий огонёк?

— Я тоже ухожу.

— Куда?

— Перехожу в католичество. Нечего мне здесь делать. Душно здесь, скучно здесь.

— А там что?

Он побежал по келье, и чётки его игрушкой закрутились в руке.

— Не знаю... Это и хорошо. По крайней мере, сначала скучно не будет.

— Знаешь что? — сказал он после длинной паузы. — Это я всё придумал, с Россией и прочее. Вообще ничего нет. Раз не можем устраиваться вместе, пусть, по крайней мере, каждый сам себе ищет, где получше.

Больше я его никогда не видел...

11

Последние дни, последние ночи... В тот год очень близок был Марс, и я, открывая окно, наблюдал за ним. И удивлялся: действительно красный. А он стоял неподвижно между пятью куполами, чуть вправо от креста.

Я ворочался на твёрдой скамейке, не мог спать. И больше меня не

тянуло в ванну. Ванна — это игрушка, а есть и более серьёзное. И вот вопрос: не окажется ли и серьёзное таким же ненужным вблизи?

А от скамейки оторваться было трудно. Бросить ее, уйти, но как? Когда стала она мне единственным возможным ложем. Как оставишь её, покинешь и начнёшь? ... что ещё начинать?

И всё же я решился.

Надоедливо гудела труба, пускала мыльные пузыри нот. Я уходил. В последний раз я поглядел на крест. Он был ещё там. Но уже опоясавшие его лучи были осенними лучами. Они уже не слепили глаза. Крест казался видением Распятого, ещё не готового к воскресению, или видением разуверившегося в воскресении ангела, вознесённого высоко над миром в поучение наивным оптимистам.

Ворота остались позади, собор остался позади.

Вокруг меня шныряли рикши; они кричали на меня, толкали меня. Какие-то страшные глазастые чудовища выли, наскакивая, сбивая с ног.

Китаец с провалившимся носом брил меня тупой бритвой. Другой китаец примерял на меня неудобный, нескладный костюм. Я боялся подойти к зеркалу, и потому не знал, что иду по улице огородным пугалом. Люди сделали со мной то, что они хотели, то, что им казалось смешным.

Под ногами хрустели хрупкие золотистые листья. Солнце садилось за дальними домами. Всё было розовым, странным.

Я поднимался по скрипящим ступенькам. А вдруг поймают за руку, закричат на весь мир: вот он! изловили! Выведут на площадь, будут смеяться, наденут на голову венок из терний...

Но я имею право, я имею право... Я никому ничего не обещал. Попробовал — не вышло, могу уйти. Я только послушником был, не монахом. Что вы смотрите на меня такими глазами? Я не убежал, я ушел. Но это только стены, голые, ободранные стены коридора. И лестница, скачками уносящаяся вниз...

Её квартира... Какая радость! Я свободен, я с ней. Женщина и ребенок — это и есть счастье.

Я долго стоял у дверей. Меня никто не ждал: я ей готовил сюрприз. Потом дверь отворилась, она показалась в дверях. И строго спросила:

— Вам кого?

— Нина, это я.

— Я? Кто я?

И вдруг она начала узнавать. Я это понял по изменившимся очертаниям рта, по любопытной искре в глазах, по тому, как она подняла руку и взялась за голову. Она сказала:

— Это ты! ты...

И, кажется, не знала, что делать дальше.

А я всё бормотал:

— Это я... к тебе пришел... я пришел... жить к тебе пришел...

И вдруг повернулся и ринулся по лестнице вниз, а следом за мной бежал ужас и наступал мне на пятки.

Я ещё услышал её крик:

— Куда же ты? Да погоди же!

Но крик этот коснулся только слуха. Пришел-ушел, его не было, я был один. И когда сообразил, оказалось, что сижу на нижних ступеньках у самого выхода, а наверху была тишина . . .

12

Где я был в эту ночь? Не знаю. Это была третья такая ночь. Меня снова били, и снова мне некуда было пойти. И явилась догадка: может быть, это не другие, может быть, я сам себя бью, может быть, я не могу себя не бить? . . Но что это значит, что может это означать для еще живого человека? Разве только то, что так будет всегда и иначе никогда не будет.

Как страшен золотой крест в лунном свете! Он тоже один во всём мире . . .

Как огромны улицы!

Как бесконечен мир!

Почему я всегда один? Куда я пойду? Что я буду делать? Мы на острове прокаженных, и нам некуда убежать. А я хотел. . . хотел убежать . . . Меня вернули: с острова прокаженных убежать нельзя.

В чьём-то окошке горел свет. Кажется, это было окошко отца Рафаила. Наверное, он укладывал вещи и тоже хотел бежать, хотя и знал, что бежать некуда.

Осенняя ночь подходила к концу. В этом сером прелом воздухе, в этих кружащихся бурых листьях было что-то, что не позволяло человеку успокоиться, что заставляло его искать всё дальше и дальше. И приходить к тому обрыву, после которого . . .

ОТЕЦ ПАВЕЛ

Рассказ

I.

В глазах у сторожа потухало красное солнце. За железными ржавыми воротами — единственная связь больницы с миром — открылась узкая пустынная аллея, выходящая на улицу. Отец Павел сел в машину и положил лоб на костяную прохладность руля. Ему хотелось спать. Причащение умирающих всегда вызывало в нем одинаковую реакцию: заснуть бы и не думать, и ничего не знать, заснуть бы, и чтобы этот образ, этот облик, это лицо перестали быть. Сомнения и ужас, и порой страх за себя, и маловерие, и сколько страшных вопросов!..

Он включил мотор и осторожно, не очень умело, стал переходить со скорости на скорость. Машина ровно затарахтела и, цепляя крыльями колес о тротуар, пошла из переулка, заворачивая на дорогу к автостраде. Привычное раздвоение: одна часть человека уверенно ведет автомобиль, другая живет собственной жизнью. Призраки, духи, лица и голос: — «Отец Павел, это что же?.. Что же это, отец Павел?.. Умираю я, а? Да ведь я умираю...»

До самого последнего момента, до окончательной потери сознания — неверие, недоверие, маловерие. Уж на что, кажется, каждый человек должен знать — смерть придет обязательно, не бывает неумирающих. И знает как будто, а вот явится курносая, и сколько сомнения, сколько веры в противоположное, сколько отчаянного утверждения: не может быть, чтобы смерть... не бывает...

Пятьдесят четыре года — как будто достаточно. А вот нет же. И в семьдесят недостаточно, и в восемьдесят. Впрочем, нет, не так. Бывают такие, которым и тридцать в избыток. Эти — самые страшные. Лежат с закрытыми глазами: «— Причастие? Зачем»?

Эти действительно умирают, другие только засыпают. Ну да, с ужасом, с боязнью кошмаров, страшных снов, но они только засыпают, а у тех на лицах отблеск настоящей смерти. Значит всё-таки смерть не побеждена, значит есть ещё и сила, и жало, и победа...

Справа поравнялся мотоциклет, бросил в лицо луч света. Мотоциклист в форме загонял на тротуар. Зазвучали немецкие слова:

— Надо было остановиться. Конечно, с вас пять марок...

И не кончил. Поразила борода, необычная, наперсный крест.

— Простите, вы...

— Да, я священник.

— Извините за любопытство...

— Православный.

— Ага!

Все привычное, и роль затвержена назубок. Сейчас он скажет...

— Извините... Я понимаю, вы торопитесь, но... Для вас же опасно...

— Да, простите...

Козырнул.

— Доброго пути!

Потянулась пустая каменная автострада, похожая на тот путь, который всякая душа пройдёт по выходе из тела: темно, безлюдно, одиноко, и каждый отвечал только за себя.

Отец Павел откинулся на спинку сиденья, иногда закрывал глаза на долю секунды, вздрёмывал. Просыпался: всё то же, никаких перемен. Разве что пройдёт перед носом крутобедрая машина или загородит дорогу слоноподобный грузовик. Последние тысячу метров настороженно искал выезда с автострады: вот он. Свернул, зевнул сладко: скоро дом. В городе проснулся окончательно. Слепил глаза неон, машины, идущие по всем направлениям, излучающие столько света, что если автостраду можно принять за начальный путь души, то здесь уж, конечно, — самое пекло.

Подъехал медленно, ещё посидел в машине, набираясь сил. Ну ладно, трудовой день окончен. Он улыбнулся в кожаной темноте, вспомнив: паразиты, из народа кровь пьют...

Поднял коробку с Дарами, позвонил у дверей: руки заняты, за ключом в карман не полезешь.

Елена отворила дверь, но еще не успела ничего сказать: из-за нее метнулась пестрая тень — губы, волосы, щеки, все крашеное, неестественное, будто краденное с чужого лица, с чужой головы, и кое-как налепленное, только бы сегодняшний день пережить.

— Отец Павел, Господи, ужас!..

— Да, да!...

— Муж мой... Плохо... Говорят...

Он не слушал дальше. Он опёрся плечом о тёплую стену и ждал: вот пройдёт головокружение, тогда поедем. Поедем? — конечно, поедем. Ни священник, ни врач — ни врач, ни священник... Но врачу всё — и почёт, и любовь, и уважение, и даже ласка. Притворяются, льстят, будто не в руке Божией жизнь человечья, а в руках лысого человечка в ланцетом, клистиром и прочим набором хитроумных приспособлений. Врача боятся А священник? Священник что ж, зовут, чтобы утешить больного: на всякий случай... а вдруг... а ну как... И, упёршись холодным взглядом в наперсный крест, или ещё ниже, в пояс, запросто спрашивают: а вы, действительно, верите? Но ведь наука... Но наука сдала, наука капитулировала: заберите этого, он сам по себе, он человечеству больше не принадлежит. Наука для общего, а он частный. Тогда последнее средство, соломинка в бурных волнах: причастите...

Шел третий час ночи, отец Павел вёл машину. Ему казалось, он ведет катер. По краям синезеленые волны, внизу непостижимая глубина, карусель воды, и посредине жалкий, утлый челн...

II

К пяти утра он вернулся домой. Открыл ключом дверь, прошел за Святыми Дарами, перенес их. Сквозь щель в дверях увидел свет в столовой, улыбнулся: Ленка-растяпа, опять забыла. Сейчас погашу. Прошел на кухню, выпил стакан воды. Хорошо бы чашку кофе, но сон сильнее. Если бы кто-нибудь помог... В первые месяцы Елена не ложилась спать, ждала ночь напролёт; тогда, ещё подъезжая к дому, он слышал тёплый аромат. Пришла усталость, такое человеческое, нормальное, такое, с которым и бороться нельзя. Утверждение: я тоже жить хочу. Конечно, было горько, но разве с этим спорить можно? Не хочет человек быть героем, силой, не возьмёшь.

Выпив воды, пошел в столовую. Открыл дверь осторожно, никого бы не разбудить.

Они сидели на диване, рядом, обнявшись. Нога Погорелова, вздернулась на диван, касалась ее бедра, рукой он обнимал ее за талию, ее голова была на его плече.

Погорелов снял, стянул одну руку, другую, потихоньку пошла вниз нога. Отец Павел не успел очнуться, и вот уже ничего не было. Мелькнуло только и скрылось. Правда? Сон? Соблазн?

Погорелов мерзко хихикнул.

— Вот, душа моя, понимаешь дела какие. Так и сказано: «не будь слишком честным, зачем тебе умирать молодым!»

Отец Павел осторожно сел на стул у двери — все молчали, и только Погорелов все похихикивал, будто было в этом невесть какое смешное. Отец Павел силился проснуться и не мог, глаза слипались, истончались, всё падало куда-то, в какую-то глубину. Одно бы усилие, если бы только на одну минуту, победить бы это, вот сейчас... однажды только, совсем ненадолго преодолеть сон и усталость, он свое отнимет. Этого быть не может. Два года и... Два года — это отвратительно мало.

— Ты ведь моя жена, Лена.

— Те-те-те, — сказал Погорелов. — Жена, не жена. Разве ж так надо разговаривать, душа моя! Какие ж тут жены могут быть, когда сплошной соблазн! Как впрочем и сказано: сосуд дьявола... Вот и получается, понимаешь ли.

— Объясните, хоть объясните... — почти со слезами попросил отец Павел.

— Ну что ж тебе объяснять! Соблазн и падение. «Из глубины воззвах к Тебе...» Вот и к тебе теперь из глубины воззвах. Дескать, помоги и посочувствуй. Главное, пожалеть людей надо. Страдаем оба, видишь? Разделенные, так сказать, судьбой и несчастным случаем.

Погорелов дурачился, но глаза у него были беспощадные, холодные, злые. Ясно было: не только не отдаст, но ещё и себя правым считает. Он потянулся на диване:

— Ты б, душа моя, спать шел. Потому что утро, мёрзло как-то. А потом мы с тобой, вкусив, так сказать, сна, и объяснились бы, а?

Погорелов протянул широкую волосатую руку, взял отца Павла за локоть, отец Павел отстранился:

— Нет, я сам, спасибо.

В спальне было уже светло, лампадка не горела, Забыла Елена зажечь ... да нет, не забыла — не до того ей теперь. Я буду зажигать лампадку от сегодняшнего дня...

Отец Павел коснулся пальцами щеки: щека была холодной и мокрой. И казалось, это вовсе не слёзы, это что-то гораздо более страшное просочилось сквозь кожу.

Он лёг в постель, как в гроб ложатся подвижники. Спать он не будет. Устал, одолевает сон, отходит сон, проходит, пропадает — нет никакого сна. Чудовищная реальность, реализация, понимание происшедшего приходит, окутывает, душит. Подушка на лицо: дыши! Как я могу дышать с подушкой на лице? Дыши! Он сказал: потом объяснимся. Чего уж теперь объясняться! Всё и так ясно.

Торопливо стал сдергивать с себя халат. Это был ее халат. Собирались купить халат отцу Павлу, так и не собрались. Возвращаясь домой, когда не было гостей и посетителей, он надевал её халат. Раньше над этим шутили, теперь это осуждение.

— Эх, отец Павел, отец Павел, сукин ты сын!

Он тихо заплакал. Сил не было на борьбу, не было сил даже на сопротивление. Бьют лежачего. Какая подлость — бьют лежачего. И вот он плакал.

III

На автостраде случилось ему однажды видеть катастрофу. Две машины умудрились въехать одна в другую на полном ходу. Худой плешивый немец лежал лицом на руле, отдыхая. Когда его вытащили из кабинки, он был мёртв.

Отец Павел тогда думал: глядя с *этой* стороны, страх, ужас, отчаяние. Но как выглядит это с *той* стороны? Для нас это событие, но и для него это тоже событие. Это он видит, чувствует, переживает? Теперь он знал. Полицейские уехали, любопытные разошлись, остатки машины оттащили в сторону, убитый встал и начал новую жизнь, по ту сторону. По ту сторону чего? По ту сторону жизни?

Погорелов и Елена жили внизу, рядом с кухней, отец Павел поселился наверху, в спальне. Как-то всё получилось само собой, будто совсем и без участия людей. Никаких объяснений, никаких жалких слов. Они живут, и он живёт, но разве можно и то и другое одинаково называть жизнью? Что-то здесь не так.

Порой, унизительно крадучись, отец Павел спускался в кухню. Холодильник, газовая печь — всё это когда-то собиралось, покупалось, с восторгом, с радостью. Никому и в голову не приходило: в ночь сию душу твою возьму у тебя... Впереди была жизнь — широкая, длинная, как ночная автострада. Душа взята — жизнь? ... Где жизнь? Что сталось с ней?

В «Прощёное воскресенье» впервые снова увидел её. Прошел в столовую, зажмурился, опустился на колени.

— Простите, в чём согрешил перед вами.

— Ну, какие у тебя грехи, — сказал Погорелов. — Ты ведь такой, безобидный... А впрочем, Бог простит, чего уж там... Но только и ты нас прости. Иначе дело не пойдёт.

Елена оставалась в тени. Потянуло к ней — подойти, взять ее за руку: Лена, что же это?

Он вышел и поехал в церковь. Ехал небрежно: будь что будет, теперь всё равно. А личное спасение? И это всё равно. Иногда только, очень редко, задумывался он, решая вопрос: подходит это под «кто душу свою положит за други своя» или не подходит?

Служил иногда с холодной скукой, иногда с отчаянием: хоть это, Господи, хоть это!

«Многи скорби праведных и от всех их избавит их Господь». А если не избавит? А если не праведник?

Горели свечи, излучали странный, искусственный свет, церковь похожа была на катакомбу. Катакомба и есть. Спасаются последние остатки. Самые последние, единственные. Других нет и не будет больше. «Братья, последние дни».

И вот разница: тогда они верили, что последние дни и — слава Богу — начнутся расчёты. А теперь, через две тысячи лет, как в это поверишь? К тому же, и поверив, где тут радость? Пусть мне хорошо, а ей? Что с ней?

Господи, но кто виноват? Я? Она? Он? Все мы виноваты, но больше всех виноват Ты, требующий от нас больше, чем мы можем понести.

В проповедях он призывал: любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, берите крест свой и следуйте за Господом. Это не легкое дело — взять крест. Его мало взять, его надо еще и нести. Взять, поднять — дело одной минуты, остальное — целая жизнь. Только тот и спасется, кто всю жизнь, всегда и везде будет нести крест свой.

Прихожане недоумевали: кому говорит? Мы ли не... А он, провозглашая «Слава Тебе, показавшему нам свет!..», взывал, покажи нам свет, покажи, молим и просим. Вскоре после того гасил свечи и лампады, погружал церковь во мрак и уезжал.

IV

На Страстной пришла телеграмма от отца: «на Пасху с вами». Отец Павел оставил телеграмму на кухне. Вечером в среду, отслужив за день восемь часов, прилег отдохнуть: стук в дверь.

— Войдите, да.

— Отцу настоятелю, наше вам... Спите?

— Нет, ничего, я отдохнуть прилёг.

И опять эти глаза, от которых не уйдёшь. Странная способность у Погорелова глядеть так, что откуда ни посмотри, везде его взгляд. Глаза неподвижные и в то же время всюду поспевают.

— Вот, отче святый, дела-то. Можно сказать, человек рече, а Бог изрече. Так оно и получается.

— Вы о чём это?

— Да вот, папаня ваш, говорят, изволит пожаловать.

— Ну и что?

— Да то, что — как же мне жить-то тут?

Отец Павел отвернулся лицом к стене, накрылся подушкой и оттуда, подлинно из глубины, глухо ответил:

— Придётся пока выехать...

— А с ней?

— Что с ней?

— Я с тобой, отче честный, напрямую пойду. Чего нам играть? Оба, можно сказать, одним миром мазаны. Представляешь положение: я за дверь, а ты к ней. Ну и что ж это получится? Можно сказать, как Урию меня отсылаешь.

Отец Павел от улыбки не удержался:

— В Уриях-то уж скорее я хожу.

— И то дело. Но всё-таки...

— Беспокоиться вам нечего. У меня столько служб будет, с утра до вечера.

— Разве что так, — согласился Погорелов, но ушел все-таки неубежденный.

Отец Павел думал: умолять? обличать? Бесполезно. За восемь месяцев он Погорелова досконально изучил. Студент — богослов. На каждый пример отца Павла, на каждое поучение, обличение, приведёт десять примеров, цитатами сыплет — страшно становится. Нет, ни спорить, ни обличать — во всяком случае, спорить и обличать не словами.

Да и какое, собственно, право имеем мы обличать словами? Делами — да. Но вот этого-то мы и не хотим и не можем. И это тоже одна из забот. В больнице над страдальцем:

— Терпи, Господь велел...

И откажет язык. А сам ты? Ты на его месте терпел бы? Не проверишь. Надо быть на его месте. Дидактика. Слова мертворожденные. ненужные. Не словами, чем-то другим. Совершенно ясно, чем именно. Взглядом. Но тогда нужен особый взгляд. А где его возьмешь, коли его нет?

Надо отказаться от всего. Героическая попытка была сделана. Пальто новое, башмаки? Не нужно, похожу в старых. Это мелочь, о которой не стоит и говорить. В пост, на первой неделе, голодал четыре дня, в пятницу слег. И Елена тогда ходила, кружилась коршуном.

— Другие живут, вот и Погорелов. Хочешь сказать, он хуже тебя верит? От гордости всё это...

Елена не могла примириться: миллионы людей на земле, миллиарды, говорят, и никто ничего не делает. Почему же мы обязаны? Именно мы? И не было слов ее убедить. А пуще всего, когда слег, и ноги отказали работать. Как скажешь ей, что хочется, что нужно, что делаешь как можешь, но что силы человеческие слабы и что не по постижению, но по труду, по проявленной воле будет судить Господь. Конечно, это смешно — начать и не кончить. И вот он начал и не кончил, и вот она смеялась над ним. Не с этого ли смеха и началось все? С Погореловым?

А сам вёл борьбу дальше, и в первую очередь с дьявольским наваждением, не устававшим нашептывать, что в сражении между желудком и верой всегда побеждает брюхо. Окончательно же одолеть удалось лишь одно: вечные разговоры, споры, болтовню. Пьяную кощунственную болтовню о Боге, бездарную пародию на героев До-

стоевского, с бутылкой вина о благодати, о вере, о чуде воскресения. Но это уже другое. Благоговение родилось из страха, не из любви.

Отец наполнил дом грохотом. Валились кастрюли на кухне — он помогал Елене готовить обед. С утра свистел в ванной; внизу, в столовой орал песни. Начинал день с пива, кончал коньяком.

— Всё надо делать умело, дорогой мой, всё надо делать умело. Это только кадилом махать каждый дурак может, а жить — э-ге-ге! Тут коли не умеешь...

Удивительнейшим образом он всегда прав. По-своему, конечно. Да нет, и не по-своему. Прав в одном отношении: если хочешь в жизни быть победителем, нужно жить так.

Елена, садясь за стол, опускала глаза, всегда смотрела в тарелку. Она изменилась, да, она страшно изменилась. Правда, она менялась всегда, отец Павел не запомнит такого месяца, когда она не менялась, но тут что-то иное, что-то совсем другое. Тогда это было только повзросление, возмужание, осмысленный рост, стремление вверх. Теперь? Даже и не скажешь, что это такое теперь.

Но всё ещё держалась за старую простую причёску, — волосы, собранные в узел на затылке, все еще была в девичьем, полотняном платье, всё также была по-простому миловидна и привлекательна. И — Господи — как мог он, как смел он потерять её — такую! А она была потеряна. Для него — да.

Никогда, ни разу не встретились они наедине — об этом она позаботилась. Только вечером, поздно вечером, уже ночью, когда не было другого выхода, когда нельзя было иначе... Она приходила — он уже в постели, и всякий раз совершался одинаковый, странный обряд. Она стелила на полу, он поднимался.

— Я здесь спать буду.

— Нет, ничего, я тоже могу. Это твоя спальня...

— Ничего, ничего, я тут лягу.

Спит она или только делает вид? Дыхание ровно, поднимается-опускается грудь, ровный, серьёзный свет лампадки на бледном лице.

— Елена!

Ни слова.

— Елена!

И вдруг по улице, под окном машина, и свет её фар по стене — прошел, пробежался, затих вдали гул, её дыхание, он в комнате один, ее в комнате нет. Ну что с того, что здесь ее тело? Самого главного — её самой в комнате нет.

Ночью она плакала, бросив на лицо подушку.

— Елена, Лена, Леночка, не надо — зачем? Всё же хорошо. Раз ты его любишь, если ты его любишь...

Он лежал с открытыми глазами. Это смертный грех — думал. Я в нём замешан — думал он. Я замешан в смертном грехе моей жены. Я должен был бы твёрдо сказать: нет, исполняй свои обязанности. Неси крест свой.

Это ханжество. В церкви — «несете крест свой», а жене... Это ханжество и это великий грех. Но я её люблю. Он тихо молился, не веря в помилование, не ожидая спасения: Господи, Ты сделал так, чтобы я её любил больше других людей. Других я тоже люблю, но

иной любовью. На других могу возложить крест, на неё не могу. Я могу ей помочь нести, больше ничего не могу.

Она вставала около четырех и спускалась в кухню, тогда он засыпал. Несколько страшных часов сна были как мешки, которые нужно пронести на себе от пристани до пароходного трюма. И, просыпаясь, он едва мог подняться с постели. Только утром, когда солнечный зайчик вползал на лицо, только тогда приходило умиротворение, покой, настоящий сон, отдохновение.

V

Отец со своим тонким нюхом быстро что-то пронюхал. В этом не могло быть сомнения. Собирался уехать на первых днях пасхальной недели, в среду тяжело вздохнул: уй-юй-юй, скверно мне! А плутовские глаза смеются.

— Не выгонишь тяжело больного отца?

— Что ты...

— Ну вот, то-то же. А ты, стрекоза?

— Ефим Петрович, как вам не стыдно!

Ефим Петрович Никешин — человек увлекающийся. Хочешь в священники — да Господи ж Боже мой! Это ж просто замечательно. А потом минуты раскаяния: и зачем позволил этому болвану — мальчишка ведь, сопляк, разве он понимает, что делает! Хотя всё время прекрасно сознавал, что вовсе не в его позволении или непозволении дело, что всё это только проформа. Вообще говоря, трудно сказать, интересует его судьба сына или ему на нее с самой верхней полки наплевать. Пожалуй, и то и то. Иногда интересует до того, что без сына ему будто и жизнь не в жизнь, а порой с трудом вспоминает: что — сын? какой сын? откуда сын? Ах этот! Павлушка-то! Но зато может и умилиться и последнюю рубашку снять. Сын мой, понимаете, единокровный, единственный...

При всём том, способности ищейки: всё вынюхает, проведает, за неделю в доме отца Павла лучше знает дела прихода, чем отец Павел за годы. Ну и, конечно, домашние дела ему тоже не безразличны.

Я их выведу на чистую воду. Кого их? Что с Ленкой не всё в порядке, ему ясно. Вопрос: с кем? Во-первых, у него теория: третий год — самый критический. Вытянут на третий — дальше как по маслу пойдет. Но зато уж коли на третьем сломалось, ни в кои веки не починишь. А тут ясно — ось дымит, телега набок заваливается. Ну, да ничего — Ефим Петрович за дело возьмётся, только берегись.

Во-вторых, совершенно ясно, что тут в частности... Да вы только поглядите на Ленку: глаза масляные, сверху масло, а за ним страх, суженные зрачки. И влюблена как кошка. Конечно, не в мужа. Кто же в нашем столетии в мужа влюбляется? Ефим Петрович — впрочем, как и многие из нас — любит потолковать о «нашем столетии».

— Ты не беспокойся. Я все твои дела поправлю.

— Да у меня и дел никаких нет, — отец Павел просмеялся, но, ощутив в сердце томление, всегда предшествующее страшной боли, застыл в гримасе.

А Елена, ночью проснувшись (или совсем не спала?), громко, вслух, так, что и внизу, пожалуй, слышно:

— Знаю, нарочно отца вызвал. Только у тебя ничего не выйдет.

VI

Отец Павел вышел из церкви, держа меморандум, как некую драгоценность. В автомобиле, уютно устроившись, сидел Погорелов.

— А, это вы! — устало сказал отец Павел и полез внутрь.

Он развернул меморандум, пробежал первые строчки, гримаса, похожая на скорбную улыбку, прошла по его лицу. Правой рукой он провёл по длинной узкой бороде, левую держал на руле.

— Мне староста меморандум, копию передал, — сказал он. — Жалуются, службы слишком длинные, никто стоять не может.

— Терпеть, душа моя, надо. В терпении скорби избываются. А ты как чуть что, сразу на дыбы. Христианского мало в тебе, отче святый.

Как-то так неожиданно получилось, что в несколько недель прошедших с первого страшного вечера, Погорелов стал опекать отца Павла и говорит ему «ты». Будто родственные узы связали их, и стали они близки друг другу, как близки бывают другу друг и врагу враг.

Тощий взъерошенный немец с розовощекой немкой остановились у машины, во все глаза разглядывая странного бородатого человека.

— Вы со мной поедете? — спросил отец Павел.

— Да, немного.

Отец Павел развернулся, въехал на тротуар, судорожно метнулась машина от стены — слава Богу, съехали. Замелькали дома, пошла впереди дорога. Они сидели молча, касаясь один другого локтём. Спустя некоторое время, Погорелов сказал:

— Ты меня судишь, верно ... Да и как не судить!

Он вздохнул, но опять, как тогда, глаза у него были холодные, и чувствовалось, что и тут, кроме комедии, ничего не будет.

— Судить, однако, легко, это всякий может. А ты пойми: может я тебе на искушение дан. Знаешь, как у Иова? Не будь меня и не протиснуться б тебе сквозь узкие врата, а?

Отец Павел молчал, но думал, усиленно, торопливо думал: как же это он, что же это он?... Да неужто правда? И впрямь, и здесь искренность, честность, своя мука, своя забота. А мне видно только внешнее и думаю, что за внешним ничего нет.

Автомобиль скользил по дороге, ныли шины. Огибая углы, отец Павел особенно осторожно поворачивал руль. Разобьёмся, перед собственной совестью всегда останется: нарочно сделал; чтобы с ним расплатиться и себя не пожалел.

Погорелов попросил:

— Ты бы, честной отец, на Пасху меня хоть в гости позвал, хоть к обеду. Не забывай: кто примет праведника во имя праведника, получит награду праведника.

Это слилось со сказанным в тот страшный вечер «не будь слишком честным ...», и опять перед отцом Павлом воздвиглась непроницаемая стена. Был человек — живой, с мыслями, с чувствами ,сейчас такими,

через минуту уже совсем новыми, и в миг все пропало. Спорить и возражать отец Павел не стал.

— Хорошо — сказал он. — Приходи.

Погорелов вышел в центре города, помахал рукой на прощанье. Отец Павел подумал: домой не могу — отец, Елена, нет, сейчас не могу. Поеду на Бад Фильбель.

Дорога обрамлена была высокими тополями, фары машины выхватывали из темноты толстые корневища. Изредка — автомобиль, совсем нет пешеходов. Замечательное место для убийства.

«Если бы я не был священником, если бы я не верил, и, главное, если бы не было тех мерзких дней и ночей, о которых и теперь вспоминаю с холодным ужасом, я бы...» Он легко представил себе, как подводит машину к дому, выходит, идет, открывает дверь в столовую, револьвер в кармане... Нет, это ерунда. Он везёт Погорелова сюда, на пустынную дорогу: выходи! Зачем? Почему? Выходи, говорю тебе! Правой рукой в солнечное сплетение и сразу левой в лицо.

При въезде в Бад Фильбель красиво разрисованная доска и надпись: «Добро пожаловать!» Отец Павел остановил машину и пошел в поле, с удовольствием чувствуя под ногами настоящую землю, ту, из которой все мы вышли и в которую все вернёмся. Он сел на камень и сидел тихо, ожидая чего-то, что непременно должно совершиться. И совершилось. Тишина напрягалась, натянулась и порвалась. И сквозь тишину проник... что проникло? Вот и не скажешь. Сквозь тишину прошел мерцающий звёздный свет, тихий перезвон колоколов, благорастворение воздухов... лето Господне благоприятно совершившееся.

«Я один» — думал он. Нет, он этого не думал, он это знал, понимал, ощущал, он в этом был. — «Я один, и мне не страшно. Никаких страхов и ужасов нет: я один, никого на всей земле. Я последний. Уже совершилось, прогремела труба, и вот кто-то взят, а я оставлен. И больше не о чем думать и нечего со страхом ждать. Все долженствующее произойти уже было».

Он был на верху горы, а внизу — невыносимо внизу — Погорелов, и Елена, и отец, и староста, подавший меморандум. Одно только перебивало это наглядное ощущение торжествующей вечности: тихая жалость к оставшимся внизу и радость о том, что и им открыт путь, и они могут, стоит им захотеть... ну, захотите же, ну, пожелайте же только. Вот что он забыл, проповедуя о кресте. Крест — да, но сказано ещё и это: «иго Моё благо и бремя Моё легко». Забыл о легкости и благости.

Лена, ты не бойся, все это не страшно. Образуется.

И как назло, именно в эту ночь она действительно спала.

VII

— Э, брат ты мой, я им только в глаза взглянул: готово! От меня не убежишь. Ты слушай, я тебе скажу... Да ты мне верь: отец я твой. Не знаю уж, как это у вас, по-поповски полагается, но только я тебе напрямик отрежу: живут они вместе, понял?

Отец Павел улыбнулся:

— Я знаю.

— Что?

— Я говорю — я знаю.

— Да т-ты!

Из трубки — искры, огонь, пепел, всё просыпалось на ковёр.

— Осторожно, — сказал отец Павел и ногой в тяжелом башмаке растёр горящий табак.

— И ты так... спокойно...

— Что же мне — кричать?

— Но надо же...

— Ты, батя...

Неожиданно он ощутил прилив нежности. Такую знал только в детстве, когда отец — это большое, нужное, защищающее от всего, последнее прибежище, обещание того, чем будет впоследствии Бог, если только доверишься Ему так же, как доверяешься отцу земному.

— Ты, батя, смотри, ты ведь всё равно помочь не можешь. Закрой глаза и всё.

— Кто? Я! Чтобы я закрыл глаза! Да ты, да... Ты понимаешь вообще... И в церкви... Как ты в церкви, там проповеди и все... И она...

— Ты её, батя, не трогай. Она что? Со мной жить — это... Ну вот смотри, за весь вчерашний день пять-шесть часов дома был. И то, как приехал, в постель, спать. Она тоже человек, женщина. Ей жить хочется, а со мной какая жизнь.

— Подлец ты, я тебе скажу.

Отец плюнул на ковер и вышел из комнаты. Отец Павел долго стоял у окна. Тёплый, тёплый ветер осторожно входит в комнату, как бы чего не потревожить. Внизу играют ребятишки, а мимо них бежит, катится, торопится взрослая жизнь. О ней ничего не узнаешь. Ну да, порой придут на исповедь, но и это — проформа. Лгал? Грешен Богу. Пьянствовал? Грешен Богу. Беспутствовал? Грешен Богу. А сам не совсем даже понимает, что это значит — беспутствовал. Конечно, порой прорвёшься сквозь безразличие, но сам же и пожалеешь. Откроется рана, боль хлынет, пойдёт широким потоком, загудит поездом по туннелю. — Спасите, отец Павел, спасите! — Не у меня ищите спасения, у Бога, я только слуга Его. — У Бога? — А он уже и забыл, что Бог действительно есть. Для него всё это — церковь, обряды, таинства — мрачный непонятный заговор, в который пустите его, пустите же и его, откройте ему вашу тайну, какой-нибудь магический «Сезам, отворись!», какие-нибудь сочетания слов ,чтобы произнес их, и сразу все беды прочь. Формулу алхимиков...

За это любишь человечество и человека. Как не любить, зная сколько боли, сколько ужасов, на какой тонкой ниточке — вся обыденная жизнь! Средний человек не знает. Иногда, редко — обрыв, падение вниз —рак, чахотка, сумасшествие — но и тогда это только один человек, только с одним человеком. А те, что вокруг? Погоревав, снова войдут в нормальное, обычное... Есть опиум быта, есть героин маленьких трагедий, драм, есть наркоз отношений и контротношений, ненависти, любви, безразличия — всё рассыпающееся

при первом прикосновении, но до него, до первого прикосновения, держащее воедино то многоразличное, что называется жизнью.

— Да кто он такой, кретин этот?

Отец стоял у стола и трубкой колотил по полированному дереву.

— Что же я тебе скажу о нём? Студент Богословского института, вот-вот кончит. Приехал сюда не то на каникулы, не то уж и не знаю зачем. Ну и, конечно, ко мне пришел. А тут вот... сам видишь.

— Это что их, в институте учат с чужими женами жить?

Прорвалась горечь, обида — в первый раз позволил себе сказать с чувством:

— Чему учат? Я не знаю, чему их учат. Но бывает так — как с врачами. Профессионал, понимаешь? И уже у него не болит от того, что другому больно. И уже он, доктор, медик, к чужому страданию так относится, как инженер к математике. Так и тут. У него не любовь к Богу теперь, а только цитаты. И вместо блоговения цитаты. Столько он тебе цитат нагородит, что как в лесу заблудишься.

Из любой воды сухим выйдет. Всегда прав. Попробуй, поговори с ним. Я пробовал. Отцы церкви, патристика, Иоанн Богослов, послание к евреям, послание к коринфянам. А я что? Неграмотный, посторонний. Верю, а как верю и объяснить не могу. Но только не верю, что Иоанн Богослов разврату учил. Уж и не знаю, как это получается, а только не убеждают меня его цитаты.

— Нда, гм!

Ему было стыдно. Надо молчать, надо всё нести, смиряться, принимать крест, не отказываться от него, не сбрасывать половину тяжести на другого.

— Вот, брат, что значит в попы переть, не разобравши броду, — сказал отец и хлопнул дверью.

В попы переть? А где другой выход? Ох, как помнятся ему эти дни. Вечером пошли на концерт: музыка барокко. Скрипки, виолончели, серебряная зала с ангелочками на стенах. Напряженные лица, руки, комкающие программу. Внезапный удар в сердце: Господи, это было — нет, не то. Это будет — и опять не то. Нашел: надо умирать. Ну да, не сейчас, не сегодня, не завтра, через тридцать, пятьдесят лет. Но и сегодня, и завтра только один шаг в ряду пяти тысяч или десяти тысяч шагов, в конце всё равно могила. Зачем же жить? Для того лишь, чтобы умереть в конце? Зачем умирать? Но умирать надо. Почему надо умирать? Кто сделал так, чтобы умирать непременно надо было?

На голову надет чёрный мешок, тот, что надевается перед казнью. Душно, темно, пусто. Зачем мне эта музыка, зачем я здесь сижу, для чего я это слушаю? Какая разница? Буду я слушать или не буду, я всё равно умру. Я всё равно умру. Буду есть, пить, веселиться — умру. Не буду ни есть, ни пить, ни веселиться — умру. Полюблю кого-нибудь — умру. Не полюблю — умру. Буду хорошо жить — тоже самое, и плохо буду жить — конец опять-таки тот же.

И это не то. Со всех сторон вечность: мохнатая, косматая, страшная, немилосердная. У нее ни сердца, ни чувства, ничего; её даже и

нет в действительности. Но эта несуществующая, нечувствующая, ничего не знающая вечность сожрёт меня, как свинья сжирает своих поросят. Нет, не подавится. Сожрёт и... и что? Что будет потом? Буду я? Где я буду? Или меня просто не будет, я перестану быть? Как же это... Как же может быть, чтобы меня не было?

И если это так, то что я делаю? Почему я здесь сижу? Надо бежать, кричать, бить в набат, всех звать в одно место: нас предали, нас продали, нас не будет. Вот вы боитесь рака, боитесь чахотки, боитесь войны, — Господи, но как можете вы не бояться времени, которое страшнее и холеры, и чумы, и пыток, и всего вообще, что есть самого страшного на свете! Как можете вы жить спокойно, сидеть спокойно, слушать глупую музыку, говорить о каком-то идиотском искусстве, когда у вас крадут минуты, драгоценные минуты, единственные минуты, неповторимые минуты, минуты, которых больше никогда не будет!

В сущности говоря, ему должно было бы быть совершенно безразлично, живёт его жена с Погореловым или не живёт. Придёт день, умрёт Погорелов, умрёт Елена, умрёт он сам — не все ли равно, как они прожили: жили друг с другом, жили с чужими женами, каждый жил сам по себе? Отчаянный крик «спасайся кто может!», при полном сознании, что никто не может — вот и вся жизнь.

Всё равно было бы тогда лишь, если бы жизнь на этом кончалась. Тогда, действительно, бросай и беги. Но это не так. Смысл? Смысл в бессмысленности. Раз есть бессмысленность, значит есть и смысл.

Теперь всё иное и всё иначе. Тогда был холодный страх, и в этом — унизительность обращения. Не как к Савлу, в свете и сиянии, не с вопросом, — с приказанием пришел к нему Бог. Пришел и приказал: если не пойдешь за Мной, вот что с тобой будет.

Любовь явилась позже, много позже. Он растил ее, питал ее, кормил ее, и когда она дала уже первые зеленые побеги, вдруг вот это.

И ему не было безразлично, потому что он твёрдо знал, больше — верил: начатое здесь, продолжится в вечности.

Но как это сказать, как передать это другим? Ей?

После концерта они ещё гуляли, легли спать. Он не спал. Ходили по стене тени, в окно видно было дерево. Тени останутся и не умрут, дерево будет дальше стоять на своём месте, а я умру, меня не будет. Унизительно? Да, это унизительно. Но я хочу кричать. Я не могу кричать. И, сдерживаясь из последних сил, он сказал Елене, разбудив её за голое плечо:

— Лена, мне страшно, Лена!

Ответ её был глуп:

— Как ты любишь трагедии разыгрывать.

Она и сейчас так же ответит. Она была хорошей женой ему, пошла за ним безропотно, но *этого* она не понимала. Ну что скажет он ей, как он к ней подойдёт? Зная ответ заранее: сбереги свои проповеди для церкви.

Да, для церкви. Жизнь рассечена пополам: половина каждый день везде, другая половина в церкви. И половинки никогда не срастутся, потому что ничего общего между ними нет. Ей не страшно, она не боится, поэтому может жить каждодневной заботой, ото дня ко дню. И идти за Погореловым, который все разрешит одним словом, од-

ной мыслью. И с завистью думал отец Павел: о, если бы и для меня Ты был только абстракцией!

— Отец Павел, — сказал он, — отец Павел, ты начинаешь осуждать. Берегись, ты на скверном пути. Помни, что сказал твой покровитель: «кто ты, осуждающий чужого раба?»

Был один вечер и одна ночь — и, вернувшись из Бад Фильбеля, он спал спокойно.

VIII

Отец Павел окадил жертвенник, все время чувствуя на своей спине пристальный взгляд старосты.

— Ну?

— Там исповедница.

— Ну вот, — позволил себе заметить отец Павел, — всё жалуетесь, что службы длинные, а что мне делать, если у вас так — проскомидия кончилась, исповедники являются.

— Особенная исповедница, — староста улыбнулся улыбкой, которую многие называют «вкусною».

Отец Павел исповедовал на клиросе, обычно пустом. Раньше сюда приходила Елена — помогала петь, потом появился Погорелов. В последние недели клирос снова опустел, отец Павел был сам себе и хором и псаломщиком. Подбирая полы подрясника — желтого, слишком длинного, вылезавшего из-под ризы — он пошел на клирос. У аналоя, вся в белом, с толстой желтой свечой в руках, ждала Елена.

«Могу я или не могу, имею ли я право? Но другого священника здесь нет, куда же ей идти?»

Елена положила свечу, поклонилась в ноги, поцеловала крест, Евангелие.

— Говорите ваши грехи, как перед Богом.

— Живу в блуде! — истерически выкрикнула она.

«Господи, как мог он этого не замечать: она страдает, а он . . . »

— Тише! — сказал он. — Исповедь должна оставаться тайной.

— Не могу! — шепотно выкрикнула Елена. — Не могу тайной. Мне всё равно.

Но как это было трудно! В другом случае он знал, что сказать: загладьте грех свой, вернитесь к мужу, просите прощения. А здесь?

Без уверенности, что делает то, что надо, отец Павел пересохшими губами спросил:

— Почему вы ушли от своего мужа?

Она тоже облизнула губы и стала говорить тихо, будто выдавала чужую тайну и боялась за это себе наказания.

— С ним трудно было . . . Всё новое и новое . . . Что ни слово, что ни увлечение, то и жизнь иначе . . . В священники тоже пошел: зачем? Разве нельзя так, дома в Бога верить? Не все же в священники идут. Я лёгкой жизни не искала, но я твёрдости хочу . . . А тут . . .

Он произнёс формулу отпущения грехов:

— Аз, недостойный иерей, властию, данной мне от Бога . . .

«Иерей, властию данной от Бога — одно. Но я — отец Павел Никешин, что я имею сказать по этому поводу? Простил я её? Прощу? И даже, допустим, что я ее прощу, простится ли *мне* тогда?»

Никогда ещё не служил он так, как в этот раз. Ангелы сходили с неба и сослужили ему — он их видел. Это называется искушение. Искушение приходит, уходит — устоявший до конца спасается. Искушение ушло... ушло ли? Всё равно. «Совершенная любовь побеждает страх».

Он возносил над престолом руки, поднимал голову, вверх уходила его косматая борода. Себе он казался древним пророком, охваченным божественным опьянением. Он пьян Богом, пьян вечностью — как мог он бояться смерти! Пускай она придёт, желанная. Сестра моя, жена, моя любимая, пусть она придёт сюда, к престолу! Здесь я её встречу с воздетыми руками: Господи, благослови в последний путь! Ухожу, отхожу...

Только в пономарке он проснулся. Всё было сном, а теперь явь. И надо ехать домой. И то, что было — только один шаг в бесконечном ряду шагов, из которых ни единого не упустишь.

Отец чмокал, обсасывая сочную кость, не боялся макать пальцы в расписную тарелку. Против отца сидел Погорелов и часто подмигивал Елене. Отец Павел осторожно — не поймали бы на грехе — наблюдал за ними. И как никогда поражало его сегодня в Погорелове страшное несоответствие мякого пухлого рта и хищных жестоких глаз. Елена опускала голову, а когда поднимала, вот — на глазах слёзы.

— Последняя новость, — сказал Погорелов. При отце он вообще стал грубее и, кажется, пытался этим подладиться под старшего Никешина, даже и водку стал пить, как тот — большими стопками. — Тут на тебя донос за доносом. — Повернулся он к отцу Павлу. — На то жалуются, на другое, хотят, чтобы тебя в другой приход перевели. Да ты не бойся. Они из епархиальной канцелярии отца Афанасия Симонова послали ревизию проводить. Это мой дядька, так что я устрою...

Отец Павел не успел ответить. Лицо отца наливалось бурым, лиловело, темнело, как небо, по которому, внезапно закрывая солнце, побежали тучи и пошла болезненная краснота — предчувствие дождя и бури.

— Вон! — крикнул отец, поднимаясь над столом. — Вон отсюда и вон!

Ему не хватало слов. Он размахивал вилкой и костью, только что вынутой из тарелки. Елена отпрянула в угол, отец Павел бросился к отцу.

— Батя, брось, что ты, батя!

— Оставь! Вон, говорю — сукин ты сын! Он ещё тебе покровительствовать будет. Интеллигент паршивый, либерал, мерзавец! Вон отсюда, чтобы носу твоего тут не было больше!..

— Вы меня не пугайте, я не боюсь...

Но у него дрожали губы, и в глазах раздвинулась жестокость, пропустив сумятицу и недоумение: что делать? Ему было трудно совладать с чужим гневом и одновременно с самим собой. Силы были неравны, неравны и приемы: дубина против тоненькой парадной шпажонки.

— Можно спокойно поговорить...

— Не о чём мне с тобой говорить!

— Хорошо! — кровь отлила от его лица, он был бледен, и отец

Павел боялся, что с ним — не дай Бог! — будет припадок. — Хорошо! — едва слышно промолвил он. — Раз так, тогда ты, Елена, выбирай: или эти бандиты или я.

Елена начала было подниматься, но отец накинулся на неё.

— Сиди, несчастная, сиди, блудница вавилонская, окаянная дщерь.

Впрочем, сквозь пафос проглядывала готовность на всё. Отец был в одном из тех настроений, когда он для своего Павлушки свою рубаху порвёт, да и чужую не пожалеет.

Елена плакала, положив голову между двумя тарелками недоеденного супа, отец Павел пытался её утешать, положив ей руку на голову, отец паровозно пыхтя, бегал по комнате, трубкой барабаня то по стене, то по столу. Погорелова не было.

IX

Белой тенью она пришла на его постель.

— Павлик!

— А... гм... да!

— Павлик же!..

Он проснулся, но ещё не вполне понимал, что происходит и где он.

— Павлик, я хочу сказать, что...

Вот оно что — Елена здесь, тут, с ним. Как могло это произойти?

Вечность надвинулась, стала рядом, над постелью, склонилась в белом прекрасном образе. Все спасены: было двое и оба взяты, никто не оставлен.

— Лена, иди сюда, ну, иди сюда!

Она положила ему голову на грудь.

Внизу резко зазвонил телефон. Послышались шаркающие шаги отца, его ворчливый голос.

— Чего?.. Что?.. Да... Да, да, да. Да, говорю вам, чёрт побери! Нет, не священник. Это я.

Встав у подножия лестницы, он армейским басом заорал:

— Эй, монах в синих штанах, слезай с колокольни, довольно марьяжи разводить.

— Я пойду, Лена.

Но как трудно было ему отпускать ее тонкие пальцы. Поэтому он ещё и ещё раз сказал:

— Я пойду, Лена.

Она сама подтолкнула его.

— Иди, иди, я тебя ждать буду.

— Отец Павел, батюшка...

Голос на другом конце линии обрывался в рыдания.

— Батюшка, отец мой...

— А врач? Что врач? — спросил отец Павел.

— Врач уехал уже.

— Хорошо, я сейчас.

Елена, следившая в окно, увидела, как сдвинулась с места машина отца Павла...

Петр Ершов

Киримбюбю

Рассказ

С вершины замка Гогенштауфенов виден был в дымчатой дали замок Рехберг, а от Рехберга — зоркий глаз намечал каменную громаду — Розенштейн.

Розенштейн казался особенно неприступным. Отвесно обрывалась на запад каменная громада. На вершине, на самом краю пропасти, гордо красовался графский замок — тяжелое средневековое каменное кружево.

Из амбразур — на восток, север и юг — виднелась чаща буковых лесов, сползавших террасами по крутым склонам. Одна только проезжая дорога длинной спиралью вела к глубочайшему рву, с перекинутым через него подъемным мостом. На толстых стенах, двойным рядом обходивших замок, среди каменных зубцов непрерывно дежурили вооруженные воины; на самой высокой башне зорко глазел во все стороны сторожевой, чутко прислушивался, безошибочно угадывая среди воя ветра и шума листвы тайно подбирающегося врага . . .

*

Ну, и что же сталось с Розенштейном, когда мимо него пробегают железнодорожные поезда, когда в бывшем под ним поселении, превратившемся в нарядный городок, зажглись электрические фонари?

Каменная громада высится и теперь. Кажется, что могучие камни беспорядочной кучей навалены друг на друга; один повернулся плоской гранью, другой налег на него острым ребром, — в провалах и расщелинах застряли пласты грунта, и из каждой трещины лезут стебли, пучки листьев, мох, жесткие горные травы и цветы.

По-прежнему по склонам горы кудряво зеленеют буковые леса, но на лысой верхушке от великолепного замка остались только руины.

Для любознательных туристов разделано несколько путей от подножья горы наверх.

Кто помоложе и крепок сердцем да ногами, — может взбираться крутыми тропинками, продираясь через колючие кустарники, прыгая через овражки, — иной раз сорвется из-под ноги камешек, а то длинные и цепкие лианы ежевики поколят щиколотку, — зато в глуши и дикости глубоко заросшего рва, где когда-то стояли воды, а теперь

в сырости, полутьме и прохладе торжествует пышная зелень, растут карлики-папоротники и хвощи, — там путник легче почувствует отзвук дыхания далеких времен, чем на широкой утрамбованной дороге, приводящей в цивилизованном XX веке к прочным мостикам, откуда можно проследовать... к пещере каменного века или к развалинам замка.

Пещера — на средней террасе горы, много ниже бывшего замка. Вода, ветер и солнце изменили ее былые формы. За обширной, похожей на циклопические ворота, бугристой аркой — мертвое вместилище с маленькими боковыми коридорами; в десяти шагах от входа, внутри, воздух тяжел и сыр, по заплесневевшим стенам сползают проступающие капельки воды; сказав слово, не узнаешь своего голоса.

У входа — мраморная скромная доска с лаконической немецкой надписью: «Пещера человека Каменного века».

Тут же указывается, что найденные в пещере останки и предметы хранятся в Гейдельбергском музее.

По развалинам же замка трудно теперь представить, каков он был в старину. Три сохранившиеся стены с широкими амбразурами; на месте бывших покоев и залы, среди стен, растут случайные бук, каштан, береза и совсем молодой дубок.

*

В пяти минутах ходьбы от замка, на веселой лужайке встретит путника уютный, немножко смешной, пожалуй, — домик... нет, скорее — аккуратная избушка. Зайдите справа — баварская, слева — швабская, спереди — что за диво? — будто чем-то смутно напоминающая русскую.

По сравнению с реликвиями местности, возраст этой постройки столь невелик, что о нем и упоминать даже неловко: каких-нибудь двадцать пять лет.

И впрямь — четверть века тому назад рядом с руинами бывали только передвижные тележки, привозившие напитки и сласти. Но нашелся человек, который рискнул всерьез обосноваться на вершине горы и открыть ресторанчик. На вывеске, рядом с удивительно точно и аппетитно изображенными кружками пенящегося пива, скромным готическим шрифтом сообщалось его имя: Антон Хальбриттер.

*

В этот первый год мира — 1945 — на горе было тихо, — всем было не до экскурсий.

Хальбриттер занялся ремонтом беседки, крыши дома и стеклянной террасы.

Жена Бабетта приобрела в это смутное время, полное загадок и неожиданностей, большую клиентуру и часто уходила в городок на астрологические сеансы, приносившие ей даже доход. Возвращаясь, она рассказывала мужу новости и сплетни и, между прочим, сообщала, какие странные случаи разыгрывались в беженских лагерях при

репатриации иностранцев, в некоторых местах превратившейся в грубо насильственную.

В тихий августовский день солнце светило будто сквозь жемчужную дымку. В городке было парно, а на горе слегка веял слабый теплый ветерок, и его касания напоминали нежную шерстку ласкового зверька.

В буковых зарослях начинала наливаться дикая, дерзко разросшаяся ежевика; в овражках лесных пахло грибами...

В тельнике-безрукавке Хальбриттер хлопотал на лужайке, вмазывая недостающие стекла в рамы террасы. Настроение было ровное, уравновешенное и даже бездумное за работой, но подсознание — по неведомым причинам и законам — толкнуло на милый, напоминавший о его дореволюционном посещении России, мотив, и Хальбриттер замурлыкал:

Фетеротшек чут-чут дишит,
Фетеротшек не колишит...

Мурлыкал и тихо улыбался и пришлепывал замазку. Не заметил, как по траве неслышно подошла вернувшаяся из города Бабетта. Она тронула его за плечо. Он обернулся и сразу увидел особое выражение ее лица. Она махнула рукой по направлению к пещере каменного века:

— Там сидит какой-то чужой человек.

— Турист?

— Нет. Совсем не турист. Чужой. Вероятно — иностранец. С усами и бородой.

— Ты с ним говорила?

— Нет. Я боялась.

Хальбриттер пожал плечом и, бросив работу, пошел вместе с Бабеттой к пещере. Издали ничего не было видно, но когда они подошли вплотную и остановились у широкого входа, — действительно — в глубине, в одной из ниш, вырисовалась фигура пожилого мужчины. На первых порах он не заметил подошедших. У его ног был развернут большой, серый в крапинку, платок, на нем лежал хлеб; перочинным ножем он выковыривал из консервной банки мясо и умащивал его на ломтик хлеба. Услышал шорох, вздрогнул и поднял глаза.

Хальбриттеру показалось, что на него глянула утомленная, загнанная и сдающаяся жертва. Лицо было несовременно: такую бородку и такие усы Хальбриттер встречал еще до первой войны.

Мужчина медленно поднялся с камня и молча слегка поклонился.

— Добрый день, — вежливо осклабился Хальбриттер и привычно добавил: — Что угодно?

Человек смущенно улыбнулся и, с трудом подбирая немецкие слова, сказал, что он просит разрешения пробыть здесь... несколько времени, потому что... потому что он очень устал.

Хальбриттер дружелюбно кивнул головой и предложил пройти наверх, к ресторану. Там можно и отдохнуть, удобно позавтракать и помыться... ведь мы не в каменном веке, ха-ха!

Человек с некоторым испугом затряс головой и повторил, что ему здесь очень хорошо, он никому не хочет мешать...

Хальбриттер прислушался к тому, как незнакомец произносит немецкие слова, и мяко осведомился по-русски: — Ви ест русски?

Лицо мужчины мгновенно изменилось, он проглотил слюну и в свою очередь спросил: — Вы говорите по-русски?!

Бабетта постояла минутку, прислушиваясь к завязавшемуся на чужом языке разговору, удивилась, как оживилось лицо пришельца, как зарумянился Хальбриттер, схватив руку мужчины и энергично тряся ее, — и, чтобы не мешать, первая ушла наверх.

Мужчина после колебаний завернул хлеб и консервную банку в платок и согласился следовать за Хальбриттером. Оба появились на ресторанной лужайке через несколько минут. По дороге они, видимо, достаточно объяснились. Хальбриттер дал Бабетте распоряжение привести в порядок одну из комнат для постояльцев, принести туда подушки, одеяла, налить в умывальник воды и сварить кофе.

Пока Бабетта хлопотала, Хальбриттер уютно сидел с пришельцем, дружески похлопывал его по коленке и сыпал, сам себе удивляясь, одну русскую фразу за другой. За каких-нибудь полчаса гость уже знал о жизни хозяина в Петербурге, а хозяин с изумлением слушал о том, как гость накануне ушел из унровского лагеря, как провел ночь в пещере каменного века, как это убежище казалось более надежным, чем все иное, и как он хотел бы за любую работу остаться в каком-нибудь немецком хозяйстве...

Еще неясны были мотивы этого поведения, непонятна была пока смесь и любви к родине и страха перед ней, но ясно было одно, что этого человека надо не бояться, а жалеть.

Бабетта явилась с сообщением, что комната готова, и Хальбриттер повел гостя по узкой скрипучей деревянной лесенке наверх. Гость вынул из кармана потрепанный брезентовый бумажник и хотел передать Бабетте деньги и унровское удостоверение. Хальбриттер запротестовал: о деньгах сейчас не может быть и речи, а удостоверение пусть Бабетта просмотрит и запишет нужные сведения, — полицейскую регистрацию можно будет сделать попозже.

За кофе Хальбриттер сообщил, что его по-русски надо звать Антон Антонович и полюбопытствовал, как имя гостя. Оказалось трудное: Митрофан.

— А как отечество?

— Да из России же!

— Нет, — как отцовско ототшество?

— Ах, вы про это: Митрофан Алексеевич.

*

Вечером, после того, как Митрофан Алексеевич поработал с хозяином над вставкой стекол, и они плотно поужинали, Антон Антонович две минуты побренчал «Гай-да тройка» на балалайке, похвастал книгой «Весь Петербург» и дружески напутствовал гостя на сон грядущий: «пусть будет вам — мир, любоф и бляшенство»...

Затем, найдя Бабетту в кухне, кратко пояснил ей: — Русский учитель. Был в Румынии. Потом сюда. В Германию. Несчастный. Пусть поживет. Не говори пока никому. Спал в пещере! Невозмож-

но! Жизнь в опасности! Ну, спокойной ночи, мое сокровище... — и ласково потрепал ее по спине.

Долго ему не спалось, и снова одолел его Петербург. А на душе было интересно и легко. Будто в душную комнату через окно ворвался свежий воздух.

Митрофан Алексеевич присел у раскрытого окна в своей комнате, смотрел в черную безлунную ночь, гладил себя по волосам, дышал влажными порывами ночного ветра и вдруг коротко и страстно заплакал...

Бабетта, записав по удостоверению день, месяц и год рождения иностранца, рылась в альманахе и начерно прикидывала его гороскоп.

1

Гудронированная дорога темно-серой лентой вьется среди зеленых холмов, перерезает пахотную швабскую землю и соблазнительно прячется в прохладных дубовых лесах.

По дороге с грохотом катятся грузовики. Целая колонна. В голове ее, на первом грузовике, молодых людей набилось до отказа...

Срывает ветер косынки с женских голов, треплет вихры парней. У всех разинуты рты — голосят что есть мочи: «Страна моя, Москва моя, ты самая люби-и-мая»... К борту прибит шест с красной рваной тряпкой. Судорожно извивается тряпка, полощет, от шеста оторвалась бы да взмыла к сизому небу...

Пассажиры следующих грузовиков — потише; кто, прищурившись, смотрит вперед, кто странным взором глядит назад и не наглядится...

Колонна, сильно замедляя ход, въезжает в лес, как в зеленый туннель.В этом лесу полгода назад немецкий «Фольксштурм» рыл посреди пути рытвины и валил громадные старые деревья, пытаясь помешать продвижению американских моторизованных колонн. Теперь дорога уже расчищена, но рвы не засыпаны, и их надо осторожно объезжать.

Последний грузовик тормозит на опушке и на минуту останавливается; впереди затор... В последнем грузовике нагромождение ящиков, чемоданов, узлов: багаж едущих впереди. Пассажиров только пятеро: старик, усердно жующий беззубым ртом кусок хлеба, заплаканная старуха, изредка без слов отчаянно взмахивающая жилистыми руками; молодая женщина с плотно сжатыми губами, скуластая, с раскосыми глазами, и ей под пару низкорослый монгол. Они пристроились у заднего борта грузовика.

Случайной остановки на одну минуту совершенно достаточно, чтобы на двух связанных вместе кашне быстро и незаметно спустить на дорогу маленького ребенка. Они слишком крепко его поцеловали, на секунду неудобно прижали к себе его тельце; ребенок всхлипнул. Ему что-то сказали, рукой показали на зеленую лужайку рядом с дорогой...

Впереди машины двинулись. Грузовик зарычал, дернул вперед.

Скуластая женщина закрыла лицо руками и прижалась к монголу. Он с ужасом не отрывал от ребенка глаз.

Крошечная фигурка недоуменно стояла на обочине, потом протянула ручки к уезжающим и заплакала...

*

Весело катит по гудронированному шоссе американский военный джип: легкая коробочка на колесах. Сидят в джипе два приятеля: Жора и Алек. На Жоре сборный костюм: американские брюки хаки, на ногах тяжелые немецкие рабочие ботинки, разовая рубаха с открытым воротом.

Алек — американский солдат, русский по происхождению, ладно одетый, в пилотке, съехавшей на нос. Алек и разговаривает и зорко смотрит на дорогу.

У опушки леса копошится какое-то пестрое пятнышко. Подъехали поближе: девочка-крошка плачет в три ручья, ножками топает, путается в шарфах, то упадет, то побежит. Неужели одна?

Алек затормозил, выскочил с Жорой и пошел к ребенку.

— Хэлло! — во все горло заорал Алек басом.

— Хэлло! — подхватил тенором Жора.

— Мутти! — еще громче завопил Алек в сторону леса.

— Тантэ! — старался перекричать Жора.

Девочка притихла и внимательно смотрела на незнакомцев. Алек медленно подошел к ней. Но она молча отступила на два шага. Алек тоже остановился.

— Ты не бойся, — дружелюбно сказал он по-немецки.

— Не надо, — убежденно подтвердил Жора.

— Как же быть? Должна же быть поблизости мать или сестра, — до деревни здесь три хороших мили.

— Всех пять километров наберется, — я знаю, — уточнил Жора.

Они стали размышлять, мог ли такой ребенок сам забраться в эти места. Кто-то, бывший с ней, ушел неподалеку. Не покричать ли еще?

— Мутти, хэлло!

— Мама! — взвизгнула девочка и бросилась бежать к лесу.

Оттуда раздалось ответное женское «хэлло». Девочка насторожилась. Из лесной тени показалась крупная фигура молодой швабки. Щеки отливали фиолетовым румянцем. Маршировала она что твой солдат, могучая рука поддерживала круглую корзинку на плече.

— Хэлло! — уже потише крикнул Алек. — Ваша девочка плачет.

Швабка чрезвычайно удивилась и как будто даже обиделась, — она «фрейлейн» и никакой девочки у нее нет.

Вокруг ребенка образовалась следственная комиссия. Девочка не плакала, а переводила лишь глаза с одного на другого.

— Э-э, — сказала швабка, рассматривая ребенка, — она не из наших краев. Посмотрите, какое у нее лицо: она китаянка.

— В самом деле, — согласился Алек, — у нее монгольский тип.

— Похоже на это, — мотнул головой Жора.

Алек сел на корточки и поманил пальцами ребенка к себе: — Поди сюда, маленькая!

Присела и швабка, а заодно уж присел и солидарный Жора.

Девочка опасливо, исподлобья присматривалась ко всем трем. В голосе каждого слышалось непритворное дружелюбие. Наконец она решилась и пошла к швабке.

Ловкие, хотя и жесткие, громадные крестьянские руки обняли девочку, погладили ее по голове, развязали опутывавшие тельце шарфы, поправили платьице.

Рожица девочки — вся в грязных полосах. В сумочке через плечо нашелся аккуратно сложенный платочек. Когда разворачивали его, — выпала записка. С одной стороны — незаконченные строки по-немецки, с другой — по-русски. Писалось, видно, второпях, когда бумажка лежала, может быть, на коленях, во время езды.

— Не понимаю, — покачала головой швабка и протянула записку Алеку, а сама стягивала с девочки мокрые панталончики.

Алек быстро пробежал глазами русские строчки, резко сбросил с себя пилотку и, сложив, засунул ее под погон на плече.

— Слушай, — сказал он Жоре, — тут, брат, дело табак:

«Добрые люди! Пощадите... Спасите ребенка... мы с мужем все равно погибнем, нас разлучат, ребенка — в детдом... Спасите ее! Зовут — Киримбюбю. Киргизка. Три года. Хорошая, ласковая... Ради Всемогущего, спасите!»

Алек перевел по-немецки для швабки. Та задумалась, внимательно разглядывала девочку, глаза которой уже смыкались и голова клонилась на пышную грудь женщины.

— Нет, — сказала швабка, — нет, невозможно. Такую никто не возьмет.

Долго сидели все трое на траве и молчали. Наконец, Жора предложил:

— Алек, свезем ее сначала в твою комендатуру, а потом в лагерь старых эмигрантов. Из нашего лагеря завтра пойдет второй эшелон с репатриантами, к нам нельзя, — советчики разнюхают... Но сначала все-таки заедем на гору к Бабетте, — ведь мамашка меня без гороскопа с косточками слопает.

Алек раздумывал, покусывая сорванные стебли.

— Сволочь!.. — сквозь зубы прошипел он и вместе с этим словом выплюнул траву. — Идет! — решил он вдруг, — возьмем ее с собой. Ну, поехали на гору!

Киримбюбю уже почти спала. Она только чуть приоткрыла свои щелочки-глаза, когда швабка осторожно переложила ее на руки Жоры.

2

Две недели живет Митрофан Алексеевич на горе. Две недели опекает его Антон Антонович. Утром встречает радушной улыбкой, показывает желтые японские зубы. Вечером успокоительно похлопывает по спине, провожает в уютную верхнюю комнату. Бабетта почти каждый день спускается с горы, ходит по своим клиентам, составляет гороскопы и по секрету рассказывает мужу о том, что делается в беженских лагерях. Антон Антонович ничего не пересказывает русскому гостю. Зачем волновать? У гостя, видно, хаос в душе. Зачем тревожить?

Днем Митрофану Алексеевичу легче: помогает доброму немцу по хозяйству, делает прогулки к пещере, так дивно приютившей его в первую ночь, а вот ночью долго не может заснуть, смотрит в темноту,

прислушивается к ночным шорохам, глядит на бесстрастные звезды и терзается. И, поздно засыпая, каждый раз видит тот же сон: он у себя дома, сидит за столом и проверяет ученические тетрадки; в соседней комнате раздается отчаянный крик, он бежит туда и видит спокойно сидящих жену и дочь Лялю, которые очень удивлены его встревоженностью, они не кричали... Так кто же кричал, кричал призывно, умоляя о помощи? Митрофан Алексеевич начинает метаться по квартире. Никого нет. Но когда он возвращается, то ни жены, ни Ляли уже нет... Где же они? Тревога его переходит в ужас, и с этим ужасом он просыпается.

*

Из того, что смог дружелюбно выпытать и разузнать Антон Антонович, труднее всего ему было понять, как можно оторваться от семьи? Как хватило духу у Митрофана Алексеевича, может быть, навсегда покинуть любимых?

Недостаточно понимая, какой страшный вопрос задает он милому гостю (а гость несомненно с каждым днем становился милее), Антон Антонович спросил как-то, не был ли поступок Митрофана Алексеевича о ш и б к о й?

Немец свел всю душевную путаницу Митрофана Алексеевича в такую простую и убийственную формулу: о ш и б к а!

Тяжелым камнем легло это слово на сердце. Раздумья и раньше приводили Митрофана Алексеевича к ощущению ложно и опрометчиво измененной им жизни, но слово «ошибка» ускользало и подменялось другими, не столь простыми словами... Не от желания ли оправдать себя, солгать самому себе? В самом деле, не просто ли это ошибка? Чем же она была вызвана?

Для Антона Антоновича понятно, что во время немецко-румынской оккупации южного города многим оставшимся у врага горожанам пришлось приспосабливаться для того, чтобы сохранить жизнь своей семье. Понятно и то, что учителю, Митрофану Алексеевичу, пришлось поступить на службу не по специальности — в образованную оккупантами городскую Думу. Но ведь учитель стал там чем-то вроде делопроизводителя, канцелярской крысой и, следовательно, никакой политикой не занимался...

— Занимался, — сокрушенно покачал головой Митрофан Алексеевич. — Уже то, что я не эвакуировался с советскими служащими, то, что я составлял, переписывал и регистрировал циркуляры городского головы, — является работой на пользу оккупантов и их ставленников, вот это и есть участие в политике.

Антон Антонович пожал плечами: — Бессмыслица. Значит, если я в своем киоске продавал флажки со свастикой и открытки с надписью »Хайль Гитлер», я тоже занимался политикой? Но ведь я был о б я з а н продавать такие флажки!

Митрофан Алексеевич с сожалением посмотрел на Хальбриттера: — В нашей стране это тоже посчитали бы преступной политикой, а как у вас, — я не знаю.

Антон Антонович глядел с недоверием. Ну, хорошо. Допустим, что это так, как же случилось, что Митрофан Алексеевич уехал один?

Из рассказа гостя можно было понять, что уехать в Румынию должна была вся семья, все было упаковано, назначен день отъезда... Как вдруг, Ляля рано утром ушла из дому по какому-то делу и... не вернулась... После тревожных поисков, жена догадалась, что произошло: Ляля часто возмущалась оккупантами, в ней сильна была привязанность к родине; кроме того, среди ее подруг были и такие, что участвовали тайно в каких-то подпольных группах... Она накануне, во время укладки, несколько раз тревожно спрашивала мать, — может быть, не надо уезжать за границу, может быть, лучше остаться? Все, мол, говорят, что после войны не будет прежних репрессий и ужасов, власть станет по-настоящему народной, а потому не надо бояться... Мать ругнула дочку, и та, не найдя отклика, решила по-своему: уйти из дому, спрятаться у одной из подруг и этим задержать отъезд. Маша, жена, заметив колебания Митрофана Алексеевича, пришла в ужас, так как была уверена, что он погибнет от руки советчиков. Она умолила его ехать со всеми их вещами на вокзал, занять места в беженском эшелоне и дожидаться: она разыщет Лялю, она уговорит ее, они приедут к самому отходу поезда, но... ни Маша, ни Ляля не приехали, и напрасно Митрофан Алексеевич поджидал их с другими эшелонами в румынском беженском лагере. А советская армия захватывала уже и румынские земли. Румыния перекинулась на сторону союзников. В беженском лагере в Темишоре началась паника: «Придут красные и всех нас перестреляют, как изменников родины». Одни в тупой покорности примирились с судьбой и готовы были принять страшную кару, надеясь в душе все-таки на то, на что надеялась Ляля; другие образовали группу, выпросившую у уходящих из Румынии немецких частей вывезти их в Австрию или Германию. В сутолоке, в состоянии душевного пожарища Митрофан Алексеевич присоединился к этой группе и, захватив половину своих ящиков, попал в Вену, работал в остовском лагере, затем пробрался в Вюртемберг и после окончания войны пришел в лагерь УНРРА... Приехала советская репатриационная комиссия: «Родина вас простила и ждет к себе». Но всё, что стало делаться комиссией, показывало, что слова ее лицемерны, поведение грубо, нагло, угрожающе. Американцы, англичане и французы умывали руки. Начался допрос. Всех русских, попавших за границу после 1939 года, насильственно вывозили на родину.

Антон Антонович понимал, что именно побудило Митрофана Алексеевича бежать от репатриации, — с т р а х. Не то, что он забыл Машу и Лялю, не то, что ему нравится в Германии жить неизвестно еще чем и зачем, а обыкновенный страх. Основания для страха имелись. Бабетта приносила удивительные вести, которым не хотелось верить: будто многие русские люди настолько сопротивлялись отправке на родину, что вступали в рукопашный бой с советскими агентами, женщины, обезумев от ужаса, выливали котлы и кастрюли с кипятком им на головы, подростки прокалывали шины в советских автомобилях; чуть ли не ежедневно кто-нибудь из беженцев неведомо куда убегал, на чердаках и в уборных находили повесившихся или зарезавшихся. Невольно приходило в голову, что эти люди боялись какой-то своей вины. В какой мере они коллаборировали с немцами во время войны? Что сделали они у себя в родных деревнях и городах? Неуже-

ли было такое количество предателей, изменников и преступников? Посмотришь, — какие у большинства из них простые, открытые лица с непрячущимся взглядом, какие робкие и скромные женщины, тихие и приветливые мужчины. Большинство из них насильно были вывезены с родины на работы; с нашивками «ост», голодные, полубольные, обтрепанные, под градом издевательств со стороны озлобленных немцев-«лагерфюреров», — должны же были эти люди ликовать при мысли о возврате восвояси, так, как ликовали голландцы, французы, пешком пошедшие домой, не дожидаясь запоздавшего транспорта. Неужели... Неужели вот так, как и Митрофан Алексеевич, они боятся преследований, в сущности, ни за что? Потому что служба в качестве мелкой канцелярской сошки у оккупантов — это же н и ч т о, если посмотришь на это трезво, просто, по-человечески. А может быть, и Митрофан Алексеевич не рассказывает всего. Может быть, он где-то, в глубине сердца что-то утаивает?..

Эти загадки непрерывно волновали Антона Антоновича, и он, не задумываясь над тем, что и как он говорит, ежедневно наводил Митрофана Алексеевича на одну и ту же тему: — Ну, как же теперь поживает Маша? Она и Ляля знают ведь, что репатриация уже началась и поджидают его, не правда ли? Они боятся, не умер ли он, а он, вот видите, жив-здоров и о них помнит, не правда ли? Он любит их, не правда ли? И Антон Антонович, улыбаясь, заглядывал в глаза учителя.

Митрофан Алексеевич, в свою очередь, неотвязно думая о своих, никогда не произносил этого вслух, но задавался страшным вопросом: да живы ли они?

В самом деле, не преувеличены ли ужасы репатриации? Верны ли слухи о жестокостях и неминуемых карах для всех возвращающихся на родину? Не являются ли хамство, резкости и подлости репатриационных комиссий лишь местным проявлением самоуправства? Может быть, перешагнув через границу, возвращающиеся встретят ласку, заботу и понимание всего того, что произошло с людьми из-за сумасшедшей войны? Действительно, не были ли первые впечатления Митрофана Алексеевича при встрече с советским майором, напугавшим всех гнуснейшим тоном, жестокими глазами садиста и околышком эмведиста, ложными? Не вернее ли вернуться снова в лагерь, пройти опрос, искренно рассказать все начисто, объяснить...? Общая паника заразила, очевидно, и его, он поддался какому-то массовому гипнозу и мелко струсил. Ведь он понимает, что Антон Антонович про себя считает его трусом. У него могут быть даже подозрения, что более сложные и предосудительные причины привели к бегству с родины... А ведь вправду, Маша и Ляля ждут его; может быть, никуда они не уезжали... Вот он пройдет по этой милой улице, поднимется во второй этаж, постучит в дверь... Но может статься и не так: их он не найдет, дом разрушен, милая улица неузнаваема, или встретят его чужие люди, подозрительные и враждебные... Да и доедет ли он до своего города? Не попадет ли в мышеловку? Не истерзают ли его по дороге, не загонят ли в тюрьму, а то попросту не пристрелят ли где-нибудь, как «врага народа»?.. Может быть, слухи об ужасах все-таки верны?

И опять ночью — тяжелое забытье, снова мнимая встреча с любимыми, отчаянный вопль кого-то неведомого, кого нужно спасать...

Изнемогая от тяжести навалившихся на него сомнений, проснувшись под утро с тошнотворным сердцебиением, Митрофан Алексеевич решил под видом прогулки, ничего не говоря Антону Антонувичу, отправиться в лагерь и явиться в репатриационую комиссию. Пусть будет, что будет. Могут не отпустить за вещами? Ну, что ж, пусть вещи останутся у немца... да и что там за вещи? Он отобрал в бумажник только несколько фотографий Маши и Ляли, на всякий случай.

Прошел мимо пещеры каменного века, будто прощаясь, долго глядел на неё... Всё ниже, ниже вьется с горы дорога, ноги сами шагают быстрее, вот, скоро за крутым поворотом откроется городок, его надо пересечь, выйти на шоссе...

... Навстречу резво катится джип, тарахтит, беря крутой подъем. Из джипа высовывается долговязая фигура и смотрит внимательно на Митрофана Алексеевича, высоким тенором по-русски окликает: — Хэлло, товарищ! Так вот вы где!

Митрофан Алексеевич застыл в неподвижности. Джип останавливается возле него, и долговязая фигура бежит к нему с заранее протянутой рукой.

Теперь Митрофан Алексеевич узнает долговязого: это Жора, «мамашкин сын», сосед по лагерным каморкам, жилец за занавеской из серого одеяла.

— Ну, слава Богу, — живы, — трясет руку Жора, — вы что, живете тут поблизу? — И не дожидаясь ответа: — Может, знаете, ведет этая дорога к старым пещерам и к ресторанщику? Жинка его — предсказательница.

Митрофан Алексеевич начинает соображать. Подтверждает, что путь выбран правильно, и хочет идти дальше. Но Жора не пускает руку: — Погодите, а вы куда же?

— В лагерь.

Жора приходит в крайнее волнение: — В лагерь? Это зачем же? Все люди, кто может, разбежались по лесам... Да! Вы ведь не знаете! Вы ушли перед первым эшелоном на родину? Слава Богу! На утро было паршиво, потом расскажу. А ну, сидайте до нас, мы только наверх, к предсказательнице, а потом мигом назад и подвезем, куда вам надо. В лагерь носу не кажите. Замрите. Сидите, как мышь... Я вам все как есть расскажу. Ну, сидайте, друг!

Митрофан Алексеевич помедлил несколько секунд, потом двинулся к джипу. Там его встретил широкой улыбкой американец, заговоривший по-русски:

— Садитесь полегче, тут меж нами девченка спит.

Жора вскочил следом, и джип легко стал взбираться зигзагами на гору.

3

Антон Антонович еще издалека услышал приближение автомобиля. Это было впервые за последние месяцы. Кто едет на гору? И зачем едет? Бабетта тоже выскочила на террасу, удивилась.

Со всего разбега джип ловко застопорил перед диковинным домиком, из джипа выскочило два американца, а за ними появился... Митрофан Алексеевич.

«Зачем он привез сюда этих солдат?» — недовольно подумал Антон Антонович. Бабетта насторожилась.

Жора, повертев головой, приметил Бабетту с стремительно направился к ней: — Гороскоп фертиг? — без околичностей, строго спросил он.

Бабетта вспыхнула, внимательно взглянула на Жору, не узнала его и осторожно, в свою очередь, спросила: — Для кого?

Жора напомнил ей, что около американской казарменной кухни три дня назад немолодая женщина заказала ей написать предсказание. Бабетта закивала головой: — Да, разумеется, она завтра принесет, как обещала.

— Зачем завтра? — Он приехал за этим гороскопом и хочет взять его сейчас. Жора вдруг стремительно бросился бежать к джипу, на секунду юркнул в него, выскочил с кульком и опять, сломя голову, вернулся к Бабетте: — Вот, возьмите, — это мать посылает вам. — Из кулька, как из мешка фокусника, вылетали консервные коробки, банка кофе и, — подумать только! — картон сигарет.

Бабетта еле успевала подхватывать дары. Держа с трудом коробки в охапке и под локтями, Бабетта бросила горделивый взгляд на мужа, затем объяснила, что ей надо предсказание переписать и поэтому господину военному следует подождать. Затем величественно удалилась по скрипучей лестнице наверх.

Жора подмигнул всем по очереди и захохотал: — Видно, облик у меня прямо полковничий. Дожили!

— Прошу вас сидеть на скамейке, — любезно предложил удивленному Жоре Хальбриттер по-русски. Усевшись, Жора вспомнил, что он хотел рассказать Митрофану Алексеевичу:

— Вы ушли из лагеря, кажись, с вечера, и до чего ж ладно вы сделали. Никто не спал в тую ночь. Кто молился, кто ругался, а кто попросту вроде как в мертвом виде был. На утро, чуть свет, все уже были на ногах. Выставили у ворот дежурных, как, мол, заметят, что машины едут за людьми, так, чтоб сигнал дали. В девять, почитай, все пошли в гимнастический зал, где у нас батюшка Савватий церкву оборудовал, — и начался молебен. Стали друг другу говорить, что из церквы силком тащить не станут, а мы будем служить молебен за молебном. Помните директора нашего тима УНРРА англичана Литтл? Ну, того, что любил в нашей компании самогон лакать? Он — симпатяга, но что он может супротив закону сделать? А комендант города твердит одно: все из России после 1939 года по союзному договору повинны возвращаться до дому, и никаких. Ну, словом, между молебнами зачитали список — этак на полтысячи душ, — им ехать сегодня беспременно. Американский офицер пришел и пальцем мотал: чтоб не сопротивляться, а то американские солдаты стрелять будут! Понимаете — по безвинным стрелять! Ну, тут две француженки — унровские офицерши — сами слезы вытирают и тихонько шепочут: — Не бойтеся, мол, стрелять-то будут в воздух, а вы молитеся себе, — вон мистер Литтл сказывал, что в Америке преступников, ежели в церкви,

пальцем тронуть не можно... Так ведь то же преступников, а мы разве преступники? Эх! Ну как объяснить, что? И вот, во время третьего молебна (батюшка — молитвы со слезами, народ весь поет, на коленях) — в церкву идут американские солдаты, целая рота! Чего тут робить? Все люди, как есть, жмутся к алтарю, друг дружку за руки держат, тут и новые и старые. А солдаты — хвать одного, хвать другого, отрывают, в сторону ставят. Кто поближе да покрепче — побегли в алтарь! И солдаты в алтарь, драться начали, по рукам револьверами бьют, престол Божий, представьте, опрокинули, батюшкину бороду уцепили, оскорбляют старика, а он на коленах слезно просит. Со второго этажа из окон люди прыгают, свалка. А во дворе — советские грузовики и красноармейцы. Переловили несколько десятков, да добровольцы из остов сами грузятся, — эх, будь что будет. Мамашка мне спешно говорит: — Я бегу до лесу, ищи меня там... — Не успел я оглянуться — перемахнула она через каменную ограду, возле сарайчиков позади лагеря, а меня уж советский братишка уцепил и руку за спиной выкручивает. И что ж вы думали? Я ему: — Дай же хоть багаж свой принести.

— Какой такой багаж, — говорит, — ты, сукин сын, драпу хочешь дать, сидай немедля в машину!

— Ну, идем, говорю, вместе.

— Идем.

И тут вот такое приключилось, что и не поверишь сразу: в коридоре видим — полтора десятка человек к стенке жмутся и коло них американский солдат. Посмотрел он на меня, на стерву братишку и говорит ему по-русски: — Чего же ты, товарищ, старого эмигранта забираешь? Вот и эти тоже старые эмигранты.

А мне строго приказывает: — Становись без разговору к этим людям, я их обязан коменданту представить, ну, становись, чего уши развесил, я же в комиссии всех вас проверял, надоело уж возиться...

Мой «братишка» остановился и матюкается на меня: — Что ж ты не говоришь сразу, что из старой сволочи?! — повернулся и побежал ловить других.

А по коридору мимо нас волочат — кого с переломленными ребрами, кого раненого, каких-то, что яд проглотили... Нельзя рассказать, какая суматоха. А этот американец, что по-русски говорит, собрал еще с десяток и говорит: — Идите за мной!

Вывел нас на задворки, будто арестованных, и говорит: — Ну, теперь, ребята, выкручивайтесь кто как может, а я больше сделать ничего не могу; бегите в разные стороны, хоронитесь...

Ну и похоронились, больше по лесам, по горам; жили что твои звери, в кустах, в ямах. Мамашку я нашел километров за тридцать у охотницкой избушки... А солдат-то американский — вот он, перед вами, Алек Чоу, будьте знакомы! Ну, что ему за то, что он сделал, сказать можно? В огонь и воду за него. Ведь брат родной, по нашим временам, не сделает того; он больше брата!

— Жора, заткнись, — спокойно оборвал его Алек, — руки у меня коротки, а то больше бы для своих сделал. Я-то всё понимаю. Поймут и другие, да только до этого много горя выпьет наш народ здесь...

— Вы знаете, что он еще сделал? — восторженно перекричал Жо-

ра. — Ведь я ж при кухне казарменной работаю, ведь мамашка на приватке живет, ведь мы ж теперь нансена заимели, и вам, Митрофан Алексеевич, раздобудем... Да где ж вы живете-то?

Митрофан Алексеевич подошел к Хальбриттеру, обнял его сзади за плечи: — Здесь я живу, здесь «мир и любовь и блаженство».

— Да как же?.. — начал было спрашивать Жора, но в это время из джипа послышался детский плач.

Алек укоризненно взглянул на Жору и покачал головой: — А пассажирку нашу мы и забыли? Ведь ее и накормить пора.

Жора опрометью нырнул в джип и вынес оттуда девочку, поставил ее на ножки, взял за ручку и повел к скамейке.

Девочка сделала несколько неровных шагов и вдруг заупрямилась: на нее пристально и с недоумением смотрело слишком много глаз.

Алек вынул из кармана записку, вспомнил мудреное имя и позвал:

— Киримбюбю!

Девочка молча повернула к нему голову.

— Киримбюбю? — удивленно переспросил Митрофан Алексеевич.

Девочка перевела на него взгляд, нахмурила косенькие — вразлет — брови, всмотрелась и вдруг радостно улыбнулась.

— Ты хочешь к дяде? — спросил Жора, почувствовав, что девочка тянет его руку, — ну, иди.

Киримбюбю неверными шажками засеменила к Митрофану Алексеевичу, но по дороге задумалась и всхлипнула: — Мама...

Митрофан Алексеевич подошел к ней и протянул руку: — Здравствуй, Киримбюбю.

Она исподлобья глянула на него и отвернулась.

— Здравствуй, девочка, — повторил он.

Было что-то в его голосе, победившее ее настороженность и недоверчивость, то «что-то», что взрослые люди уже не умеют распознать, но что маленькие дети и домашние зверюшки понимают лучше всяких слов. Киримбюбю снова улыбнулась и протянула навстречу крошечную ладошку с растопыренными пальчиками. Он ловко подхватил ребенка, сел на скамейку, и девочка уютно примостилась на его коленях.

— Вы ее знаете? — осведомился Алек.

— Нет, мы с ней только сейчас познакомились, но, кажется, друг другу понравились, а что?

— Я думал, что вы знаете ее родителей.

Была прочтена найденная при ней записка и рассказано, как приятели нашли ребенка. У Антона Антоновича изумленно расширились глаза. Он долго качал головой и внимательно рассматривал крошечную киргизку.

— Ужасно! Но почему же мать или отец или оба вместе тоже не убежали с ребенком? Бросить так...

— А вы знаете, что было бы, если бы они исчезли из эшелона? Советский майор всякий раз угрожает выезжающему эшелону, что каждый десятый из едущих будет сурово наказан, если в месте назначения не хватит по списку людей...

— Да, но девочки-то не будет.

— В том-то и дело, что не всех грудных и маленьких детей вносят при посадке в список, полная регистрация будет в транзитном лагере. Предугадать, как всякий раз составлен список, нельзя. Родители в данном случае просто рискнули.

— Родители по дороге, видно, решились. Я что-то будто припоминаю, кажись, были в нашем лагере какие-то калмыки, — гадал Жора.

— Покормить бы ее, помыть, — соображал Алек, — и отвезем мы ее сначала в нашу комендатуру; там придумают что-нибудь толковое. Как вы думаете, — обратился он к Хальбриттеру, — не поможет ли нам чуточку фрау Бабетта; надо было бы привести ребенка в порядок.

Антон Антонович, ни секунды не медля, ответил: — Конечно, она вымоет, накормит и уложит спать.

— Спать — не стоит, мы не можем ждать, нам надо ехать.

— Да, вы поедете, а ее не надо в комендатуру, она останется здесь.

— Вот это — да! — обрадовался Жора, — а мы тем часом всё разнюхаем и через день-два приедем за ней.

Киримбюбю сначала поглядывала на собеседников, а потом заинтересовалась большой пуговицей на манжете Митрофана Алексеевича и, сопя, нахмурившись, пробовала ее вытащить из петли. Снова она почувствовала взгляды любопытствующих людей, обернулась и с особой тревогой вглядывалась в новое лицо: Бабетта вышла с листом бумаги и, озадаченная, остановилась при виде ребенка.

Антон Антонович очень серьезно и даже торжественно распорядился:

— Подкинутая девочка. Остается у нас. Возьми ее, дорогая. Она — Киримбюбю.

— Что?! — с ужасом спросила Бабетта и, как лунатичка, стала медленно приближаться к Митрофану Алексеевичу.

Девочка испуганно затрепыхалась, словно птица, тесно прижалась к плечу и заплакала.

Митрофан Алексеевич, не отдавая Бабетте, понес Киримбюбю в дом.

Антон Антонович улыбнулся Бабетте желтыми зубами.

4

На горе дела обстояли неладно. Появление Киримбюбю нарушило душевное равновесие, которое Бабетта умела сохранять даже в самые трудные минуты. Сначала это было заметно только по ее неподвижному лунатическому взгляду на девочку, затем стала сказываться раздражительность, неудачно скрываемая под деланной улыбкой. Появились недружелюбные интонации к мужу и к Митрофану Алексеевичу. Она старалась дольше не возвращаться из города, выдумывала всякие предлоги, чтобы оставаться в одиночестве. С брезгливостью переодевала, мыла и кормила она ребенка. И Киримбюбю начинала плакать и капризничать, если Бабетта по необходимости брала ее на руки. Эти два существа в силу таинственной антипатии резко отталкивались друг от друга.

Антон Антонович тоже хмурился, нервничал, поругивал жену за то, что она не жалеет девочку, что ее нужно полюбить, — она прехорошенькая. Но это легко было говорить. И ему, когда внимательно вглядывался в Киримбюбю, были чужды узенькие, наискосок поставленные глаза, приплюснутая кнопочка носа и жесткие черные волосы, из которых сплетались будто проволочные пружинистые косички. Улыбка ее была бы хороша, если бы не такой большой рот ... Но, во-первых, и своим ртом он не мог похвастаться, а, во-вторых, разве неизвестно, какие превращения происходят с лицами детей-дурнушек, — они с возрастом неожиданно становятся не только миловидными, а даже красивыми ... Да, даже об этом размышлял Антон Антонович, потому что еще теплилась внезапно родившаяся мысль: они бездетны... уж не посылает ли сама судьба им наследницу? Ребенок настолько мал, что при соответствующем воспитании через пять лет превратится в настоящую немецкую девочку ... Да в настоящую ли? А эти глаза, а этот нос, а весь облик? Разве всё это не будет ежеминутно напоминать окружающим, а попозже и самой девочке, что она „Das Mädchen aus der Fremde"? Может ли она превратиться в р о д н у ю дочь?

Митрофан Алексеевич сам не слышал разговоров на эту тему между супругами, но отголоски их улавливались в частых осуждающих замечаниях Бабетты по поводу подкинутых детей, — она все-таки не понимала, как можно было даже в самых страшных обстоятельствах расстаться с ребенком. Так, мол, делают только скверные матери. Кроме того, она не могла сделать какие-нибудь важные для нее, астрологические выводы: неизвестна дата рождения ребенка.

Удивительнее всего было то, что Киримбюбю тянулась к Митрофану Алексеевичу. Так случилось с первого знакомства. Увидев его, она расцветала восхищенной улыбкой, мелкими шажками спешила к нему, приносила в траве разысканный цветок, протягивала ему свою любимую конфету. Когда он брал ее на руки, она доверчиво и тесно прижималась к нему, гладила ладошкой по лицу ... Митрофан Алексеевич совсем не был опытен в обращении с маленькими детьми, он не знал, как и о чем с ней говорить, — она сама невольно подсказывала ему тему, показывая оттопыренным средним пальчиком то, что ее интересовало. Когда Бабетта подолгу задерживалась, ему приходилось и кормить и переодевать девочку после случившегося детского греха, укладывать спать. Пристроили ее было на диване в гостиной, но это вынуждало Бабетту по ночам спускаться вниз. Митрофан Алексеевич предложил устроить Киримбюбю на маленькой кушетке в его комнате, ссылаясь на то, что он все равно из-за бессонницы не спит полночи. Оказалось, что девочка стала спокойнее спать, и если иной раз и просыпалась с плачем, то, увидев склоненного над ней Митрофана Алексеевича, сейчас же затихала. Вечером, укладывая ее спать, он всегда с ней тихонько говорил; заметив, что она внимательно рассматривает свою ручку, он загибал один ее пальчик и считал: — Раз...

Она повторяла: — Асть ...

Другой пальчик — «два», потом «три» ...

Сосредоточенно она считала без помощи: «асть», «тва» и, прижимая третий к ладошке, задумывалась, морщила лоб и шопотом говорила :«чтири» ...

Еще и еще сгибались и разгибались пальчики, а сон уже летал возле, закрывая щелочки-глаза, уносил Киримбюбю в неведомые края. Что она там видела? Иной раз просыпалась и звала со слезами — «Мама!», иногда произносила какие-то непонятные слова и озиралась; то скажет по-немецки, то по-русски...

Подойдет Митрофан Алексеевич, она улыбнется: — «Дядя!», — и успокоится.

Если Бабетта изменилась в своем отношении к Митрофану Алексеевичу, то Антон Антонович был по-прежнему радушен и внимателен, но... не мог же и он не замечать, что складывавшиеся новые условия были уже не легки для гостя; гость начал томиться такими обстоятельствами.

Митрофан Алексеевич, действительно, искал выхода. «Уйти что ли с горы?» — подумывал он.

Первая зима после войны была снежная. Бескрайний белый простор окружал древнюю гору. Руины стали белыми холмами. Ветер намел в пещеру каменного века холодные сугробы. Буковый лес, голый и прозрачный, превратился в нагромождение белых кораллов. Внизу, под горой, все было окутано туманом, редко расходившимся даже в солнечные дни.

На Рождество Антон Антонович устроил две елки, — одну перед домом, другую в гостиной. Обе были украшены электрическими разноцветными свечками. На той, что снаружи, были подвешены картонные чашечки с кормом для птиц; комнатная была украшена по всем правилам искусства, и каждый получил подарок «из-под елки».

Киримбюбю стала обладательницей маленького приданого и, как медвежонок, бегала в шерстяном рыжем комбинезоне. Оценить эти подарки она не могла, ей были дороже маленькая уродливая кукла, кем-то изготовленная в лагере, и бомбоньерка с леденцами, — их она крепко прижимала к груди.

Невесело было всё-таки в сочельник. Сидели, почти не разговаривая, смотрели на огни и блески. Киримбюбю, полусонная, терлась у колен Митрофана Алексеевича. Антон Антонович опустил голову. Бабетта позвякивала посудой, размещая традиционное праздничное угощение...

В первый день Рождества неожиданно взобрался по заснеженной дороге юркий джип и привез «мамашку», Жору и Алека.

«Мамашка» приехала «лично» посмотреть Киримбюбю, судьба которой продолжала ее интриговать.

Разговорились. «Мамашке» нравилось всё; всё было занимательно.

Киримбюбю появилась сосредоточенная, без улыбки, хотя ее вел за руку «дядя». Она и «мамашка» внимательно разглядывали друг друга. Бабетта, сложив под фартуком руки, с затаенным дыханием наблюдала эту встречу и поняла, что девочка не постучалась в сердце и этой женщины. А «мамашка», бросив несколько проницательных взглядов на всех окружающих, каким-то шестым чувством уловила: девочке не жить на горе у немцев.

Жора, всё время ссылавшийся на сидевшего тут же молчаливого Алека, сообщил Митрофану Алексеевичу, что беженское дело начи-

нает разрешаться более благополучно: в Америке и, главное, в «Объединенных Нациях» раздаются настойчивые и влиятельные голоса о прекращении и недопустимости принудительной репатриации. Лагерные трагедии, стоившие многих жизней, не прошли даром. Президентская вдова честно исправляет ялтинскую ошибку покойного мужа. Теперь нет уже той опасности для жителей унровских лагерей. Кроме того, можно сделать староэмигрантские документы . . .

Митрофан Алексеевич отрицательно покачал головой: на подделки он не может пойти. Антон Антонович поспешил сказать, что он советует гостю подождать весны, — зимой незачем уходить в лагерь.

— Ну, а что же будет с этой девчонкой? — без околичностей поинтересовалась «мамашка».

Пауза между ее вопросом и ответом Митрофана Алексеевича была совсем маленькая и не томительная: — Киримбюбю я хотел бы взять с собой, — сказал он умышленно по-немецки, очень спокойно, без колебаний.

Бабетта выпустила из рук хорошенькую чашку из свадебного сервиза, который ею очень охранялся. Однако, собирая черепки с полу, она не сокрушалась, а радовалась.

Антон Антонович был огорчен гораздо больше, чем она.

Киримбюбю весело смеялась, сидя на корточках у черепков: в самом деле, до чего интересно впервые в жизни видеть, как разбивается чашка!

5

Летел ветер с юга душистый, живительный. Весенний ветер. Родился он, быть может, в Африке, пронесся через Италию, дунул на швабскую землю. Разбудил зимние почки на деревьях и кустах, покликал первую траву, она выбежала из земли на призыв радостно зеленая, никем не топтанная.

Пришла весна, и Митрофан Алексеевич готовился к переезду в лагерь.

«Мамашка», Жора и Алек похлопотали на славу: в лагере отвели хоть и маленькую, но о т д е л ь н у ю комнату; в подвале офицерского дома, у «мамашки», среди хлама нашли детскую кроватку, починили ее; комендант лагеря — старый эмигрант из Югославии — с повадками знающего себе цену барина, с величественным жестом, был уже предупрежден, что новый жилец — человек почтенный, заслуживающий доверия, а поэтому, встретившись впервые с Митрофаном Алексеевичем, великодушно подал ему пухлую руку.

Фигурой комендант был дороден, по утрам и вечерам ходил в великолепном фиолетовом халате с кистями и чувствовал себя, как в своей вотчине. Его побаивались, в особенности, люди простые, во время войны запуганные, но и ценили, потому что заметили, как он умел осекать советских офицеров по репатриации. Те всё еще продолжали наведываться в лагеря, устраивали собрания, агитировали, соблазняли, угрожали. Но достаточно было появиться барину-коменданту (его «выход» был величествен, в сопровождении его непременной свиты — двух стареньких и худеньких подобострастных человечков в

заячьих жилеточках), как советские майоры, капитаны и лейтенанты невольно понижали голос и старались щегольнуть корректностью.

Вскоре заглянул Антон Антонович и пригласил к себе в гости: — «О, мы на горе имеем теперь кладбище!»

Если бы не Киримбюбю, Митрофан Алексеевич не знал бы, что ему делать: убрать комнату да раза два-три постоять в очереди за едой и «сухим пайком», и всё.

Киримбюбю, как котенок, сначала робко выползала в коридор, осматривалась, знакомилась с обитателями, в особенности, ее возраста. Вскоре привыкла спускаться по лестнице во двор, облюбовала себе один укромный уголок и формочками лепила из сыроватой земли пирожки и торты.

Митрофан Алексеевич боялся оставлять ее одну. Они почти всегда были вместе. Женщины твердили упрямо, что не мужское дело ходить за ребенком, — в особенности, за девчонкой, а он отлично приспособлялся, ловко стирал в подвальной прачечной и детское белье и платьица, а заодно и свое собственное. Бабы-соседки только усмехались, — ишь какой дотошный!

Живя из часу в час рядом с ребенком, он поражался, какой удивительный, чуть ли не волшебный мир был до этого времени скрыт от него. Поистине ежеминутно бесхитростно пробуждались и лепились черты характера, росли ненасытное любопытство познавать мир, цепкая впечатлительность, острая память.

Без тени лукавства маленькое существо высказывало симпатии и антипатии. И каждое «завтра» обогащало Киримбюбю, изменения происходили прямо на глазах. Иной раз казалось, что воочию видишь, как простенький бутон раскрывает лепесток за лепестком.

Лагерный врач, осмотрев девочку, назвал ее превосходным крепким экземпляром. У нее, по-видимому, приближавшейся к четырехлетней годовщине, было достаточно сил, чтобы участвовать в прогулках в поле. Лес, по неясным воспоминаниям, навевал на нее тревогу, — она тогда не отделялась от «дяди», крепко держала его за руку.

Уже почти никогда по ночам она не звала «мама»: самым близким стал «дядя».

Имя было у нее непривычное и длинное, а поэтому он, а за ним и все звали ее просто «Бюбю».

Были преодолены довольно щекотливые затруднения при получении от немецких учреждений документа об усыновлении. Это надо было сделать во избежание дальнейших трудностей. В свидетельстве вместо даты рождения неопределенно указывалось «3 года», место рождения — прочеркнуто.

Конечно, в будущем, когда наступит время объяснить ее сиротство, всё это может больно ранить ее сердце... Но это было еще далеко.

То душевное смятение, что терзало Митрофана Алексеевича до появления Киримбюбю, отодвинулось несколько назад, но только отодвинулось, не прошло.

По временам он всё еще ужасался тому, что случилось в его жизни. Неужели нельзя поправить?

6

В лагерь Митрофана Алексеевича приехала русская театральная труппа. Событие!

На свой риск и страх купил для себя и для Жоры с его матерью (весь лагерь стал ее звать, как Жора, — «мамашка») билеты на все четыре представления. Жора, конечно, оповестил своего благодетеля Алека: тот был занят и появлялся редко — его военную часть перевели в соседний городок.

В зале набралось около трехсот человек. В летнюю пору — в этом сарае, как на экваторе. Тесно сидеть на скамейках без спинок, но зрители, празднично разодетые, потеют, а терпеливо ждут начала добрый час.

... Захлебывающийся колокольчик. Свет в зале выключается. Занавес посредине чуть распахивается, и по лесенке спускается молодая брюнетка.

Сбоку у сцены пианино ...

Брюнетка привычно садится у инструмента, эффектно на звучных басах начинает прелюд Рахманинова, не без рассчитанной пластичной манерности взмахивания руками ...

Митрофан Алексеевич видит ее профиль ... Передние головы мешают, да и Киримбюбю сидит у него на коленях; ей, шестилетней, любопытной, подвижной, — всё интересно; она часто спрашивает дядю шопотом ...

... Нет никакого сомнения, — эта пианистка — Гаянэ ... Он узнал ее.

Что еще она играла, как начали актеры пьесу, — всё это было для него в тумане: его позвало прошлое, то далекое «вчера», которое всегда с ним, но в дымке ... Сейчас оно ожило и превратилось в «сегодня» ...

Нахлынуло:

... Гаянэ - подросток часто забегает в их комнатушки, дружит с Лялей крепко, задушевно. Они могут часами болтать, то таинственно, то, перекрикивая друг друга, спорить, преувеличенно восхищаться... Они судачили в соседней комнате, а он, усталый, проверяя бесконечные ученические тетрадки, невольно прислушивался к их милой чепухе и улыбался...

Уютно бывало вечером за чайным столом, когда Марья Васильевна угощала девочек «пирожным» — хлеб с маслом и с домашним вареньем (драгоценность, заготовляемая летом в двух банках на всю зиму)...

Во время военной оккупации Гаянэ и Ляля, превратившиеся в девушек, не поссорились, а охладели друг к другу: щепетильная Ляля почувствовала разницу в материальном положении, — отец Гаянэ становился богачом; Гаянэ легкомысленно вертелась среди немецких офицеров и кружила им головы.

Незадолго до краха «завоевателей» Гаянэ все-таки по старой памяти забежала к подруге... попрощаться: она — невеста немца и уезжает с родителями в Германию.

Ляля сдержанно пожелала ей счастья, но не удержалась и кольнула: — Бежишь с родины? ..

Киримбюбю удивленно повернулась к дяде: он застонал. Увидев участливое удивление в раскосеньких глазах, он успокоительно погладил по плечу девочку и покосился: «неужели слышали рядом сидевшие?»

После некоторых колебаний, оставив Бюбю на попечение мамашки», он в антракте проник за кулисы.

Там, в тесноте, толклось много народа.

Актеры без стеснения переодевались, поправляли грим.

Гаянэ закалывала на главной актрисе юбку.

Митрофан Алексеевич нерешительно ждал. Его наэлектризованный взгляд заставил Гаянэ обернуться. Сначала она посмотрела мельком. В губах у нее торчали булавки. Взглянула еще раз, всмотрелась и побежала навстречу: — Дядя Митроша! — Не дожидаясь ответа, бурно обняла его.

После спектакля, уложив Киримбюбю, он встретился с Гаянэ, и они пошли побродить по тихим улочкам... Наперебой они вспоминали, вспоминали пустяки, мелочи, а за мелочами стояли два призрака — Марья Васильевна и Ляля.

Гаянэ обрывочно рассказала о себе. Спросила, куда он думает ехать, — «акция» в разгаре. Нет, Митрофан Алексеевич не думал о путешествии.

Да, кругом него каждый строил «заокеанские» планы, хлопотал, ждал «афидейвита», готовился к комиссиям, «скриннингу»... Оказалось, что не думала об этом и Гаянэ.

История Киримбюбю ее живо тронула. Она вдруг порывисто, плохо различая в темноте лицо, поцеловала его в бородку и крепко взяла под руку. И вспомнила, встрепенулась: — А я ведь Лялю недавно видела!.. Постойте, дядя Митроша... голубчик, что с вами? В кино я ее видела!

Гаянэ испугалась: он закрыл глаза и остановился. Прошло несколько секунд, после чего он вполне спокойно и деловито осведомился: — В каком кино?

Прошло, вероятно, уже несколько месяцев, как Гаянэ на гастролях во Франкфурте на Майне случайно попала в кино, где показывали советский киножурнал. Должно быть, меньше чем в минуту, пробежал кадр со снимками студенческих колонн, маршировавших мимо трибун на Красной площади: октябрьская годовщина. Вдруг Гаянэ безошибочно узнала в правофланговой студентке — Лялю. Восемь ладных девушек, по ниточке державших равнение, начинали после интервала новое звено колонны. Ляля смотрела зорко вперед, была серьезна, даже сурова, и ни разу не повернула голову к киноаппарату...

Гаянэ специально ходила повторно проверить себя, не ошиблась ли, — нет, тут ошибка была бы невозможна.

— Но ведь это московский парад? Как же она туда попала? — начал расспрашивать Митрофан Алексеевич и замолчал: могла ли дать объяснение Гаянэ? Одно можно сказать, — через три года после войны Ляля жива... А Маша?

Митрофан Алексеевич вернулся к себе глубокой ночью. Вошел на цыпочках. Киримбюбю мирно спала и ничего не услышала. Ложиться в постель было бессмысленно, — не заснешь. Лучше всего, у откры-

того окна, облокотившись на подоконник, дождаться рассвета. Он разгонит неотступные ночные тени и загадки, начнется день с его маленькой постоянной сутолокой. Как хорошо, что мир наполнен сутолокой, без нее не снести бремени жизни...

*

Киримбюбю на два дня превратилась в хвостик Гаянэ. Хвостик не назойливый. Девочка умела быть незаметной, умела молчать.

Черные узенькие глаза не отрывались от той, в кого она влюбилась. В первый раз в жизни. Дядю она л ю б и л а; любовь к нему росла постепенно, возникла из органической симпатии, привычки, полуосознанного чувства благодарности... А в эту удивительную женщину она именно влюбилась. Странно, не было у нее стремления прижаться к ней, обнять, почувствовать физическое прикосновение, — наоборот: влюбленная, она стеснялась близко подойти к Гаянэ, впивала весь ее облик втихомолку, на расстоянии. Она даже по-дикарски ежилась, когда Гаянэ привлекала ее к себе, шутливо трепала ее жесткие косички. Лучше всего было, когда «волшебница» садилась за рояль и забывала о Киримбюбю. Но «волшебница» в свою очередь хотела почаще видеть девочку. Митрофан Алексеевич сказал, что самое любимое для Бюбю — часами сидеть у маленького радиоаппарата, дважды подаренного: уезжавшим офицером «мамашке», «мамашкой» — Митрофану Алексеевичу. Киримбюбю улавливала мелодии, подтягивала тоненьким с гортанным призвуком голосом и наслаждалась ритмическими узорами, помахивая ножками, пальцами. Похоже было, что маленький дирижер повелевает симфоническим оркестром.

— А ну-ка, Бюбю, попробуем твой слух, посмотрим, как ты умеешь петь!

Девочка без ошибки следовала за наигрываемой мелодией, могла повторить ее, несложную, и самостоятельно... но голос пока был жалкий. Неужели он может резко измениться в дальнейшем?

Гаянэ попробовала проиграть довольно сложные ритмические каденции. Киримбюбю, нахмурившись, внимательно слушала и затем кулачком выстукала безукоризненно их на крышке рояля.

Митрофан Алексеевич серьезно выслушал мнение Гаянэ и готов был согласиться, что Киримбюбю стоит учить на фортепиано. Только не подождать ли? Проверить, как будет года через два?

На том и порешили. Да и в самом деле, где уж, при безденежьи, учиться музыке в лагере...

Через день артистическая группа с Гаянэ покинула лагерь.

7

Митрофан Алексеевич растерялся от неожиданности, когда Киримбюбю, которой, по-видимому, пошел седьмой год, задала ему вопрос:

— А у меня была мама?

— Конечно, — в замешательстве кивнул он головой. — Разумеется... Она, видишь ли, должна была уехать далеко-далеко... и сказала, чтобы я... чтобы ты... была моей дочкой...

— Она приедет?

— Я думаю, что она... да, я уверен, что она приедет.

— Скоро?

— Мм . . . скоро она приехать не может . . . Надо, мой друг, подождать.

— А тогда мы будем жить все вместе?

— Да, а зачем же нам разлучаться?

Киримбюбю внимательно и серьезно смотрела в глаза; подумала и ласково улыбнулась.

Время от времени такие короткие разговоры стали повторяться.

Крошечный опыт жизни и встречи с другими детьми заставляли ее что-то сопоставлять, делать выводы. Ее стали интересовать подробности — какая мама, куда уехала и зачем.

— Мама как тетя Гаянэ? — мечтательно улыбалась она.

Ни разу не спросила пока об отце. Но все это придет, придет скоро. Приближается день, когда Митрофан Алексеевич перестанет выдумывать сказку, которую он, раз начав, продолжал импровизировать, расцвечивая неприхотливыми и лаконичными подробностями. Он сердился на себя, что нет у него ни находчивости, ни должной убедительности и что поэтому, по-видимому, не угасает во внимательных глазах Киримбюбю неудовлетворенная пытливость. Одно только было несомненно: образ подлинной матери исчез из ее памяти, заместился фикцией, и никакой трагичности в вопросах девочки не было, она просто грезила по примитивной аналогии: у большинства ее лагерных сверстниц были матери.

Бюбю была в меру подвижна, в меру шаловлива, но не в меру самолюбива и обидчива. Тонко улавливаемые ею интонации недовольства, раздражения в голосе Митрофана Алексеевича заставляли ее тотчас притихать и съеживаться. Она прочно запоминала, что именно вызывало его недовольство. Услышать снова его укоры ей было стыдно. Если же выговор был несправедлив, она забиралась в какую-нибудь щель или в угол и там беззвучно плакала, кусая губы и стискивая переплетенные пальцы.

С удовольствием училась читать по-русски, по-немецки, а в лагере заговорила по-польски, — это всё давалось ей шутя, как сущие пустяки. Любила принарядиться; терпеть не могла морщившихся чулок, мятых ленточек для банта на голове, бегала к соседке и просила разгладить утюгом, и всё-таки, прихорашиваясь перед зеркалом, никогда не бывала довольна собой: некрасивая . . .

В лагере стало жить туговато. Да и неудобно. Для Киримбюбю нужна была хотя бы каморочка, но отдельная. «Мамашка» без обиняков, в глаза, осуждала Митрофана Алексеевича: — Да хиба вам с руки растить девчонку? Женщина для того нужна. Вот и оженились бы . . .

Не жениться нужно было ему, а найти работу и уйти из лагеря.

Помог Антон Антонович, изредка заглядывавший по старой памяти. Дела его стали поправляться. Восстановились кое-какие торговые связи. Уже на третье лето после войны на горе появились и отечественные и иностранные экскурсанты.

Антон Антонович «для начала» разыскал Митрофану Алексеевичу простую работу — на кладбище. Там началась переделка, прирезывание новых участков, проводились земляные работы.

Немецкие кладбища — уютная, идиллическая картинка. Там нужны садовники, там тщательно прочищаются дорожки, аккуратно под-

резывается посеянная трава, выкладываются бордюры из тесаного камня и дерна, растут выхоленные цветы.

Митрофан Алексеевич сначала с недоумением возил тачки с землей, резал дерн, полол сорняки. Научился следить за цветами, замазывал цементом трещины в памятниках, словом — чего только не делал он!

Садовник с лохматыми бровями и с утра до вечера с потухшей сигарой в упрямых мясистых губах (зажигал он сигару утром, после обеда и вечером, чтобы потянуть раза два, а потом целый час кашлять), этот садовник сначала подозрительно поглядывал на иностранца в усах и бородке, а затем привык, оценил и нрав и трудолюбие. Нескольких новых помощников рассчитал, — этого облюбовал и стал приветлив.

Так изо дня в день и тянулось время за нехитрой работой, от которой всё-таки непривычный к ней учитель порядком уставал. Руки Митрофана Алексеевича обмозолились, трещины на них стали коричневыми и неотмываемыми. Скромной платы в новых марках хватало для оплаты двух мезонинных каморок в домике железнодорожного кондуктора. Приняли туда опять-таки по рекомендации Антона Антоновича и садовника. Хватало и на прокорм, очень незатейливый и совсем на немецкий образец: мучной или овощной суп, двухэтажные бутерброды, молоко, творог, картофель во всяких видах.

Зато появилось ощущение независимости. Иначе смотрелось на мир. Но оставалось недоуменное чувство: а что же дальше?

В самом деле, что же дальше?

У лагерников, начавших уже выезжать за океан — кто в Австралию, кто в Аргентину, но вожделеннее всего в Канаду и в США, — у этих людей будущее вырисовывалось хоть и в неясных, но соблазнительных очертаниях: там, в новом месте, удастся, наконец, осесть и выбросить к чорту обшарпанные чемоданы и ящики... Для Жоры, например, разленившегося и не по годам раздобревшего при офицерской кухне, будущее — это собственный автомобиль, на котором он без конца ездит по неведомым дорогам, переезжает по висячим мостам, мчится вдоль странных рек с водопадами, лавирует по извилистой асфальтовой ленте, беря на полном газе крутые подъемы, ловко тормозит на головокружительных спусках, гудит на поворотах, гудит: «Давай дорогу! Жора едет в новую жизнь!»

«Мамашка» видит себя сначала поварихой в выдуманном ею придорожном ресторане, обязательно на курорте, «вроде во Флориде, что ли», чтоб всегда тепло было, а потом... кто знает?.. мужиков на свете много... ведь должен найтись путевый. А с ним — домок, перед домком — садок, отдых и тихий, спокойный вечер, на окнах герани и занавески... Чего еще надо? Она удивленно слушала споры своих гостей, и когда они безответно искали смысла — зачем человек живет? — дергала плечом и бормотала: — Кажный правильный человек — чего он хочет? Дом свой ему надобен, и всё. Чего там долго думать?

С весны до осени свой обеденный час между работой Митрофан Алексеевич проводил в тенистом далеком углу, у кладбищенской высокой ограды. Там, в зарослях молодой буйной крапивы, что цветет белыми ворсистыми сережками, среди высоких стеблей, никем не потревоженного дикого желтого лютика, в тиши и одиночестве садился он

с бутербродом на цоколь давным-давно сброшенной туда статуи святого Непомука. Когда-то стоял этот Непомук и охранял старинный мост. Теперь, безрукий, безносый, он бесцельно прятался, забытый, в кустарниках и дикой траве. В жаркий полдень шел от земли тонкий пар, когда в росистую траву заглянут горячие солнечные лучи... Не смерть, а жизнь дышала там, на кладбище; от каждой травинки, от каждого листка, от каждого трепетания крылышек и усиков пчел, бабочек, жуков шел ток, смысл которого — жадное «жить, жить, жить»... Не сознавая, сколько отмерено мгновений, живое несется вперед, дальше... к чему? К гибели.

Судьба считает на своих непостижимых счетах и меру человеческих жизней.

Она безжалостна — эта судьба; улыбка ее плотоядна, волосы — млечный путь на ночном небе, глаза — провалы, и через них светятся мириады звезд на небе; каждая костяшка на ее счетах — прожитый день. Какой ни на есть — с печалью или радостью, — а неповторимый... Зачем же люди, не замечая «сегодня», стремятся к «завтра», а завтра вспомнят милое «вчера»?..

Для себя Митрофан Алексеевич неизменно возвращается к тысячам «вчера», для Киримбюбю думает о многих загадочных «завтра». Он не может заставить себя думать о переезде за океан. А вдруг... вдруг можно будет вернуться к своим... Смешно думать, а... думается.

Алек через несколько месяцев после отъезда в Аремику(перед которым он дружески обнял всех, но ничего не обещал) прислал от каких-то неведомых лиц аффидэйвиты всем друзьям. Начали вызывать в бесконечные комиссии, к консулу.

У Жоры с «мамашкой» начались неприятности, не хватало каких-то документов, проверялись нансеновские паспорта, Си-Ай-Си выпытывало и трепало нервы. «Мамашка» стала худеть. Жора растерянно чесал в голове.

Ходили жуткие слухи: медицина в легких находит пятна, отказывает; по доносам снимают с парохода; сажают подозрительных по приезде в Америку на какой-то «Остров слез», депортируют... Удастся ли им уехать?

Митрофан Алексеевич несколько дней ходил мрачный. Невпопад сердился на Киримбюбю. Она испуганно посматривала на него, словно не узнавала... Он переломил себя и... отказался, написав Алеку дружественное письмо с благодарностью, повеселел, и всё пошло по-прежнему.

«Мамашка» негодовала: — человек выбрасывает золото в помойку!

8

Настал, наконец, торжественный день: «мамашка» с сыном получили визы.

Нечего медлить!

Через неделю дипийский транспорт отвезет их в Бремен. Через месяц они уже будут на пароходе, а потому — по-хорошему, «как правильным людям полагается», обошли всех знакомцев и напоследок отправились на гору: «ничего плохого от немца с Бабеттой не имели, за-

чем же обижать?» Поехал туда и Митрофан Алексеевич с Киримбюбю; месяца два не было слышно вестей с горы. Бабетта перестала носить в лагерь гороскопы; лето; видно, заняты.

Теперь на гору стал ходить маленький автобус.

Приехали и удивились: на стеклянной террасе-киоске хозяйничает незнакомая швабка.

Киримбюбю по указанию Митрофана Алексеевича без большой охоты тихонько проникла в дом. Думали, что она сейчас же вернется, а за ней выбежит хозяин. Однако, прошло несколько минут недоуменного ожидания, пока, наконец, послышался стук колес: Бабетта помогала креслу-автомату выбраться из двери, в кресле сидел виновато улыбавшийся Антон Антонович.

Оказалось, что с месяц назад он оступился, упал и скверно повредил себе раненую на войне ногу. Она в гипсе. Тем не менее, приветливость у хозяина была прежняя. Бабетта грустна, — какие-то думы мешали ей внимательно слушать и понимать гостей. Она поспешила уйти — приготовить угощение.

Антон Антонович заинтересовался Америкой, и Жора, важничая, желая поразить воображение слушателей ошеломляющими перспективами, вставлял на каждом шагу, кстати и некстати, «о'кей» и чувствовал себя в Германии уже «инородным телом». Он не разлучался с подарком Алека: американским переносным радиоприемником. Жора таскал эту плоскую коробочку, как дамскую сумочку или под мышкой. На улице, в автобусах и трамваях публика не сразу понимала, почему у человека из подмышки раздавался голос или музыка.

Привез он свою игрушку и на гору.

После превосходно приготовленного кофе все, окружив едущего в кресле Антона Антоновича, пошли к пещере.

Громадные глыбы, образовавшие вход в нее, отбрасывали во второй половине дня широкую тень, из глубины пещеры тянуло погребным холодком. Расселись непринужденно, как кто хотел. Жора растянулся на траве и «закрутил» музыку. Киримбюбю пробралась в пещеру и заглядывала в глубокую щель, откуда просачивались капельки холодной воды . . .

. . . Вульгарный лязгающий джаз сменился мелодической музыкой, и Жора хотел было повернуть кнопку, но Митрофан Алексеевич попросил не трогать: послышалось вступление к «Шехерезаде» Римского-Корсакова.

Мечтательными, прихотливыми завитушками-арабесками стала виться скрипичная вязь, узелки-диссонансы вели к новым гармоническим узорам . . .

«Мамашка» тронула рукой Митрофана Алексеевича и глазами показала вглубь пещеры:

Киримбюбю молча, с загадочной улыбкой, танцевала, не обращая ни на кого внимания: неведомо как, в ней проснулось что-то древнее, пришедшее от давних предков. Разбудили ее восточные гаммы? Донеслись до нее знойные ароматы степных трав? Истома прабабки-кочевницы, некогда плясавшей у юрты, провожая алое солнечное око, глядевшее на задымленном краю горячей земли, — истома эта, что ли, потекла в крови Киримбюбю?

Она, ничего не зная о тайнах танца, грациозно округляла руки,

скрещивала их над головой, взмахивала ими, подобно нежным крыльям, пальцы сами сложились в классический жест: первый, указательный и мизинец развернулись, два средних нагнулись к ладони, упругие ножки с ритмической непогрешимостью делали плавные шаги, становились на носки, описывали круги, щелочки-глаза стали карими раскрывшимися вдохновенными цветами...

Всё это было подобно видению, овеяно зыбкой призрачностью...

...Разговор затих. Все, притаившись, смотрели на девочку.

Бабетта, высоко подняв брови, изумленно прошептала:

— Но это прекрасно!..

Антон Антонович, сжав плотно губы, тихонько погрозил ей пальцем — из стороны в сторону.

Именно общее молчание заставило Киримбюбю очнуться. Она вдруг остановилась, глянула на зрителей и... застыдилась, закрыв рукой —ладошкой наружу — лицо.

— Танцуй, танцуй еще, — негромко сказал Митрофан Алексеевич.

Он был поражен: уж не приоткрылось ли будущее Киримбюбю?

Но она, неловко улыбаясь и не понимая, что произошло, выскользнула из пещеры, на одной ноге прискакала к Митрофану Алексеевичу, потерлась носом об его щеку и уселась рядом.

9

Митрофан Алексеевич неотвязно думал об одном и том же: именно теперь Киримбюбю должна начинать учиться балетному искусству. Промедление в два-три года может быть губительным, хореография — капризная вещь: первичная техника приобретается в детстве.

Но верно ли он судит о способностях девочки? «Видение в пещере» — не простой ли случай, обманувший зрение? Но в таком случае, не только его зрение, а всех, таких разных и одинаково плененных...

Кого можно было разыскать в городке?

Испокон веку жил там молодящийся Кренкель.

Стройный, с крашеной и будто приклеенной прической «капуль», появлялся он на местных праздниках в ладном фраке, с какой-то таинственной орденской ленточкой в петлице. Неизменный распорядитель всяческих процессий, до которых нестерпимо охочи немцы.

Старушки помнили его еще молодым человеком, обучавшим танцам ряд поколений.

Старушки стали старушками, а Кренкель, по-видимому, продал свою душу дьяволу танца и внешне почти не менялся. То, что вокруг глаз кожа была усеяна тончайшими складочками, что на худых и венозных руках пальцы в суставах разрослись желваками, что большие прижатые уши стали пергаментными, — все это не мешало Кренкелю поражать величественными, пластичными (и очень неестественными) жестами, легкой поступью длинных ног в лакированных бальных туфлях, умением обворожительно поклониться, победоносно закинуть голову с орлиным носом, ловко и властно вращать даму в вальсе, к которому он чувствовал особую склонность (но знал в тонкости все на-

рождающиеся вновь танцы, вплоть до унылого фокстрота). Говорили, что он был неподражаем в когда-то модном кекуоке, делая чудеса в прыжках и канканировании.

Сыздавна давал он в городке уроки танцев при «Клубе Тирольских Трубачей», и именно его назвал Антон Антонович «безупречным авторитетом».

Митрофан Алексеевич в одну из суббот привел Киримбюбю к Кренкелю и вручил рекомендательную записку от Хальбриттера.

Кренкель вышел элегантный, душистый, подрумяненный. О, да, он понимает, что нужно господину. «Одну минуточку...» После этих слов он стал в некотором раздумье перед Киримбюбю, от смущения крутившей левый указательный палец правой рукой.

О чем долго думал маэстро, не разгадал бы никакой философ. А именно что-то философское было в его взоре. Вдруг он легко повернулся на носке одной ноги к комоду, на котором лежал футляр, похожий на маленький гробик, вынул оттуда смычок, скрипку, положил ее на плечо и крепко зажал подбородком.

— Вни-мание! — пропел он, подняв брови, и не без фальши сыграл несколько тактов простенькой польки. Затем, делая соответствующие движения, стал командовать:

— Ногу вверх, ногу вниз, руку в бок,
по-во-рот!
И при-сесть, и скак-нуть, поворот,
по-во-рот!

Киримбюбю не без робости следовала его команде.

— Достаточно! — решил Кренкель. Знает ли девочка позиции? Нет? Ну-ка! Пожалуйста! Он выворачивал свои ступни внутрь, наружу, ставил так, как их не ставит никто в жизни. Киримбюбю смеялась и легко повторяла его движения.

— Это — классическая школа, — снисходительно пояснил Кренкель Митрофану Алексеевичу, сидевшему в стороне и с сомнением глядевшему на экзерсисы.

То, что делала сейчас Киримбюбю, нисколько не напоминало того, что было в пещере. Здесь у нее были довольно нелепые движения. Похоже на механическую куклу, которую дергают невидимые нити.

В заключение маэстро заставил ее лечь на коврик, загибал ей ноги к голове, выворачивал руки. По окончании экзамена Кренкель аккуратно положил скрипку в футляр и философски задумался.

— Да, — пророчески возвестил он: — Девочка должна учиться. Уроки два раза в неделю по невероятно дешевой цене и то по рекомендации господина Хальбриттера — три марки в час. Надо развить мускулатуру, надо выработать пластику, затем — элевацию...

Посыпались удивительные слова, от которых Митрофану Алексеевичу стало не по себе. Прикинув в уме, что это обойдется в месяц почти 25 марок, он заколебался. Откуда их взять? Ведь и теперь не хватало на то, на се... Попробовать разве?

Кренкель пальцем поднял подбородок Киримбюбю и внушающе спрашивал: — Девочка хочет учиться, не правда ли? Танцы это удивительное искусство, искусство богов, не так ли?

Киримбюбю скромно ответила протяжным, но нерешительным «да» и покосилась в сторону Митрофана Алексеевича.

Тот решился: — Попробуем!

Кренкель, любезно прощаясь, предупредил, что каждый урок следует оплачивать наличными . . .

. . . О, если бы кто-нибудь подсмотрел, что произошло с маэстро, когда он закрыл за посетителями дверь на ключ: узловатые руки схватились за поясницу, рот плаксиво изогнулся, ноги, чуть прихрамывая, понесли его в комнату, к креслу, куда он, покряхтывая, опустился . . . , но он увидел себя в висевшем против него зеркале, помолодел, выпрямился и кивнул своему отражению: — Ничего! Зато три марки в час! — и прищелкнул языком.

Кренкель жил неподалеку, а поэтому Киримбюбю, важничая, стала ходить к нему самостоятельно. Два урока ей понравились, а после третьего она вернулась расстроенная и заявила, что учиться танцевать у Кренкеля не хочет.

После долгих расспросов Митрофан Алексеевич узнал, что маэстро щекочет ученицу под мышками и целует куда-то пониже уха.

*

Надо было придумывать что-то другое. Киримбюбю следует показать не провинциальному учителю бальных танцев, а настоящему специалисту-хореографу. Как это сделать? Митрофан Алексеевич вспомнил о Гаянэ. Вот кто мог бы указать пути. Адрес Гаянэ у него сохранился, она его прислала в ласковой открытке.

Написал.

Довольно долго не было ответа. Затем пришло извещение, написанное неведомой рукой. Лаконично сообщался адрес Гаянэ в другом городе.

Митрофан Алексеевич опять написал подробное письмо и потерял уже надежду на отклик, как вдруг он пришел в виде горячего, дружеского приглашения приехать к ней в гости на субботу и воскресенье. Ехать всего несколько часов.

Ехать впервые в жизни в поезде — это было для Киримбюбю упоением, смотреть из окна вагона — волшебство, и впереди — тетя Гаянэ!

10

Нежно пахнет в двух крошечных комнатках у тети Гаянэ. Там, где кровать под белым кружевным покрывалом, все кажется нарядно-торжественным. Вот маленький стол и к нему приделано три красивых зеркала — одно неподвижное — посередине — два боковых замечательно поворачиваются. Киримбюбю видит себя сразу с разных сторон. Около зеркала фарфоровые баночки, граненые флакончики, большая пуховка в открытой плоской перламутровой вазочке. Аккуратно выглядывают из-под кровати носочки пестрых, шелком расшитых туфель на красных каблучках, без задников. На тумбочке, около кровати, круглая коробка, где осталось несколько серебряных конфет и засахаренных ягод в бумажных гофрированных зеленых и коричневых розетках, рядом несколько немецких книжек, незакрытых, сложенных именно так, как Киримбюбю никогда не должна делать по со-

вету дяди. В углу белый шкаф. Сквозь полуприкрытую дверцу в нем виднеются розовое, сиреневое, серое платья, и оттуда веет свежим душистым запахом Гаянэ.

В соседней комнате приподнято-весело разговаривают Митрофан Алексеевич и сама Гаянэ в темно-зеленой юбке и белой блузке с короткими рукавами, — эти рукава на плечах превращаются в прозрачные крылышки. Гаянэ забралась с ногами на кушетку, где ворох вышитых подушек; из них, по мнению Бюбю, необыкновенна одна: на ней, наглухо приделанная, сидит прехорошенькая кукла-дама, торжественно раскинув вокруг себя складки широчайшей юбки. В руках у куклы крошечный веер из черного кружева, на голове, в седой прическе, черная розочка. Как можно сделать такой веер и такую розочку — ума не приложить! Уж чем-чем, а куклами удивить Киримбюбю нельзя: Антон Антонович подарил замечательных, но эта . . . игрушечное чудо!

Вдруг Гаянэ стремительно срывается с места, исчезает на несколько минут.

Митрофан Алексеевич еще раз возвращается к потрепанному альбому и разыскивает нечеткую серо-желтую фотографию. Он смотрит на нее долго, смахивает с нее мимоходом какую-то приставшую ворсинку и объясняет Киримбюбю, прижавшейся к его коленке: — Вот это, видишь, тетя Гаянэ-девочка, она была толстушкой, а рядом Ляля. Помнишь, я тебе говорил, что у меня . . . была еще дочка. Вот это — она. Бантики в косичках были красные (Боже мой, как трудно говорить всё это в прошедшем времени . . .) . . . Да, красные . . . Здесь это не видно . . .

Киримбюбю внимательно смотрит на карточку. Нет, непохоже: теперь тетя Гаянэ совсем другая, а та, Ляля . . . Ну, она наверно была хорошая, хорошо, что теперь она, Киримбюбю, у него о д н а. Ляля — худенькая, большеротая, и, право же, неуклюжая. Но зачем об этом говорить вслух? Киримбюбю уже понимает чуть-чуть, что всего, что хочется, говорить не стоит . . .

Митрофан Алексеевич оглядывает с ног до головы Киримбюбю поверх очков (да, он стал уже надевать очки, когда читает) и замечает, что надо расправить немножко помявшееся подкрахмаленное платьице; как умелая женщина, он ловкой рукой одергивает спереди, поправляет на плече, делает более пышным бант у пояса сзади . . .

Гаянэ возвращается с большим подносом, на нем чашки с какао, стопка маленьких тарелок, вазочка с вафлями и бисквитом. Митом придвигает к кушетке легкий стол, шуршит прелестная, с дырочками, разворачивающаяся от взмаха скатерть, прикрывает лакированную, похожую на темнокоричневое зеркало, крышку стола, к каждому прибегает чашка с золотым ободочком, и оказывается — на какао горкой плавают сбитые сливки, просто замечательно!

Киримбюбю немедленно откусывает вафлю с прохладной начинкой, запивает приторным какао, и губы ее в белой пене от сливок . . .

*

Оба дня превратились в счастливый калейдоскоп. Когда он был перед глазами, казалось, что жизнь несется с досадной быстротой, если же вспоминать о нем, то было в нем так много событий, разговоров,

прогулок, вещей, милых мелочей, что нужно очень долго перебирать в памяти, пока всё воскреснет в ней. Лучше всего вспоминать с закрытыми глазами. Тогда совсем ясно видно, как шли они степенно по уютным улицам, останавливались у некоторых домов, и никогда не догадаться бы, что эти дома удивительные: в них давно-давно жили знаменитые люди... Рассматривали старинную стену и высокую башню с узенькими окнами под самой верхушкой.

Киримбюбю не выдерживала медлительности взрослых и убегала вперед, заглядывала в палисадники, нашла на тротуаре утерянную кем-то розу, гналась за серым котенком, спасшимся от нее на дерево и из недосягаемости глядевшим вниз зелеными глазами; огорченная тем, что не удалось ощутить рукой прелестной упругости и теплоты зверька, она возвратилась к взрослым и старалась попасть в степенный их шаг.

На следующий день обедали в ресторане. Тут уж глаза совсем разбегались. Играла музыка. Кельнер на серебряных подносах без конца носил тарелки, блюда и соусники, откупоривал шипучую воду, а под конец принес в высоких металлических бокальчиках прехорошенькие шарики мороженого, от него даже ныли зубы.

Перед отъездом сидели у Гаянэ, и тут-то и затеялся самый важный разговор: Гаянэ осенью свезет Киримбюбю в Штутгарт к главному балетмейстеру театра, он, оказывается, русский артист. От него всё и будет зависеть. — Надо уже теперь строить «завтра» Бюбю, — сказала Гаянэ. На том и порешили.

Митрофан Алексеевич всё чаще поглядывал на часы: надо вовремя быть на вокзале.

Гаянэ провожала, махала руками, когда поезд тронулся... Киримбюбю снова прилипла к окну... «Итак — до осени!»

*

«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день»...

Митрофан Алексеевич припомнил эти строчки случайно, поглядев в окошко на серенький денек ранней осени, и поразил ими Киримбюбю. Она пристала к нему — «повтори да повтори» — и через две минуты произносила их на разные лады, то врастяжку, то скороговоркой, придумала коротенькую песенку и напевала комариным голосом.

Чудесно, — так коротко и так много! И с этой песенкой заботливо подметала комнатушки. Она присмотрелась, как это делает тетя Гаянэ: надо осторожно загребать щеткой под кроватями, под столом и под стульями и потом собирать пыльные кучки совком. Совка не было, пришлось смастерить из картонной крышки. Вытирала она и пыль. Выхаживала посаженный в баночку дикий лесной цветок. Вообще, стала хозяйничать.

Митрофан Алексеевич ухмыляется в усы, но не прекословит, а даже поощряет: в семилетней аккуратной девочке сказывалась будущая хранительница уюта; это для нее полуигра, полуработа.

Растет Киримбюбю, как крепенький зеленый росток, вдруг быстро пошедший вверх.

Любознательная, в меру игривая, в меру упрямая (дети без упрямства вряд ли превратятся в самобытных людей), она незаметно выучилась читать сразу на двух языках.

Поразительно — сколько слов у людей! Она ловит эти слова, пошепчет, произнося впервые какую-нибудь диковинку, и спрячет в кладовочку памяти; удивительно, — когда нужно, слово выскочит, тут как тут!

Вечером Митрофан Алексеевич откинется на спинку стула, услышав от нее: — А цветок н е о т р а з и м о пахнет!

— И где ты выкопала такое?

Она сама смеется: — Вот, взяло и выскочило, а разве не подходит?

Иной раз не подходило: — О т ч а я н н о вкусные сосиски . . .

Ну, значит, «брысь, слово, в кладовочку, пригодишься в другой раз».

Да, надо уже думать о том, что Киримбюбю пойдет в школу. Все будет зависеть, конечно, от того, что скажет балетмейстер. Гаянэ говорила, что в случае успеха, Митрофану Алексеевичу надо было бы переехать в Штуттгарт и найти работу там. Иначе как же устроить Киримбюбю? Но легко сказать — найти работу в большом переполненном городе! Однако, тут уже придется рискнуть. Тем более, что некоторая «подсыпка», по крайней мере, на первых порах неожиданно идет от . . . Алека. В последнем письме он пишет:

«Настанет время, когда мы с Вами сможем пригодиться. Запад, подобно Вию, поднял тяжелые веки и всматривается в нас. Теперь ему н у ж н о знать о том, что же, наконец, произошло и происходит в нашей стране. То, что там произошло (он это понял!), не пустяки, не местный каприз. Теперь каждый понимает: это ползет по всему миру. Что-то надо переделать во всем мире, по-настоящему и серьезно, иначе «оно» придет в любой уголок, и чем дальше уголок от «него», тем соблазнительнее выглядит там «оно». Что делать? Прежде всего, как можно скорее во всю глубь изучать. Не только пропагандировать против (без этого не обойтись), но именно познавать, изучать то, как красивые слова на деле страшно оборачиваются уродством.

Массы теперь с недоверием относятся к пропаганде, в особенности — с нашей стороны. Надо говорить спокойно, внушительно, обстоятельно о ф а к т а х. Этих фактов миллионы. Их надо собирать. Буквально из всех областей жизни «там». Факты!! Иногда не нужно и комментировать. Например, — вы долго были советским учителем. Ваш опыт, как бы скромен он ни был, по-вашему, — ценен. Разве вы не можете скромно рассказать в виде простого, внятного очерка, как народилась, развивалась и чем стала советская школа, где учатся миллионы детей и где образуются их взгляды и характеры. Что знают эти дети? Как знают? Что есть нелепого, вредного, отвратительного в этой школе и что есть в ней хорошего? Между прочим, об этом хорошем обязательно надо знать. И оно есть в какой-то дозе. Надо рассказать правду, все, как есть, начистоту. Этой правды хочет Запад. Он нуждается в ней. Только таким путем возникнет верная картина жизни страны, жизни ее людей в разных слоях населения. И только тогда станет открываться, что так жить нельзя, что это самоубийство чело-

вечества. Но таким анализом надо искать и путей для здорового обновления жизни.

Я пишу вам в качестве представителя одной исследовательской группы, которая организует подобное собирание фактов. Вам предлагается написать мемуары. Не бойтесь правдизости. Найдете нужным кое-что хвалить, — хвалите.

Был у меня «там» чудесный друг (единственный пока друг в жизни) — старый профессор. Он всегда толковал об одном: «будь объективным до предела. Горькая истина стоит неизмеримо больше, чем подслащенная. Фальсификация фактов — дело, приносящее только дурные плоды».

Я прошу вас, ради Бога, пишите так, как если бы вы были на смертном одре, когда ложь не нужна и позорна. Опубликование вашего авторского имени всецело зависит от вашего желания.

Немедленно ответьте мне. В случае вашего согласия, я сейчас же вышлю вам аванс в счет гонорара за ваш труд. Для писания вам нужна хотя бы частичная разгрузка от той работы, которую вы делаете.

В заключение прошу понять меня без кривотолков: если такие, как вы, будут отказываться от сообщения правды, то они будут способствовать окончательной гибели и своей страны и, может быть, человечества . . .»

— Ну, это крайняя гипербола, — произнес невольно вслух Митрофан Алексеевич.

— Ги-пер-бола, — прошептала Киримбюбю, — изумительное словечко юркнуло в память и спряталось там до поры до времени . . .

Но, в самом деле, Митрофан Алексеевич призадумался: он всегда боялся «воткнуть нож в спину своей родины», но если можно и нужно говорить всё начистоту, разве не стоит оживить всё в памяти, самому разобраться, что и как он делал в школе; а рядом с этим всплывут те дни . . . Стыдно, что это принесет деньги . . . Без денег лучше бы . . . Но не довольно ли играть Дон Кихота? Литературный труд должен оплачиваться . . . В конце концов согласие было послано.

Надо ответить и на второе заокеанское письмо: Жоре.

Жора живописал пароход, океан, Нью-Йорк. Пароход у пристани — «Гегант», а в океане — «чови». Океан совсем не синяя вода, а серая. Жору «вот никак не укачало», а «мамашку» «рвало напраго и налего», тем не менее она одержала одну победу на пароходной кухне, а другую над портным Опанасом. Жора через неделю пристроился к малярам, — «они свои парни в доску», красят из пистолетов . . . «Мамашка» поедет на курорт кухаркой в какой-то графский пансион . . . Видели Алека. «Он теперь в цивильном одягу и книжки пишет». До него рукой не достать, а до Жоры ходит и «допомогае». В финале: «Едьте сюды с Киримбюбой, вас выписать пара пустяков» . . .

*

Кончается пятница перед необыкновенной субботой.

Завтра, в субботу, Митрофан Алексеевич едет с Киримбюбю в Штутгарт. Гаянэ все наладила, условилась с балетмейстером, прислала точное расписание поездов и указала, в каком месте вокзала надо встретиться.

Как хорошо, когда все предусмотрено!

Митрофан Алексеевич обдумывает, что уложить в маленький чемодан, а что в кошелку. Заботливо рассматривает парадное платье Бюбю, стирает ее нейлоновые чулочки — последний подарок Антона Антоновича, которому, видно, никогда уж не бегать шустро, — ковыляет он на костылях, а то ездит в кресле.

Сама Киримбюбю, сосредоточенно поджав губу, маленьким электрическим утюгом осторожно разглаживает ленту для банта на голове.

Она теперь без кос, — прическа, как у средневекового мальчика, с челкой.

Надо еще приготовить бутерброды в дорогу.

. . . . . .

Наконец, Киримбюбю укладывается спать, сообщая, что она уши помыла с мылом.

— Ладно, — кивает Митрофан Алексеевич, — это ты, брат, хорошо сделала. Ну, выспись, как следует, до завтра.

Кажется, теперь всё подготовлено.

Оставив только лампу под темно-зеленым абажуром в своей комнате, он усаживается в бывшей качалке (теперь она уже не качается, — превратилась в кресло) и раздумывает над блокнотом, где записывается план постепенно созревающих мемуаров для Алека.

Сквозь каждую строчку учительского разборчивого почерка глядят тысячи «вчера», уходят милые тени, оживает былое.

Взгляд падает ненароком на нераспечатанную еще пачку газет, присланных в виде постоянной порции от Гаянэ. Заокеанские вести!

Уже выработалась привычка к этим большим листам русской газеты из Америки. Знакомы уже по взглядам, по стилю авторы статей. Понятна непрерывная борьба мнений, страстность и хлесткость одних, уравновешенное добродушие других.

В воскресном многостраничном номере, как всегда, много объявлений. Сколько предлагается комнат, квартир! Даже странно, что люди свободно выбирают себе место без всяких «жилотделов».

Вот отдел «Розыски». Внешне сухой, внутренне мучительный. Скользит глаз по колонке, хочет перебежать на другую страницу... Вдруг что-то задерживает его, приковывает:

> УМОЛЯЮ добрых людей сообщить матери о местопребывании девочки-киргизки Киримбюбю. Оставлена 9 октября 1945 г. в районе . . . . . Вюртемберг, Германия, недалеко от Camp № 1. Писать: Senhora Z. Tokombaiev, Rio Grande 2 - 42, Sao Paulo, Brazil.

Митрофан Алексеевич несколько раз перечитывает эти строчки. Ничего особого с ним не происходит, только... только вместе с тошнотворным холодком на грудь наваливается неотвратимая тяжесть...

Он закрывает глаза. Почему же Бразилия? Как, какими путями попала эта женщина туда? Откуда ей удалось бежать? Когда? Почему она не вернулась в таком случае в те места, где был оставлен ребенок, чтобы скорее найти его? Почему умоляет «добрых людей» только мать? Где отец? Удалось бежать только ей?..

...Нет, не разгадать сейчас загадок жизни. Их решит «завтра».

Митрофан Алексеевич посмотрел: мирно спит е г о Киримбюбю... Его? Да, и его. Кто посмеет это оспаривать? Но в то же время . . .

. . . Стало душно невмочь. Приоткрыл окно, сел около него, дыша прохладно-сыроватой струей осенней ночи и думая, ужасаясь своей судьбе, неуверенно угадывая материнское счастье и растерянность Киримбюбю от раскрывающейся тайны . . .

. . . Незаметно для себя встретил рассвет.

Зашумела в палисаднике золотая облетающая листва от раннего утреннего ветерка. Нежная розоватость тронула бледно-серое небо, перелилась в палевый цвет, золотившийся все больше и больше . . . Сквозь узкую сиреневую тучу на горизонте показался веселый солнечный ободок . . .

Киримбюбю проснулась с тревогой: наступило особенное «завтра». Приподнялась, выглянула из-за ширмочки, увидела дядю Митрошу у окна.

— Ого! Ты уже встал!

Он оглянулся, и когда они встретились глазами, Киримбюбю, счастливо и нежно улыбаясь, с грацией, подсказанной самой музой Терпсихорой, приложила два пальчика к губам и послала ему пленительный воздушный поцелуй . . .

Г. Климов

Все люди братья

Чрезвычайно поучительная и исключительно правдивая, полная страшных приключений и строго научных данных, история о том, как в наше просвещенное время один безбожник имел дело с нечистой силой, оборотнями и лешими, ведьмами и колдунами, как он даже любил одну молодую очаровательную ведьму и что изо всего этого получилось . . .

1

Когда Максим был ребенком, а это было еще до революции, перед сном мать заставляла его молиться Богу. Максим безразлично бормотал под нос «Отче наш», а потом обращался к Богу с личной просьбой:

— Боженька, пожалуйста, сделай меня большим и сильным . . . А то вчера Петька опять поймал меня в соседском дворе и побил. Сделай так, чтобы я мог побить всех. Так, чтоб одной левой рукой, одним пальцем . . . — Эту просьбу он повторял после каждой мальчишеской неудачи. Подумав, он шепотом предлагал в обмен: — Если хочешь, Боженька, то за это укороти мне немножко жизнь . . .

У Бориса же, который родился после революции, уже с детства проявлялся более практический подход к жизни. Если он не доедал чего-нибудь, мать серьезно говорила:

— Смотри, Бобка что остается на тарелке — это твоя сила. Если не съешь, потом тебя все девчонки будут бить.

Борис верил этому и готов был все съесть, вылизать тарелку и затем лопнуть, только бы девчонки не оказались сильнее его. Эта привычка подчищать тарелку осталась у него на всю жизнь.

Позже обнаружилось, что Максим пишет левой рукой. Младший брат поддразнивал старшего:

— Эй ты, левша!

Мать же говорила строго:

— Не смейся, Бобка. Это его Бог наказал, чтобы он не обращался к Богу с глупыми просьбами.

Глава вторая из романа «Имя мое легион». См. «Грани» № 31 — «Формула власти».

Хоть и левша, но школу Максим окончил с отличными отметками. Он поступил на исторический факультет Московского университета и мечтал стать профессором. Помимо профессорских амбиций, он еще любил командовать людьми. Потому он вскоре вступил в партию и даже выдвинулся в секретари факультетской парторганизации.

Дома же Максим любил подчеркнуть свою роль старшего брата. Частенько он посылал младшего с записочками к девушкам, за которыми ухаживал. Но только в тех случаях, когда успех был обеспечен, — в качестве свидетеля своих побед. Если же успех был под вопросом, Максим находил другие пути — без свидетелей.

Борис был намного младше Максима. Но к старшему брату он почему-то всегда относился довольно скептически. Может быть потому, что старший везде искал возможность покомандовать, а младший терпеть этого не мог. Или, может быть, потому, что Максим, помимо того, что он был левша, еще умел шевелить ушами и часто демонстрировал это. «В точности, как осёл», — говорил младший. Несмотря на это, и университет Максим окончил с блестящими успехами.

Так как он хорошо проявил себя в должности секретаря факультетской парторганизации, то, вместо работы по своей специальности, — учителем истории, он получил по партийной линии назначение на службу в НКВД. Звание уполномоченного НКВД, что в то время соответствовало чину капитана, вполне импонировало амбициям Максима. А тем более — щеголеватая военная форма и малиновые петлицы, которые наводили страх на окружающих.

Максим, никому не сказав о своем назначении, вдруг появился дома в полной форме НКВД. На поясе в новенькой кобуре поблескивал маленький браунинг, что считалось в НКВД особым шиком. Увидев зловещие петлицы, отец, пожилой доктор, неодобрительно пробормотал в седые усы:

— Я стараюсь *продлить* жизнь людей, а ты будешь заниматься ее *сокращением*. Нехорошее это занятие.

Единственным, на кого форма и браунинг Максима не произвели ни малейшего впечатления, был младший брат.

Первая стычка произошла у них, когда Борису исполнилось четырнадцать лет. Максим сидел за столом и заполнял какую-то служебную анкету. Чтобы идти в ногу со временем и своей должностью, в графе о родителях он написал расплывчатое определение «трудящиеся». Борис заметил это и ему показалось, что брат отказывается от их отца.

— Отец не рабочий, а доктор, — сказал он. — Зачем ты врешь?

— Не твоего ума дело, — ответил старший.

— Эх ты, сразу видно, что левша, — насмешливо бросил младший. — Всё слева делаешь

— Молокосос! — вскипел уполномоченный НКВД. — Сейчас я тебе уши надеру.

— Попробуй! — сказал школьник. Чтобы выравнять разницу в силах, он зажал в кулак вилку и следил за каждым движением брата с таким деловитым спокойствием, что тот решил лучше не пробовать.

Как это ни странно, Максим нисколько не обиделся. Наоборот, потом он даже хвалился своим приятелям:

— Вот у меня младший брат — чуть мне вилку в живот не засадил! Такого лучше не тронь...

Однако, вскоре он сам же и забыл про свой совет. Следующая, уже более серьезная стычка произошла у них, когда Борису было шестнадцать лет.

Жили они на тихой окраине Москвы, во флигеле, в глубине двора. Обычного московского дворика, где растут несколько деревьев, под которыми пробивается к солнцу гусиная травка, где в углу хлопает дверями по ветру дощатая уборная, а рядом величаво красуется мусорная куча. Старая мусорная куча, которая летом зарастает всякими сорняками и, где пышно цветут чертополох и белладонна.

Зимой, когда дворик заносило глубоким снегом, во флигеле топили кафельные голландские печи, о которые так приятно погреть спину. Уголь и дрова для печей приходилось носить ведрами из погреба, для чего нужно было пересекать двор, по снегу. Эти прогулки в погреб считались поочередной обязанностью братьев, хотя с тех пор как Максим надел форму НКВД, делал он это крайне неохотно.

Как-то мать послала Максима за углем. Борис лежал в соседней комнате на большом покрытом ковром сундуке, служившем ему постелью, и читал увлекательный роман Райдера Хаггарда «Дочь Монтецумы». Старший брат вошел в комнату младшего и небрежно приказал:

— Бобка, пойди-ка принеси угля!

— Мать тебя послала — ты и иди, — возразил младший.

— Ты лучше слушай, что тебе говорят.

— Вот когда мать мне скажет, тогда я и пойду.

— Смотри, если через три минуты не пойдешь, то я приду с собачьей плеткой! — пригрозил уполномоченный НКВД и вышел из комнаты. Собачья плеть всегда висела на вешалке в коридоре, как полагается в доме, где есть немецкая овчарка.

Младший отложил книжку в сторону, встал с сундука и потихоньку вытянул нижний ящик стола. Под учебниками физики и химии лежал медный кастет, уже проверенный в нескольких драках. Он надел кастет на руку и опять улегся на свой сундук, засунув эту руку в карман, а в левой держа «Дочь Монтецумы».

Он читал, как несчастного пленника привязывают к каменному алтарю, чтобы принести его в жертву богам, как зловещий жрец ацтеков приближается к нему с жертвенным ножем. В этот момент в комнату вошел Максим, держа в руках собачью плеть.

— Считаю до трех, — сказал он. — Ра-аз... Два-а... Три-и!

Дальнейшее Максим описывал своим приятелям так:

— Да-а... Такого я еще никогда не видел... Чтобы человек прыгал с положения..., ну, лежа на спине. От сундука до двери — минимум шесть метров. Так он взвился в воздух и, как тигр, прямо мне на голову. Словно его ножем ткнули. Я с плетью, а он на меня с кастетом.

— Неужели? — удивлялись приятели.

— Это еще не всё. Ох же и свалка получилась. Шкаф вдребезги разломали. У стола две ножки отломали. Про стулья я уж и не говорю — одни щепки остались. Потом я специально сундук проверял —

так крышка треснула. Это он спиной продавил, когда на меня прыгал. Одна только печка целая осталась.

— Кто же победил?

— Вничью! — с некоторой гордостью за младшего брата говорил Максим. — Его в школе так и прозвали — бугай. Никто с ним справиться не может. Он на турнике уже солнце крутит.

— Кто же пошел за углем?

— Мать пошла. Тогда он у нее ведро забрал, а мне говорит: «Ну погоди до следующего раза!» Вот же чертяка. Но зато на него можно положиться.

И в этом отношении Максим не ошибся: если младший брат сказал что-нибудь, то ему можно было верить. До следующего раза ждать пришлось недолго.

В школе, где учился Борис, устроили вечер самодеятельности. После самодеятельности были танцы в гимнастическом зале, а после танцев, как обычно, драка на улице с учениками соседней школы. В самый разгар схватки приятель Бориса Васька Андрианченко ни с того ни с сего поднял стрельбу в воздух из маузера, который он стащил у своего отца, работавшего в Горсовете. Не зная кто стреляет, обе партии пустились врассыпную. Первым, испугавшись собственной храбрости, убежал сам Васька, предварительно сунув пистолет Борису.

На следующее утро Борис сидел у себя в комнате и, в ожидании Васьки, из любопытства разбирал огромный маузер. Зачем-то в комнату вошел Максим. Увидев в руках младшего брата настоящий пистолет, да еще маузер, он так растерялся, что сначала даже ничего не сказал, а вышел и стал о чем-то шептаться с матерью.

— Борис, пойди принеси дров из погреба! — попросила мать.

Тот собрал свой маузер и, положив его в карман, отправился в погреб. Уполномоченный НКВД воспользовался этим, чтобы обыскать комнату младшего брата. Не найдя пистолета, он схватил с вешалки злосчастную собачью плетку, которая в его представлении являлась символом власти в доме, и выскочил во двор вслед за Борисом.

— Дай сюда пистолет! — скомандовал он.

— Не дам, — твердо ответил младший, запуская руку в карман.

Старший поднял плеть:

— Да или нет?

Вместо ответа младший вытащил руку из кармана и в лицо брата ударил дым и огонь выстрела. Максим застыл с поднятой рукой, а ему в упор, как из огнетушителя, плескали выстрелы из крупнокалиберного пистолета. Он попятился к крыльцу.

— Брось плеть! — скомандовал теперь Борис.

Максим послушно бросил плеть в снег.

— Иди в дом! — приказал Борис, не опуская пистолета, и деловито добавил: — Смотри, у меня еще три патрона.

— А ты что, стрелял и считал? — растерянно спросил уполномоченный НКВД.

— Да, считал, — ответил школьник. — Заходи в дом и не выходи! Быстро!

Когда старший брат скрылся за дверью, младший, как заяц, махнул через забор. Если придет милиция, то пусть Максим сам оправды-

вается, почему подняли стрельбу среди бела дня. Тем временем Борис по глубокому снегу, в одной рубашке, поддерживая штаны, спадающие от тяжести болтавшегося в кармане пистолета, добрался до Васьки и отдал ему маузер. Как Васька объяснил своему отцу недостачу патронов, осталось неизвестным.

Вечером, узнав о происшествии, доктор Руднев ворчал:

— У нас предки из казаков, а потому у нас в роду есть где-то польская кровь. И турецкая тоже есть. Видно, Максим в поляка пошел: пененцев не маем, зато гонор маем. А вот Борис — чистый турок, прямо башибузук.

Максим чувствовал себя героем дня и хвастался:

— Борька в меня стрелял, стрелял — и ни разу не попал.

— Так ведь я ж тебе мимо ушей целил, — неохотно сообщил школьник. — Так, как укротитель в цирке.

В досках старого флигеля было много дырок от выдернутых гвоздей. Позже Максим показывал эти дырки своим приятелям и с гордостью рассказывал:

— Видите, это Борька в меня стрелял. Весь дом изрешетил. Ох же и отчаянный он у меня!

Есть люди, которые не могут жить со своими ближними на равных правах. Они всегда стараются быть господами, но если это не получается, тогда они сами лезут в слуги к тому, кто оказался сильнее. Так вот и Максим. Не в состоянии подчинить себе младшего брата, он не только уравнял его в правах, но даже стал немного заискивать перед ним. Стараясь завоевать его доверие, несмотря на большую разницу в возрасте, он часто приглашал его в компанию своих знакомых и делился с ним своими секретами. Борис же, наученный опытом, держался немного настороже и сохранял безопасную дистанцию.

Разница между братьями проскальзывала во многом. Максим был сухощавым, тонкокостным, с серыми глазами и светлыми, слегка вьющимися, волосами, которыми он очень гордился. Губы у него были узкие, нервные, властные. По этому поводу он утверждал, что такой же рот был у Ницше и Шопенгауэра. Студентом он увлекался легкой атлетикой, хорошо плавал и бегал на лыжах. Борис же, широкоплечий и темнокожий, предпочитал тяжелую атлетику и гимнастику на снарядах. Старший брал «на вспышку», а младший «на выдержку».

У Максима всегда было много друзей, которые довольно быстро менялись. У Бориса друзей было меньше, но зато они почти не менялись. Максим постоянно брал у своих друзей книжки. И постоянно бывшие приятели Максима приходили к Борису и, немного смущаясь, просили вернуть книжки, которые старший брат взял у них почитать несколько лет назад.

Когда Борис перешел в девятый класс, он увлекся охотой и купил себе «Фроловку» с магазином на четыре патрона. Вместо картечи он зарядил ружье рубленными кусками свинцовой трубы. Как и полагается настоящему охотнику, он повесил заряженное таким образом ружье в изголовье своей кровати.

Однажды, вернувшись из школы, он уже на пороге почувствовал острый запах охотничьего пороха. Ружье валялось на постели, а по дубовой доске стола, где Борис готовил свои уроки, расходился рва-

ный щербленый след выстрела. Заряд рубленого свинца косо резанул по столу и засел глубоко в стене. У Бориса екнуло сердце: что если? . . . Он оглянулся по комнате, ища следы крови. Убедившись, что крови нет, он пошел искать Максима. Тот, смущенный, сидел на кухне в своей щегольской форме НКВД.

— Ну как, ружье стреляет хорошо? — словно между прочим спросил младший.

— Да знаешь, я хотел показать знакомым . . . А оно вдруг выстрелило.

— Удивляюсь, как это никому в живот не попало. Тебе определенно везет.

Уполномоченный НКВД посмотрел на брата и моргнул белесыми ресницами:

— Скажи, а тебе меня не жалко?

— Мне стол жалко, — ответил тот.

Максим и здесь не упустил возможности похвастаться перед приятелями:

— Вот у моего Борьки нервы! Ружье выстрелило, так ему не меня жалко, а какой-то паршивый стол.

Не то чтобы Борис не любил брата. . . Нет, он просто знал, что если с Максимом обращаться по-хорошему, тот сейчас же сядет ему на шею.

Собачья плетка, которую так любил Максим, принадлежала немецкой овчарке Рексу. Когда-то Борис собственноручно выбрал щенка в подмосковном питомнике служебных собак и за пазухой привез его домой вместе с длинной родословной. Чистокровный щенок вырос в огромного черного, как уголь, и на редкость умного пса. Летом Борис спал на веранде, а Рекс сидел рядом на цепи и охранял своего хозяина. Пес он был довольно серьезный и не давал спуска окрестным хулиганам, которые не раз грозились притравить его.

В один прекрасный зимний день, как раз после снегопада, Борис вышел на двор, чтобы расчистить снег. У порога, в судороге вытянув задние лапы, лежал Рекс. Он уткнулся носом в ступеньки, из черных шершавых ноздрей сочилась кровь. От порога к улице, по свежевыпавшему снегу, тянулся яркий кровавый след. Верный пес дополз до порога, но подняться по ступенькам у него уже не хватило сил.

Борис нагнулся, потрогал рукой еще теплое, но уже безжизненное тело собаки. Потом он кинулся в дом и сорвал со стены ружье. На ходу, щелкая затвором, он яростно крикнул Максиму:

— За мной! Рекса отравили!

Младший брат, как бешеный, носился по снегу с ружьем на изготовку, разыскивая убийцу своего любимого Рекса, а следом за ним носился старший брат и тщетно пытался отнять у него ружье. С улицы прибежали мальчишки:

— Дяденька, дяденька . . . Да вашего Рекса машина переехала . . . Мы сами видели.

Только тогда Борис успокоился и поставил ружье на предохранитель. После этого Максим в первый раз пожаловался матери:

— Собаку Борька любит, как человека. А вот я для него — пустое место.

Максим любил ухаживать за чужими женами, как он выражался, «за дамочками», и даже обосновывал почему:

— Двойная победа и никакой ответственности.

По молодости лет Борис еще не понимал, что это значит, но упрямо возражал:

— Это всё равно что воровство.

— Это по законам Моисея так, — усмехался уполномоченный НКВД. — Но теперь не то время.

Соответственно своим «взглядам» Максим и женился — на чужой жене. В глазах Бориса у Ольги, жены Максима, имелось два минуса Первое — она кончила не институт, а всего лишь мукомольный техникум. И второе — она бросила своего первого мужа. Вместе с тем, Борис оказался косвенной причиной этого брака.

Когда Борис учился еще в девятом классе, он часто бывал на вечеринках в доме своей одноклассницы Ирины. А Ольга жила у них в семье в качестве квартирантки. На вечеринках школьники играли в обтрепанный «флирт цветов», в фанты с робкими поцелуями и танцевали под патефон. Потом стучали в дверь квартирантки:

— Ольга, присоединяйтесь к нам!

Та выходила из своей комнаты, всегда кутаясь в большой белый платок ангорской шерсти, словно ее знобило. Фигура у нее была неважная, зато лицо... Это было лицо Мадонны, красоты редкостной, неземной. Вела она себя, как пришелец из чужого мира, и всегда немного скучала. Она никогда не смеялась, а только слабо улыбалась, да и то внутрь себя. Танцевала она неохотно, а если при игре в фанты доходила ее очередь целоваться, она поджимала губы и отворачивалась.

— Не обращайте внимания, — шептала Ирина, — она хорошая девушка, только немножко самовлюбленная.

Жили они все по соседству, недалеко от Петровского парка. Однажды, в этом парке погожим весенним вечером застрелился студент. Он спокойно сидел на скамейке, мечтая о чем-то, потом вдруг вытащил из кармана наган и выстрелил себе в рот. В другом кармане самоубийцы нашли письмо — на имя ангелоподобной Ольги. Оказывается, он учился с ней в одном техникуме. Об этом поговорили, поговорили — и забыли. Мало ли всяких чудаков?..

Но через несколько месяцев, когда на дворе стояла поздняя осень, Бориса вызвали к директору школы.

— Вы с Легостаевым дружили? — спросил директор.

— Да, я с ним на охоту ходил.

— Так вот — Легостаев застрелился... Из этого самого ружья. Он вам ничего не говорил... такого?

— Нет, совершенно ничего.

— Хорошо... Пойдите к нему домой — от лица комсомольской организации... Помогите там чем-нибудь.

Холодное ноябрьское утро. Стук подошв по голой промерзшей земле. Маленький домик на Песчаной улице. Убитая горем мать, и темные пятна по стенам — следы крови. На потолке дырки — от той самой картечи, которую они еще недавно вместе катали из рубленого

свинца. К штукатурке прилипли бесформенные серые кусочки — это то, что осталось от мозга его товарища по охоте.

Утром, вместо того, чтобы идти в школу, Легостаев сел в кресло, приставил двухстволку к виску и пальцем босой ноги спустил курок. Выстрелом одновременно из двух стволов, заряженных картечью, ему начисто оторвало голову. На столе лежало предсмертное письмо: не матери, у которой он был единственным сыном, нет — ангелоподобной Ольге. Письмо было конфисковано милицией, но и так все понимали, что там написано.

Тихий и замкнутый парень, Легостаев всегда держался в стороне от других подростков. Ничем он особенно не выделялся — ни в учебе, ни в спорте. Знаменит он стал только после смерти. Его самоубийство, — среди школьников вещь необычайная, — вызвало много разговоров и еще больше недоумения. Ирина пыталась оправдать свою квартирантку:

— Да Ольга здесь вовсе и ни при чем!

— А почему он написал письмо именно ей, а не кому-нибудь другому? — спрашивали школьники.

— Не знаю. Они встречались только у меня на вечеринках. И это всё.

— Ну, а тот студент, что застрелился в парке?

— Там тоже ничего не было. Когда-то она пошла с ним один раз в кино — и это абсолютно всё. А за его дальнейшие поступки она не отвечает.

Школьники неодобрительно качали головами:

— Всё равно твоя Ольга какая-то недоделанная.

— Просто у нее рыбья кровь, — возражала Ирина. — Потому она всё время и мерзнет. Она даже не может спать по ночам и, чтобы согреться, лезет ко мне . . .

Вскоре после этого красавица Ольга вышла замуж — за человека, которого она почти не знала, как говорится, за первого попавшегося. Злые языки шептали, что этим она только хотела избавиться от неприятных разговоров в связи с двумя самоубийствами. У каждого найдутся завистники и недоброжелатели, которые только и ждут предлога посплетничать. В довершение всех бед, сразу же после свадьбы, мужа Ольги забрали на три года в армию, и она осталась на положении «соломенной вдовы». Теперь люди жалели ее. А дальше получилось так: на фотографиях, которые Борис снимал во время вечеринок, Максим заметил ангелоподобное личико Ольги и с видом специалиста потянул носом:

— Кхм, кхм . . . Кто это такая?

— Да так — ни рыба, ни мясо.

— Слушай, познакомь меня с ней!

— Опоздал. Она уже замужем.

— Что, дамочка? Так это самое хорошее.

— Как сказать. Из-за нее уже два человека застрелилось.

— Ничего. Ты только познакомь, а остальное это мое дело.

Максим устроил для своих друзей вечеринку, а Борис пригласил на нее соломенную вдову, которая скучала без мужа. Ольга явилась, как всегда, кутаясь в свою белую шаль, и . . . в этот вечер Максим по-

терял свое сердце. Спали братья в соседних комнатах, и раньше младший подсмеивался над старшим, часто разговаривавшим во сне. Но теперь Борис не смеялся. Почему-то ему было даже жалко брата, которого Ольга словно заворожила. Каждую ночь Максим судорожно ворочался в постели и беспокойно бормотал:

— Оля... милая... Оленька...

Но Максиму повезло. Ни много ни мало, ровно через месяц красавица Ольга развелась со своим отсутствующим супругом и вышла замуж за Максима. На свадьбе Борис сидел на почетном месте, по другую сторону новобрачной, — как зачинщик нового счастья. После свадьбы старший брат ушел из родной семьи и поселился с женой на отдельной квартире, в новых домах для работников НКВД.

Приблизительно через год у них родился сын. По всему было видно, что Максим очень счастлив, что он боготворит свою молодую жену и страшно гордится ребенком. Он сильно изменился, стал солиднее, серьезнее и если по-прежнему хвалился, то только своей женой. В родительский дом он заходил редко. Получив повышение по службе, он был очень занят и все свободное время проводил в собственной семье.

2

Однажды, зимней ночью, Борис проснулся от настойчивого звонка. Недоумевая, кто это трезвонит среди ночи, он накинул шубу и спросил через дверь:

— Кто там?

— Это я... Открой... — услышал он голос старшего брата.

Еще полупьяный ото сна, младший откинул болт, снял цепочку, повернул английский замок и открыл дверь. На дворе — холод, снег и луна. На фоне освещенного луной снега — темная фигура Максима в длинной военной шинели. Лица его не видно, к груди прижат какой-то большой сверток. Не переступая порога, он протянул сверток Борису:

— Держи! Осторожно...

Тот почувствовал у себя в руках что-то мягкое, теплое, шевелящееся и понял, что это закутанный в одеяло ребенок.

— Передай матери, — глухо сказал Максим. Она знает, что делать... Пусть возьмет кормилицу... — он повернулся и зашагал по залитому луной снегу. На улице зашумел мотор автомобиля, и Борис остался один с ребенком на руках.

Ничего не понимая, он разбудил мать и передал ей плачущего грудного младенца. Утром Максим позвонил по телефону, еще раз попросил позаботиться о сыне, но больше ничего не сказал. Вечером обеспокоенная мать поехала к нему на квартиру, чтобы узнать, что случилось, но дверь квартиры Максима она нашла опечатанной красными сургучными печатями НКВД. Сначала подумали, что Максим арестован. Но он каждый день звонил со службы, справлялся о здоровье ребенка и на все вопросы отвечал:

— Не спрашивайте меня ни о чем...

Через неделю он появился в родительском доме. Небритый, с осунувшимся лицом и воспаленными глазами, в измятой форме и нечи-

щенных сапогах, он выглядел так, словно эти дни спал не раздеваясь. Сняв шинель, он молча прошел к кровати, где лежал его маленький сын.

— Максим, скажи хоть что случилось? — робко спросила мать.

— Ничего... — поморщился тот. — Я буду жить у вас...

— А как же Ольга?

— Она... Ее здесь не будет...

— Почему? Что у вас произошло?

Сидя на краю кровати и глядя на ребенка, Максим словно не слышал ничего. Потом он пробормотал каким-то чужим голосом:

— Она покончила с собой... Ее уже похоронили... И не спрашивайте меня больше ни о чем...

Опираясь руками о колени, он устало поднялся, деревянным шагом прошагал в свою комнату и тихо закрыл за собою дверь. В горе одни ищут утешения со стороны, другие, наоборот, уединения. Чувствуя, что Максим избегает всякого сочувствия, домашние решили оставить его в покое, пока он справится со своим горем.

Каждый день, придя со службы, Максим закрывался у себя в комнате. Чтобы попасть в свою, Борис вынужден был проходить через комнату брата. Тот часами лежал пластом на диване, не шевелясь, словно разбитый параличом, устремив глаза в одну точку и думая о чем-то. Или часами он неподвижно сидел за письменным столом и остановившимся невидящим взором смотрел в темную ночь за окном, будто силясь понять что-то непостижимое.

Войдя однажды в комнату, Борис увидел, что Максим сидит за столом, смотрит в пустое окно, а пальцы его играют маленьким браунингом. Он даже не слышал шагов брата.

— Максим! — тихо окликнул младший.

Старший вздрогнул, словно очнувшись от сна:

— Что такое?

— Дай-ка мне эту игрушку! — протянул руку Борис.

Максим растерянно посмотрел на браунинг, словно недоумевая, как он попал к нему в руки, и послушно отдал брату. Борис сунул оружие в карман и, как ни в чем не бывало, сказал:

— На кухне мать возится с ребенком, никак не может его успокоить. Поди-ка ей помоги, ведь это твой ребенок.

Максим опустил голову и пошел на кухню.

В это время Борис был уже студентом Индустриального института. Он любил порядок и поэтому на следующий день, порядка ради, осмотрел браунинг Максима. К его удивлению, в обойме не хватало половины патронов. Он понюхал дуло, потом снял верхнюю скобу и посмотрел канал ствола на свет — он был мутный, с беловатым налетом. Для охотника, привыкшего после каждой охоты чистить ствол оружия до блеска, было ясно, что из этого пистолета недавно стреляли. Игрушечный браунинг был немым свидетелем какой-то драмы.

После смерти красавицы-жены Максим вел себя так, будто из него вынули душу. Единственное, что его еще интересовало в жизни — это ребенок, живое воспоминание об Ольге. Часто он брал на руки завернутого в пеленки сынишку, прижимал его к груди и долго смотрел на него, словно отыскивая в нем черты любимой женщины.

Но и капля долбит камень, а время — человеческие чувства. Оправившись от травмы и последующей прострации, Максим постепенно приходил в себя. Первое, что он сделал, — это принес какие-то книги и теперь уже не смотрел в окно, а сидел и, наморщив лоб, читал и читал. Но книги эти он почему-то тщательно прятал ото всех, а уходя, запирал их в стол. Он даже обернул бумагой переплеты, чтобы никто не видел их названия. Борис только мельком заметил, что это медицинские книги.

Так он сидел вечер за вечером, день за днем. Но прошло несколько месяцев, пока однажды Максим поднял палец и пробормотал:

— Хм, это интересно . . .

— Что такое? — спросил Борис из соседней комнаты, где он занимался интегралами.

— Да так, одна фраза . . . Всего две строчки . . .

— Что?

— Ничего . . . Просто так.

— А что это ты за медицину взялся?

— Ты не поймешь . . . Это специфическая тема . . . Но теперь придется поискать в другом месте.

Когда Максим еще не работал в НКВД, а готовился к карьере профессора истории, он уделял много внимания иностранным языкам и прилично читал по-английски, немецки и французски. Хотя Борис тоже учил языки.

Свои поиски Максим начал с того, что притащил в дом целую кучу книг на английском языке. Эти книги он уже не прятал, а бережно поставил на книжную полку. Все свободное от службы время он штудировал их удивительно тщательно, что-то подчеркивал карандашом, делал выписки. И опять сидел вечер за вечером, день за днем.

Как-то Борис, устав от своих интегралов и дифференциалов, заглянул брату через плечо и протяжно свистнул. Книга, которую тот с серьезнейшим видом штудировал, называлась так: «Золотая ветвь», а внизу подзаголовок — «История древних религиозных культов и магии. В двенадцати томах».

— Какой же ты том читаешь? — с усмешкой спросил Борис.

— Десятый, — спокойно ответил Максим.

— Что, хочешь научиться магии?

— Нет, просто так . . .

— Но ведь это же глупости!

— Нет, — мотнул головой уполномоченный НКВД. — Это не глупости, а сухая история. Фразер — знаменитый антрополог, а его «Золотая ветвь», — лучший в мире научный труд на эту тему.

— Какую тему?

— Не твоего ума дело, — коротко отрезал старший брат.

Куча книг на полке, действительно, оказалась многотомной научной монографией. Но о ком и о чем!? Здесь было всё, что угодно: огнепоклонники на заре человеческой цивилизации, жрецы солнца, древнеегипетский культ Озириса, кровожадные идолы древней Индии и Мексики, веселые языческие боги древней Греции и Рима, кельтские друиды, негритянские колдуны, эскимосские шаманы и тому подобное. А сверху, как гарантия качества, стоял штемпель «Библиотека им. Ленина».

Следом за монографией в комнате Максима стали появляться еще более странные книги. Например, «Исследование о черной магии и пактах с дьяволом, включая обряды и мистерии готской теургии, колдовства и инфернальной некромантии», ученый труд, принадлежащий перу Артура Вайта. Или «Анналы колдовства, демонологии и астрологии в Западной Европе», изданные в Нюрнберге в 1623 году. А рядом пожелтевший трактат на тему «Магнетизм, спиритуализм и оккультные науки».

— Зачем ты тратишь время на всякую чепуху? — спросил Борис.

— Это не чепуха, — ответил брат.

— А что же?

— Это совершенно серьезные книги, написанные серьезными учеными. Они пытались решить некоторые загадки.

— Как делать золото из свинца?

— Нет, совсем другое...

— А что же?

— Ты этого не поймешь, — отвернулся в сторону Максим. — Не мешай мне.

Затем на столе уполномоченного НКВД очутилась целая стопа протоколов. Но это не были дела о контрреволюционерах, правых и левых уклонистах и прочих врагах советской власти. Это были средневековые манускрипты на английском языке с такими пространными названиями: *«Подробный и правдивый протокол о чрезвычайно поучительном процессе трех отменных ведьм из селения Депфорд, в графстве Эссекс, перед судьей короны многоуважаемым сэром Фрэнсисом Пэмбертоном в замке Экзетер в пятницу 2-го июня 1682 года, с собственноручными обследованиями и заключениями очень известного медика доктора Генри Хирса, как эти негодницы сознались в колдовстве и были приговорены к казни согласно определению закона, и как это записано согласно показаний достопочтенных свидетелей. Отпечатано в Лондоне в 1682 году».*

Или такой протокол: *«Отчет о Маргарите Хаккет, известной ведьме, которая довела одного молодого человека до смерти, разбросала его внутренности и кости во все стороны, и которая была казнена в Тирборне 19 февраля 1585 года».*

Или вот такой документ: *«Материалы суда над ведьмой Мэри Грин и ее дочерью Эллен, которая тоже упражнялась в колдовстве, как они сознались в предумышленном отравлении нескольких почтенных людей и других нечестивых поступках в результате пакта с дьяволом, и как они по приговору суда были казнены в Хартфорде 4 августа 1606 года».*

Перелистав эти мрачные документы, Борис с некоторым беспокойством посмотрел на брата, который сосредоточенно изучал очередной протокол XVI века:

— Скажи, Максим, чем ты, собственно, занимаешься?

— Просто меня интересуют некоторые вещи...

— Какие?

— Это тебя не касается.

— А почему это *тебя* касается?

— Это мое дело.

— А ты, может быть, немного того? — младший многозначительно постучал себе пальцем по лбу.

Старший устало потер воспаленные глаза и зевнул:

— Нет, об этом не беспокойся — и не приставай ко мне.

Так проходил месяц за месяцем, а Максим, как одержимый, всё копался в своих средневековых трактатах. После ведьм, словно проверяя что-то, он опять взялся за медицинские книги, которые он опять прятал ото всех. При этом он, время от времени, бормотал себе под нос:

— Ну да... Так и есть... Только другими словами...

— Что? — сквозь полуоткрытую дверь спрашивал младший.

— Ничего, — отвечал старший.

Затем он снова прыгнул в глубину веков, но уже не так далеко. Теперь он штудировал серию книг из области криминалогии: «История необычайных преступлений XVIII века» или «Порок и преступление в XIX веке». Он охотился за чем-то, как артиллерист, пристреливающийся к цели — перелет, недолет, всё ближе и ближе. Но цель Максима лежала все-таки где-то во тьме средневековья.

Однажды вечером, придя домой со службы и снимая шинель, он не выдержал и похвастался:

— Вот сегодня я допрашивал интересного человека...

Чувствовалось, что он напрашивается на вопрос. Борис поднял голову от учебника по теоретической механике:

— Какого человека?

— Одну старую-престарую проститутку. Самую старую, какую только нашли. По всем тюрьмам искали.

— Зачем она тебе понадобилась?

— Кое-что узнать. Есть вещи, которые не найдешь ни в каких книгах. Зато это хорошо знают опытные проститутки — и не стесняются об этом говорить.

— Зачем тебе это знать?

— Потому что порок всегда связан с преступлениями.

— Что же она тебе сказала?

— Много интересного. Сейчас я собрал по тюрьмам ряд уголовных дел, которые по форме совпадают с теми преступлениями, в которых обычно обвиняли ведьм. Теперь я на практике проверяю то, что писалось во всех этих книгах. Понимаешь? Получаются очень забавные результаты... Оч-чень забавные...

— Как же проверяешь?

— Расспрашиваю их про родителей, про личную жизнь... Они думают, что я сокращу им срок заключения...

— А зачем тебе это нужно?

— Просто так... — уклончиво ответил уполномоченный.

Через полгода после самоубийства Ольги Максим вдруг получил на службе специальный отпуск для работы над научной диссертацией. Каким-то образом работа эта была связана с НКВД — он числился в штате, получал свое жалование — и никому не называл тему своей диссертации. Весь день он сидел дома, за закрытой дверью, и рылся по библиографическим справочникам.

Он получил возможность собирать собственную коллекцию книг,

необходимых для его научных изысканий. На титульном листе теперь уже стоял штемпель «Научно-исследовательский спецфонд НКВД». Через посредство НКВД он заказывал некоторые книги даже за границей. Это была странная коллекция на темы, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом: трехтомное сочинение Генри Ли «История средневековой инквизиции», а рядом либретто оперы Пуччини «Принцесса Турандот», философские «Диалоги» Платона, а рядом опять какие-то пожелтевшие трактаты о нечистой силе. Во всех этих книгах Максим что-то подчеркивал красным карандашом, некоторые места, видимо, особенно важные, он отмечал цветными заклейками с шифром и одновременно делал заметки в толстую синюю папку, которую он всегда запирал в стол.

В этой коллекции Борис обнаружил и книгу Райдера Хаггарда «Дочь Монтецумы», которую он когда-то читал перед дракой с Максимом. Рядом стоял роман того же автора «Она», про таинственную королеву в дебрях Африки. Увидев в обеих книгах пометки красным карандашом, он поинтересовался:

— А это тебе зачем?

— Так, нужно было...

— Ведь это же для детей!

— Ха, это ты так думаешь.

— А для кого же?

— Для... Для тех, кто впадает в детство.

— А какая в этом разница?

— Очень большая. Когда человек впадает в детство — это означает конец цикла, приближение смерти. Понял?

— Ничего не понимаю.

Максим махнул рукой:

— Тогда занимайся твоими интегралами — и не лезь ко мне.

В середине лета, когда на мусорной куче, как обычно, расцвели чертополох и белладонна, Максим вдруг впал в детство. В начищенных хромовых сапогах он полез в заросли сорняков на мусорной куче, насобирал там каких-то трав и принялся сушить их в духовке. Затем он уселся за свой стол, заваленный всякими идиотскими книгами, закрыл окна и двери, положил высушенные в духовке травы в жестянку из-под консервов и поставил ее на горящую спиртовку. Из жестянки подымался сизый дымок, а уполномоченный НКВД сидел и нюхал этот фимиам мусорной кучи.

— Ты что, совсем рехнулся? — спросил Борис.

— М-м-м...

— Что ты там нюхаешь?

— Белладонну...

— Тьфу! Ведь потом голова болеть будет.

— Ничего. Ты сейчас никуда не уходишь?

— Нет.

— Тогда, на всякий случай, посиди рядом. Посмотри, что со мной будет. Только не дыши этим дымом. Это всё-таки яд...

— Хорошо. Только сначала скажи, зачем это тебе?

— Нужно кое-что проверить, — не отрываясь от своего странного занятия, он кивнул на раскрытые книги: — Вон, почитай!

На пожелтевших от времени страницах рукой Максима были подчеркнуты описания того, как ведьмы готовят из белладонны всякие зелья. Рядом сцена шабаша, где веселые ведьмы смолят листья белладонны и, наслаждаясь ядовитым смрадом, поют и пляшут вокруг костра.

Для начала Максим решил испробовать действие дыма белладонны на собственном опыте — до одурения, пока не свалился на койку. На следующий день он держался за голову, проклинал всех ведьм и нечистую силу, но, несмотря на это, аккуратно записывал свои ощущения в синюю папку. Дальнейшие колдовские зелья он проверял уже на подопытных заключенных.

— Всё это разные наркотики, — бормотал он. — Некоторым это даже нравится.

Научная работа Максима принимала всё более необычайные формы. Он получил специальное разрешение и, с помощью особой команды, начал зарывать заброшенные могилы на старых московских кладбищах; но не все подряд, а только те, которые его почему-то интересовали. Из каждой такой могилы он брал берцовую кость скелета и привязывал к ней ярлык. С надгробного памятника он списывал на этот ярлык имя, фамилию, возраст и дату смерти подопытного покойника. Затем эти кости поступали в химическую лабораторию НКВД.

Борис сидел за своим простреленным столом с поломанными ножками и зубрил законы высшей математики. А у соседнего окна, отделенный только обычно полуоткрытой дверью, сидел за своим столом старший брат и, как чернокнижник, занимался своими темными делами. То ли потому, что таким образом Борис был невольным свидетелем его занятий, то ли потому, что ему нужно было хоть с кем-нибудь делиться своими мыслями, но единственным, кого Максим немного посвящал в свои дела, был Борис.

— Эй ты, гробокопатель, — насмехался младший. — А зачем тебе скелеты понадобились?

— Просто я проверяю старое народное выражение — белая кость и голубая кровь, — невозмутимо отвечал старший.

— Как же это ты проверяешь?

— В буквальном смысле. Я вскрыл ряд могил старой родовой аристократии и столько же могил простых людей. Взял кости этих двух категорий, того же возраста, при всех остальных равных условиях, — и сравнил.

— Ну и что?

— Очень любопытные результаты. У родовой аристократии, по сравнению с простыми людьми, действительно, белая кость. И химический анализ показывает существенную разницу: нарушение фосфорно-кальциевого баланса.

— Что же это доказывает?

— Вероятно, в течение веков люди заметили эту разницу. Может быть, наблюдая кости на забытых полях сражений. Отсюда и пошло выражение — белая кость и голубая кровь.

— Но тебе-то это зачем?

— Нужно, — односложно отвечал уполномоченный НКВД.

За этими занятиями Максим даже потерял интерес к своему сынишке. Больше того, казалось, что он избегает видеть его, что ему не-

приятно это живое напоминание о мертвой красавице-жене. Он уже не брал его на руки, а только изредка останавливался около кроватки ребенка и задумчиво смотрел на него, словно и здесь изучая что-то, потом молча уходил и запирался в своей комнате. Теперь горячая душа Максима безраздельно принадлежала его загадочной научной работе. Затем он неожиданно заявил, что отправляет ребенка к родителям Ольги, которые жили в Дмитриево, неподалеку от Москвы.

— Зачем ты это делаешь, Максим? — удивленно спросила мать.

— Так будет лучше, — коротко ответил тот, избегая встречаться с матерью взглядом.

— Оставь его у нас, — вступился отец.

— Нет, завтра я отвезу его в Дмитриево.

— Но почему?

Старший брат нахмурился и сухо повторил:

— Так будет лучше.

3

Следующим номером программы была трехмесячная экспедиция, в которую отправился Максим. И не куда-нибудь в Крым или на Кавказ, а в самые гиблые места Северной Сибири и Заполярья. Экспедиция была организована НКВД. В ней принимали участие еще несколько ученых, которые имели какие-то частные задания, но командовал всем Максим. В распоряжение экспедиции предоставили самолеты полярной авиации НКВД, но к конечным пунктам назначения добираться пришлось с помощью местных проводников на оленьих упряжках. В сопровождении своих ученых ассистентов Максим обследовал заброшенные в глуши Заполярья, отрезанные от мира и недоступные даже для советской власти, стойбища кочевников, самоедов и тунгусов, ведущих почти первобытный образ жизни.

На память об этой экспедиции он привез с собой в Москву расшитую бусами оленью парку, мягкие самоедские пимы и коллекцию музейных предметов: расписанный яркими красками старый туземный бубен с медными побрякушками, выдолбленные из темного дерева диковинные фигурки уродливых самоедских идолов, нагрудную бронзовую бляху с таинственными знаками — символ власти шамана, а также целый ворох тяжелых ожерелий и браслетов из каких-то костяшек.

На оскаленных физиономиях божков засох слой темной грязи. Но именно с самым грязным, самым старым и уродливым идолом Максим обращался бережнее всего и относился к нему с видимым уважением.

— Ты хоть бы его помыл, — посоветовал Борис.

— Нельзя. В этом-то и его ценность.

— Почему?

— Это не грязь, а засохшая кровь. Во время жертвоприношений этих божков мажут кровью.

— Какой — оленьей?

— Да, теперь оленьей. Но этому идолу несколько сот лет, и химический анализ показал, что раньше его мазали человеческой кровью.

— Когда это было?

— Приблизительно в то же самое время, когда в Западной Евро-

пе жгли ведьм и колдунов. И один старый шаман рассказал мне одну интересную вещь, которую он слышал от своих предков. Оказывается, в жертву богам приносили человека по выбору шамана, и с теми же характерными признаками, по которым средневековая инквизиция определяла ведьм. Самоедские шаманы понятия не имели об инквизиции, но делали то же самое. Разве это не интересно?

— А-а, темные века, — пренебрежительно сказал Борис и взял в руки туземное ожерелье.

— Века эти не такие уж темные, если знать, в чем дело, — возразил уполномоченный советской инквизиции и насмешливо прищурился: — А ожерелье это, между прочим, тоже из человеческих костей.

Студент брезгливо швырнул необычное украшение:

— Тьфу, теперь руки мыть надо.

Максим невозмутимо пояснил:

— Это была главная регалия одного знаменитого шамана — кости его собственной прапрабабушки, которая тоже была шаманкой. Искусство колдовства часто передается у них из поколения в поколение. Считается, что в этих костях заложены колдовские силы. С определенной точки зрения — это правда.

— Какая ж правда?

— Колдовская . . . — неизвестно кому подмигнул Максим. — Когда я забрал у него эти кости, шаман так обозлился, что призвал на меня проклятие всех своих предков.

— Ну, раз ты веришь в колдовство, тогда ты должен остерегаться.

— Нет. Потому что я знаю это проклятье. Когда я поговорил с шаманом по душам, он сам убедился, что я колдун посильнее его. По этому поводу он даже устроил специальный праздник в честь «мудрого красного шамана». Мои профессора сидели у костра в качестве свидетелей и только хлопали глазами. Там я наблюдал шаманские пляски с бубном и припадками. Кстати, эти припадки часто фигурируют в протоколах инквизиции.

— Это что, эпилепсия?

— Нет, по средневековой терминологии — в человека вселился дьявол . . . Потом я выменял у этого шамана кости всех его остальных предков. — Максим кивнул в сторону ожерелий.

— Зачем они тебе?

— Кое-что проверить . . . с помощью спектроскопа, — опять уклонился от прямого ответа старший брат. — Знаешь, у тунгусов есть один оригинальный обычай. Проезжего путника угощают вовсю, а потом кладут спать с женой хозяина. Если гость отказывается, то для мужа это великое оскорбление, за это могут даже убить.

— Ну, а как ты, воспользовался этим?

— Нет. Чтобы понравиться гостю, тунгусские красавицы вместо воды моются рыбьим жиром. Можешь себе представить, какая от них вонь.

— Класть собственную жену с чужим дядей — забавный обычай.

— Не забавный, а очень даже умный.

— А если ребенок будет?

— Вот именно этого и хотят.

— Почему?

— Все дело в том, что в этих диких местах бывает один чужой путник раз в три года.

— Ну так что?

— Таким образом умышленно смешивают со свежей кровью. Вот что! Это же рекомендует и современная генетика. А тунгусы дошли до этого жизненным опытом.

— Это уж слишком того ... — усумнился студент.

Офицер НКВД, которого шаман признал за коллегу по профессии, загадочно усмехнулся:

— Этот интересный обычай введен шаманами, а им это подсказали бабушкины кости ... Кстати, сравнительный анализ гемоглобина и спектрограмм показал, что кости эти начинаются там, где кончились человеческие жертвоприношения. Понял?

Но Борис ничего не понял. Да его и не интересовали тайны сибирских шаманов, когда на носу экзамены по диалектическому материализму.

В своих изысканиях Максим метался в течение месяца упорного труда не только по всем векам человеческой цивилизации, но и по самым, казалось бы, несоответствующим закоулкам человеческой мысли. Вместе с тем, в этом хаосе чувствовалась какая-то определенная, известная только ему одному система. Вскоре после экспедиции к сибирским шаманам Борис обнаружил у него на столе малоизвестную книгу в Советском Союзе Сигизмунда Фрейда под таким названием: «Тотем и табу: аналогии между психической жизнью дикарей и невротиков». И опять — штемпель НКВД и пометки красным карандашом.

После Фрейда Максим снова принялся за книги о нечистой силе, на этот раз всё более концентрируясь на писаниях католических священников и отцов церкви. Убедившись, что большинство интересующих его книг написаны по-латыни, он занялся латинским языком и через некоторое время достаточно овладел им, чтобы читать со словарем. Теперь у него на столе красовались такие первоисточники по сатановедению, как Acontius — „Stratagemata Satanae", 1565; Nikolas Jacquerius — „Flagellum Daemonum Fascinariorum", 1458; Joannes Vinetus — „Tractatus contra daemonum inuocatores", 1450, и так далее, в таком же духе.

Штудируя средневековый трактат „Malleus Maleficarum", изданный неким Шпренгером в 1496 году в городе Нюрнберге, он усиленно черкал красным карандашом, одобрительно кивал головой и соглашался:

— Да, так и есть ... Правильно, товарищ инквизитор! Борька, знаешь, что такое по-латыни малеус малефикарум? Это «Молот ведьм» — руководство как раскалывать ведьм.

— Ты, мракобес, не мешай мне учить политэкономию, — звучало из соседней комнаты.

Наставления средневековых охотников за нечистой силой Максим изучал теперь с гораздо большим увлечением, чем в свое время первоисточники классиков марксизма-ленинизма. Перед сном, ложась в постель, он, чтобы отвлечься и отдохнуть, брал томик стихов Бодлера «Цветы зла», но и здесь опять что-то черкал и ехидно комментировал:

— Ага, тоже хвостом крутит... Сразу видно... Так, так, а у этой его квартеронки, на груди, значит, черная метка...

— Кого ты там за хвост ловишь? — спрашивал через дверь Борис.

— Дьявола, — отзывался Максим.

Младший подтрунивал:

— Когда поймаешь — покажи мне.

— Не только поймаю, но еще и покатаюсь, — невозмутимо отвечал старший.

Он много работал по ночам, часто до самого утра засиживаясь за своим столом, заваленным всякой чертовщиной. Вставал он поздно, с воспаленными глазами, безразлично проглатывал завтрак и сразу же опять принимался за свое занятие, которое теперь было единственным содержанием его жизни. Когда Борис как-то спросил старшего брата, почему тот работает по ночам, Максим криво усмехнулся:

— Так удобнее... в одну смену с чертями.

После самоубийства несчастной Ольги прошло почти два года. За все это время Максим ни разу не произнес имя жены, и чувствовалось, что он избегает всякого напоминания о ней, словно ему это неприятно. Вместе с тем, младший брат иногда замечал, как старший под утро беспокойно мечется во сне и сквозь стиснутые зубы шепчет в подушку:

— Оля... Ведь я так любил... Оленька... Зачем ты это...

Значит, он не забыл ее. Значит, не зажила рана в его сердце. Иногда Борису казалось, что увлечение Максима средневековой алхимией каким-то образом связано со смертью Ольги. В обрывках слов брата часто проскальзывали темные намеки на какие-то тайны жизни и смерти. Может быть, уполномоченный НКВД, ища забвения, пытается в глубине веков обрести потерянное счастье, найти философский камень мудрецов, источник жизни и смерти? Или, может быть, с упорством безумца он ищет мифическое средство, чтобы оживить любимого человека?

Почему вдруг Максим с серьезнейшим видом штудирует средневековую мистику, сочинения о спиритизме, медиумах и общении с потусторонним миром? Уж не собирается ли он таким образом вызвать бесплотный призрак своей мертвой красавицы-жены? Иногда Борису казалось, что брат страдает навязчивой идеей, что он просто помешался от горя. Но в остальном Максим вел себя совершенно нормально. Да и почему тогда НКВД субсидирует его сумасшедшую работу, предоставляет в его распоряжение профессоров и даже снаряжает специальную экспедицию к шаманам? Причем здесь анализы засохшей крови людей, когда-то принесенных в жертву языческим богам, и спектрограммы шаманских костей?

В Институте Борис проходил курс аналитической физики и сам занимался со спектроскопом, делая лабораторные анализы металлических сплавов. С помощью спектрограммы света звезды, невидимой простым глазом и удаленной от земли на сотни световых лет, можно узнать химический состав этой звезды. Но что можно узнать в старых костях шаманской прапрабабушки?

Очередным номером программы было увлечение следователя по делам нечистой силы православной верой, точнее, богословием. Он приказал своим помощникам достать ему хоть из-под земли самого

лучшего богослова, какой еще остался в живых в Советском Союзе. Сибирь — это склад всяких редкостей. Где-то, чуть поближе, чем шаманы, в одном из сибирских концлагерей разыскали бывшего члена Святейшего Синода и профессора богословия Высшей Духовной Академии — дряхлого старичка, мирно доживавшего свой век санитаром в концлагерном медпункте. Его вдруг помыли, переодели, посадили в в самолет и привезли в Москву.

Очутившись на Лубянке, старичок не ожидал ничего хорошего. Его провели к худощавому офицеру НКВД с тонкими холеными руками и глазами фанатика, смотрящими куда-то вдаль. Прежде всего, следователь учтиво извинился за обстановку, в которой им приходится беседовать. На столе лежала толстая кипа бумаг — протоколы всех допросов, которым священник подвергался за долгие годы мытарства по тюрьмам и концлагерям. Затем начался необычайный допрос. С карандашом в руке худощавый офицер листал протоколы и внимательно расспрашивал заключенного о всех следователях, которые допрашивали его раньше: как они вели себя во время следствия, били ли они его, пытали, ругали, унижали физически или духовно, как именно? Вдруг он взял карандаш, записал на листке бумаги имя одного из следователей и тихо произнес:

— В этом человеке сидит дьявол. Вы со мной согласны, профессор?

Старичок печально потупил глаза и молчал.

— Хорошо. Я понимаю ваше положение, — кивнул офицер. — Пойдемте дальше.

Он проверил еще несколько папок, остановился на одной и опять стал подробно расспрашивать о методах допроса другого следователя, входя в самые мельчайшие и, казалось бы, незначительные подробности. Затем посмотрел на своего собеседника:

— В протоколах об этом ничего не сказано. Но ведь это было? И, как вы видите, я знаю об этом! Что вы по этому поводу думаете, профессор?

Старичок болезненно поморщился:

— Я не хотел бы вспоминать . . .

— Тогда *я* скажу то, что *вы* не хотите сказать . . . В этом человеке тоже сидит дьявол, — офицер с глазами фанатика откинулся в кресле. — Всё это я говорю вам для того, чтобы вы поняли, *что* именно меня интересует, с какой точки зрения это меня интересует, и чтобы вы помогли мне разобраться в этом.

Старичок растерянно заморгал глазами, в них вспыхнул огонек изумления, смешанного с недоверием:

— Это слишком необычайно . . . Я не понимаю, зачем это вам . . .

Тонкие пальцы офицера постукивали по столу:

— Профессор, долг богослова заключается в том, чтобы толковать слово Божие тем, кто ищет этого . . . Ведь именно об этом я вас и прошу: объяснить мне некоторые места Священного писания . . .

— Да, но об этом говорится только описательно . . .

— Вот потому я и хочу, чтобы вы разъяснили мне, *что* под этим подразумевается, — спокойно повторил офицер.

Его интересовало библейское толкование Бога и дьявола, все ме-

ста Библии, где упоминался дьявол, и его разногласия с Богом. Что такое дьявол: падший ангел — почему? Нечистый дух — почему? Князь тьмы — почему? Он учитывал даже такие технические детали, как особенности древнееврейского языка, на котором писались книги Завета, языка, в котором нет многих понятий, привычных для нас сейчас.

К своему глубочайшему недоумению в худощавом офицере НКВД профессор богословия нашел примерного ученика, с великолепной предварительной подготовкой, глубокой эрудицией и, главное, искренним желанием вникнуть в суть предмета. Одно только было плохо: интересы у нового адепта православия казались несколько односторонними. Когда профессор увлекался, говоря о Боге, ученик вежливо прерывал его:

— Простите, профессор, Бог интересует меня только как антитеза дьявола. Нельзя ли ближе к теме...

Старичок укоризненно тряс седой бородой, воздевал руки к потолку и мягко поучал:

— Молодой человек, дух дьявольский есть отрицание духа Божественного. Не зная, что отрицать, не зная начала, вы не поймете конца.

— Да, вы правы, — соглашался офицер. — Итак, дух это вектор мыслящей субстанции. Прошу вас продолжать.

В результате на книжной полке Максима появилась толстая Библия в черном кожаном переплете, с многочисленными цветными закладками и пометками. Когда консультации по богословию закончились, профессора не отправили назад в Сибирь, а отпустили на волю. Он понял, что это — плата за учебу его необычайного ученика.

Покончив с грешниками, Максим принялся за праведников. Он изучал историю возникновения монашеских орденов, сочинения современников о суде над Жанной д'Арк и Жития святых. Перед сном он зачем-то перечитывал роман Флобера «Саламбо», который он читал в юношестве, историю загадочной жрицы лунной богини Танит, и, вместе с тем, не менее внимательно пробегал глазами какие-то дешевые книжонки, даже без указания автора, вроде «Дневника сестры Анжелики», где якобы описывались пикантные тайны из жизни за монастырской стеной. После этого он возвращался к папским эдиктам, касавшимся охоты на ведьм, и одобрительно бурчал:

— Умный старик, этот товарищ папа... Следовательно, для грешников на выбор — костер или монастырь...

— Что такое? — вопрошал из-за двери Борис и получал обычный ответ:

— Тебя это не касается.

Увлечение Житиями святых не помешало Максиму заняться раскопками на монастырских кладбищах. С останками праведников он проделал ту же серию экспериментов, что и с белыми костями старой аристократии. Получив результаты лабораторных анализов, он сидел за столом и подводил баланс. Младший брат поднимал голову от учебника по термодинамике и, чтобы развлечься, посмеивался:

— Эй, звездочет, а мощи тебе зачем понадобились?

Старший, как и положено чернокнижникам, давал ответ неясный и расплывчатый:

— Гони черта в двери, он придет в окно — в образе праведника. Скажи, почему люди идут в монастырь?

— Значит, так им нравится.

— Не-ет. От добра добра не ищут. От хорошей жизни никто в монастырь не пойдет.

— А почему же?

Максим медлил, подбирая слова:

— Это большой подвиг. Подвижничество настоящих праведников заключается в том, что они преодолели грешную плоть, устояли перед дьяволом с его искушениями и смирились перед Богом.

Он говорил это так серьезно, что Борис едва удерживался от смеха:

— А тебя дьявол искушал?

— Нет. Дьявол искушает только грешную плоть.

— Но тогда мы все грешники.

— Нет. Некоторые вещи нужно понимать не в переносном смысле, а в совершенно прямом смысле, как они понимались раньше. В этом-то и весь секрет.

— Как так?

— Все дело в том, что во времена крещения Руси, в X веке, русское слово грех произошло от слова грек.

— А причем здесь греки?

— Потому что они были язычниками. Понял?

— Ничего не понял, — признался младший.

Тогда старший криво усмехнулся:

— А слово язычник знаешь откуда произошло?

— Откуда?

— Для этого нужно знать историю древних культов, этимологию и еще кое-что, — вместо ответа старший через плечо ткнул пальцем в направлении своей библиотеки. — Впрочем, чем загадка проще, тем ее трудней отгадать. На этом принципе построены армянские загадки.

За туманными речами и намеками Максима проскальзывало что-то совершенно определенное, что он знал, но до конца никогда не договаривал. Это было тем более странно, поскольку, вообще, он очень любил похвастать своими знаниями. Если он молчал, значит у него была серьезная причина хранить эту тайну. Однажды, когда ему слишком уж надоели иронические реплики Бориса, он неохотно сказал:

— Ты про Троянскую войну слышал? Так вот, археологи уже давно разыскивали остатки Трои и никак не могли найти. Тогда одному археологу-любителю пришла в голову простая мысль: для раскопок воспользоваться описаниями Троянской войны в «Илиаде» у Гомера. И что же? Так он нашел остатки сожженной Трои! В Библии упоминаются некоторые города, от которых теперь не осталось и следа. Пользуясь Библией, стали копать в голой пустыне, и нашли эти города, — он устало потянулся, как археолог после раскопок. — Так вот и я нашел в старых книгах ... некоторые забытые истины.

Вместо Трои Максим вскоре снарядил вторую научную экспеди-

цию — в Республику немцев Поволжья, в немецкие колонии вокруг Одессы, существующие со времен Петра Великого, и, наконец, в какие-то дикие аулы, затерявшиеся в горах Кавказа. Что искал он там по следам Прометея? — Неизвестно.

На этом следователь по делам нечистой силы поставил точку. После двух лет загадочной научно-исследовательской работы он защитил свою диссертацию. Когда Борис, частью из вежливости, частью из любопытства, выразил желание пойти послушать эту процедуру, Максим отрицательно покачал головой:

— Нельзя. Это спецпроект и защита закрытая.

Для кандидатской диссертации обычно полагается триста страниц. Вместо этого Максим представил три толстых тома, где одна библиография источников занимала более пятидесяти страниц. И вместо кандидата наук, — в порядке редкого исключения, что делается только в случае каких-либо необычайных заслуг, — сразу получил высшую ученую степень доктора философии и социологии.

Для больших открытий, как правило, необходимы два условия. Первое — чрезвычайная, сверхчеловеческая концентрация на данном предмете. И второе — способность найти за частностями закономерность и сделать из этого практический вывод.

Смерть любимого человека так подействовала на Максима, дала ему такой толчок, так сконцентрировала его на какой-то только ему одному известной цели, что ради этого он забыл обо всем остальном на свете. В поисках ответа он перебрал все частности, перерыл всю сокровищницу человеческой мысли от Библии до Фрейда, всю историю человеческой цивилизации от первобытных тунгусов, с их шаманами, до бренных останков утонченной аристократии, и он нашел какую-то закономерность. Причем, что-то важное. Иначе ему не дали бы так сразу степень доктора.

Мельком Максим заметил, что его работой заинтересовался сам Сталин. Какой практический вывод сделал для советской власти доктор философии Руднев из своего увлечения средневековой алхимией — научился он делать золото из свинца? Или открыл секрет материализации духов? Ведь в это же самое время и Адольф Гитлер тоже субсидировал подобные начинания.

— Макс, что ты там изобрел? — спросил Борис.

— Формула дьявола, — ответил тот и даже не улыбнулся.

Так или иначе, с этого момента доктор Руднев стал делать головокружительную карьеру, о которой он раньше и мечтать не мог. Вместе с докторской степенью он получил чин полковника НКВД. Через полгода у него на груди появился первый орден, и не какой-нибудь «так себе», а сразу орден Ленина — высшая награда Советского Союза. В «Правде» стояло коротко: «... за выполнение специальных заданий Партии и правительства». Теперь Максим шагал семимильными шагами. Но поразительнее всего было то, что ко всем этим почестям он относился с абсолютным безразличием.

Свою подозрительную библиотеку, собранную за время ночных бдений, в одну смену с чертями, Максим перевез к себе на службу. Теперь он в качестве профессора руководил каким-то засекреченным научно-исследовательским Институтом НКВД, где у всех научных

сотрудников из-под белых халатов, как хвост у черта, выглядывали малиновые петлицы НКВД. Одновременно Максим был начальником какого-то оперативного отдела НКВД, где теоретическая работа Института находила свое практическое применение.

— Что это у тебя за отдел? — полюбопытствовал Борис.

— Тринадцатый, — ответил Максим.

— Это по каким делам?

— По нечистой силе. Потому он и тринадцатый.

— Врешь.

Максим вынул из стола служебный бланк. Там, действительно, стояло: «13-ый отдел Главного управления НКВД СССР». Борис пренебрежительно махнул рукой и пошел заниматься своими делами. Всё равно от Максима ничего путного не добьёшься.

Потом... Потом доктор, профессор и полковник НКВД вдруг запил горькую. Раньше он никогда не злоупотреблял алкоголем, теперь он пил как самый последний алкоголик — в одиночку. Он запирался у себя в комнате, напивался до одурения, затем начинал разговаривать сам с собой. Или, может быть, он беседовал с привидениями, про которые начитался в своих средневековых трактатах о нечистой силе?..

Занявшись алхимией, Максим попутно коллекционировал соответствующие этому ремеслу предметы. Так, он приобрел где-то оригинальный кубок: немецкой работы тех времен, когда в Германии охотились за ведьмами, из тонкого, раскрашенного от руки матового фарфора. Это была мастерская имитация человеческого черепа. Немецкий мастер так постарался и достиг такого сходства с оригиналом, что это произведение искусства было даже неприятно брать в руки. Максим же сидел и пил из этого кубка водку.

Как-то, проходя в свою комнату, Борис укоризненно сказал:

— Макс, зачем ты пьешь?

— Зачем? — полковник медленно поднял голову и посмотрел на брата мутными глазами. — Так, поговорить надо...

— С кем?

— С тем, чего не могут вернуть даже боги... С собственным прошлым... Которому я обязан своим настоящим...

— Зачем тебе это?

— Зачем?.. Душу облегчить... Впрочем, ты, безбожник, в этом ничего не понимаешь..

— Пойдем лучше в воскресенье рыбу ловить? — предложил безбожник.

— Воскресение... Это реинкарнация души... Перевоплощение души страданием, как говорил Достоевский, — в углах рта Максима скользнула презрительная усмешка. — Нет, теперь я другую рыбу ловлю... Впрочем, тоже рыбья кровь...

— Что, людей мордуешь? Эх, ты...

В голосе младшего звучала неприязнь. Старший нахмурился:

— Ничего ты не понимаешь... и не поймешь...

— И так всё ясно. Потому ты и запил.

— Весь вопрос в том... люди это или не люди... Вот почему я пью...

— А кто же это?

— Ты, Бобка, меня ничего не спрашивай, — полковник страдальчески поморщился, словно у него болела голова. — А если я тебе и скажу... так ты этому не верь... и никому это не рассказывай...

— Да ты все равно ничего умного и не скажешь, — согласился младший.

Старший качался на стуле и бормотал себе под нос:

— Да, правильно... Ты, Бобка, счастливое животное, млекопитающее, гомо сапиенс... мезоморфного типа... А ведь, собственно говоря, хотя ты ничего не понимаешь... ведь это тебя нужно благодарить.

—За что?

— За это! — Максим ткнул себя пальцем в грудь, где у него поблескивал орден Ленина. — Да, за это самое... Вот видишь, я тебе говорю, а ты ничего не понимаешь...

Он тяжело оперся локтями о стол и отхлебнул водки из своего мерзопакостного кубка:

— Ладно, так и быть, открою тебе тайну... Хочешь?

— Ты лучше меньше пей, а то нос красный будет.

— Я тебе серьезно говорю, и ты не смейся... Только сначала сядь, не стой у меня над душой... Это большая тайна.

Борис сел. Полковник понизил голос, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает его тайну:

— Так слушай... Вот ты, безбожник, думаешь, что чертей нет... А я вот тебе скажу, что черти есть!

— Так все пьяницы говорят. Когда перепьются до чертиков.

— Дурак, — беззлобно сказал полковник госбезопасности. — Черти есть... И оборотни есть, и лешие... А ведьмы и ведьмаки — так на каждом шагу... Каждый день с ними дело имею...

— Понятно, если ты каждый день пьешь, — скептически заметил младший.

— Не веришь? — старший пошатываясь встал, взял с полки какую-то толстую книжку, утыканную разноцветными закладками, по этим закладкам нашел нужное место и стал медленно и торжественно читать:

«... Ведьмы и ведьмаки — это порождение зла, социальная зараза и паразиты, поклонники отвратных и непристойных убеждений, приверженцы яда, шантажа и других ползучих преступлений... Ведьмы и ведьмаки поднимают ссоры, ревность, споры, сердечные разногласия... Их пагубная деятельность простирается от семейных неприятностей и столкновений, в отдельности, может быть, и незначительных, но в целом чрезвычайно неприятных и мучительных, до самых серьезных преступлений, ... гибели имущества, внезапной болезни и гложущей смерти, и, наконец...»

Здесь полковник НКВД, специализировавшийся по нечистой силе, многозначительно поднял палец:

— Обрати внимание... «и, наконец, до столкновения наций, анархии и красной революции, поскольку ведовство всегда было и будет политическим фактором... В результате ведьмы и ведьмаки

являются постоянной опасностью для всякого упорядоченного общества». Знаешь, кто это сказал?

— Кто?

— Это сказал сам папа Иннокентий VIII, — с глубоким уважением произнес советский доктор философии, как ученик, говорящий о своем наставнике. — Это написано в его знаменитой булле от 1484 года! И я подпишусь под каждым его словом!

— Мало ли какие глупости пишут, — возразил Борис. — Бумага всё терпит.

— Нет, это не глупости, — Максим любовно погладил рукой переплет книги. — Это «История ведовства и демонологии» Монтегю Саммерса... из сугубо научной серии «История цивилизации»... Саммерс — ученый теолог, а книга эта издана в Лондоне в 1926 году... Так что это вещь серьезная и современная... Надо только понимать, что под этим подразумевается...

— Эх, ты, мракобес, — сказал Борис. — И за что только тебе доктора дали?..

— Вот за это самое, — с точки зрения исторического материализма.

— Значит, квалификационная комиссия тоже пьяная была?

— Никакой комиссии не было, — ученик папы Иннокентия VIII бросил книгу на место. — Мне доктора сам Сталин дал...

— Врешь ты, — сказал младший.

Старший сделал большой глоток из своего отвратного кубка-черепа, мотнул головой. Навалившись грудью на стол, он тупо уставился в кубок, словно рассматривая что-то на дне человеческого черепа:

— Всё очень просто... Я р-разбил свою диссертацию на несколько независимых частей — по истор-рии, по антро-пологии, по психологии и еще некоторым специальным предметам... Каждая часть была аннотирована лучшими специалистами Советского Союза в данной области... Каждая часть в отдельности, сама по себе, ничего особенного не говорит... Но когда сложить все части вместе, то получается то, что говорил папа Иннокентий — нечистая сила как политический фактор... Всё подписано академиками, но *как* это сложить — знаю только я... Да еще товарищ сатана...

— Ну и что толку, что ты знаешь?

— Как что? Эти черти — есть социальная зар-раза, пар-разиты... Опасность для всякого упорядоченного общества... А раз так, то это уже дело НКВД...

Полковник государственной безопасности оживился и взволнованно оседлал стул, будто он сел верхом на сатану:

— Я Сталину говорю: «Смотрите, Иосиф Виссарионович, это источник анархии и р-революции...» Он не верит. Тогда я беру мои материалы, складываю две разных части, и на основании документальных фактов, подтвержденных академиками, доказываю, как нечистая сила сначала способствовала анархии в царское время, а потом участвовала в Октябрьской социалистической революции... Всё в точности, с именами, с фамилиями...

— И с адресами? — насмешливо вставил Борис.

— Конечно, — увлекшись, продолжал ученик папы Иннокентия. — Сталин сначала обозлился, а я ему говорю: «Минуточку, Иосиф Виссарионович ... Всё дело в одном слове ... Это — опасность для вся-ко-го упорядоченного общества ... Понимаете, вся-ко-го! Так что если вы считаете советскую власть упорядоченным обществом, то теперь эта нечистая сила будет заниматься контрреволюцией ...» И вот тут-то он призадумался ...

Максим приложился к своему сосуду с водкой и икнул:

— После этого Сталин назначил меня ... ик-к ... особоуполномоченным по делам нечистой силы ... ик-к ... в составе Народного Комиссариата Внутренних Дел ... по всему Союзу Советских Социалистических Республик. Понял?

Затем он махнул рукой:

— Только ты, Бобка, никому этого не говори ... А теперь, знаешь что... положи-ка меня в постель и сними сапоги...

— И не подумаю.

— Почему?

— Раз напился до чертиков, так пусть они тебе и сапоги снимают.

Про себя Борис решил, что брат всё-таки помешался. Однако, умопомешательство Максима, казалось, помогало его карьере. Вскоре он получил звание комиссара госбезопасности 3-го ранга и первую генеральскую звездочку на малиновых петлицах. Но его самого это нисколько не радовало, словно в обмен на карьеру он променял свою душу дьяволу, как это описывалось в книжках, которые он так тщательно штудировал. Теперь он выпивал даже на службе и редко приходил домой трезвый.

В один из таких трезвых моментов Борис спросил:

— Ну, комиссар, как твои черти поживают?

— Какие черти? — насторожился Максим.

— Про которых ты рассказывал, — напомнил младший.

Старший сделал вид, что он ничего не помнит, рассеянно погладил рукой подбородок:

— Ах, да ... Слушай, никогда, нигде и никому не повторяй то, что я болтаю тебе пьяный. Запомни это! — он уткнулся в газету, давая понять, что разговор исчерпан.

На следующий вечер он опять явился домой пошатываясь и, даже не поужинав, сразу взялся за свой символический, но малоаппетитный сосуд забвения. Когда-то современники Атиллы, перебив своих врагов, делали из их черепов кубки для питья. Теперь же Максима почему-то тянуло по стопам варваров. Борис старался не трогать его, но, накачавшись до определенного градуса, тот начал сам:

— Бобка, что ты там делаешь?

— Занимаюсь.

— Ч-чем?

— Технологией.

— А знаешь что, Бобка ...

— Не знаю и знать не хочу.

Но Максим продолжал бормотать:

— З-знаешь, у д-древних скифов был т-такой обычай ... К-когда умирала жена вождя, е-ей устраивали пышные, р-роскошные, заме-

чательные похороны... и з-заодно убивали всех ее подруг... Э-это для того, чтобы ей на том свете не скучно было... Х-хороший обычай, а-а?

Борис занимался своей технологией и не отвечал. Обиженный таким невниманием, комиссар госбезопасности угрюмо сообщил:

— С-сегодня я подписал путевку на т-тот свет... еще нескольким п-подругам.

— Каким? — не удержался Борис.

— Ж-жены вождя...

— У тебя бред, — сказал младший. — Иди лучше спать.

Старший упрямо мотнул головой и понес такую чушь, что Борису стало даже немного жутко.

Это был 1939 год. После великих чисток середины тридцатых годов, когда по приказу Сталина НКВД ежевыми рукавицами перемололо несметное число человеческих жизней, наконец, дошла очередь и до самого НКВД. Сделав дело, Сталин прятал концы в воду: под видом чистки НКВД он убирал свидетелей. Первым бесследно исчез сам железный нарком Ежов, а за ним большие и маленькие начальники, особенно отличившиеся под его руководством. На рукавах работников НКВД красовалась вышитая эмблема — змея и мечь. Теперь эта змея кусала себя за хвост. Вот в этой-то чистке чистилища НКВД, якобы, если верить Максиму, и заключалось первое практическое применение его научной работы о нечистой силе.

Он сидел в распущенной гимнастерке, без пояса, со змеей и мечом на рукаве, с генеральскими звездами и остекленевшими глазами, раскачивался из стороны в сторону и бредил:

— К-как правильно сказал папа Иннокентий, в-ведьмы и в-ведьмаки всегда делают людям зло... Единственное, что их удерживает, э-это боязнь наказания... А где они могут делать з-зло безнаказанно?.. К-конечно, в НКВД... П-потому эти ч-черти первым делом в НКВД полезли... Но теперь Сталин приказал мне загнать их всех назад... п-по месту назначения... то есть в ад...

Из пьяного полубезумного бормотания брата Борис понял, что Максим пачками расстреливает бывших сотрудников НКВД, сделавших себе карьеру во времена Ежова. Максим же, ликвидируя своих предшественников, делал себе карьеру во времена Берии. Одно только было странно. Когда он говорил о следователях-женщинах, отличавшихся в НКВД особенной утонченной жестокостью, которые, мучая беспомощную жертву на допросах, в своей изощренной изобретательности превосходили любого следователя-мужчину, тогда в его голосе слышалась какая-то непонятная болезненная ненависть, в углах рта дергалась нервная жилка, а воспаленные от ночной работы и алкоголя глаза по-звериному щурились, словно он видел перед собой своего заклятого врага. Их он называл не иначе, как ведьмами.

— В-взял я это ч-чертово семя под микроскоп, — бормотал он, — и ч-что ж я вижу... в-всё это самые чистокровные ведьмы...

— Это тебе с пьяных глаз померещилось, — возразил Борис.

— Н-нет, с-самые что ни на есть... разнастоящие в-ведьмы... Те с-самые, которых в доброе старое время... ж-жгли на кострах... А б-братья-славяне делали так: з-зашивали в мешок — и в р-речку...

И генерал-инквизитор Народного Комиссариата Внутренних Дел, особоуполномоченный по делам всей нечистой силы во всем Союзе Советских Социалистических Республик, принялся расхваливать заслуги средневековой инквизиции, которая-де охраняла людей от козней ведьм и колдунов. По его словам инквизиторы были большими умницами, философами и гуманистами. Так, поймав ведьму, инквизиторы осуждали не ее тело, а только лишь ее душу, подписавшую договор с дьяволом. Вот эту-то грешную душу инквизиторы, будучи христианами и не желая проливать крови, и приговаривали к так называемой бескровной смерти, то есть жгли на костре, топили в воде или вешали в воздухе. Но поскольку душу от тела не отделишь, то вместе с грешной душой поневоле ликвидировали и послушную ей плоть.

Однако, симпатии Бориса были явно на стороне ведьм. Женщины-следователи это, конечно, дрянь, да. Не женское это занятие. Но причем здесь бедные невинные женщины, которых жгли, как ведьм, жертвы средневековых суеверий, о которых написано столько хороших романов? . .

— Инквизиция, темные века, — неодобрительно сказал он. — Тоже мне, инквизитор нашелся.

— Ч-что ты, мальчишка, п-понимаешь . . . — устало и как-то грустно покачал головой генерал-инквизитор. — Ч-чтобы знать нечистую силу . . . с-сначала нужно самому изведать, ч-что такое ад . . .

— А ты уже и в аду побывал? — усмехнулся Борис.

— Р-разве ты этого не видел? — тихо сказал Максим. — Ведь это тебя Бог послал . . . к-когда ты вынул у меня из рук пистолет . . .

Младший перестал улыбаться:

— Ну и что?

— Что? . . С тех пор у меня с этими . . . с ними личные счеты . . . П-понимаешь, личные . . . Такие вещи смываются только кровью . . . К-как говорится в Старом Завете — око за око, зуб за зуб . . .

Так Максим сидел и бредил, что он имеет от Сталина полномочия очистить НКВД от социально-вредного элемента в форме ведьм и колдунов, прельстившихся в НКВД возможностью делать людям зло безнаказанно. Но этого мало. Он утверждал, что затем Сталин поручил ему ликвидировать или взять под контроль всю нечистую силу в Советском Союзе. И, наконец, он заявил, что председатель Верховного Совета Калинин по этому поводу подписал специальный указ, и что теперь он, Максим, отправляет в концлагеря всех оборотней и леших, всех ведьм и ведьмаков, всех чертей и чертовок, всю нечисть, какая только есть в Советском Союзе.

Потом генерал-инквизитор начал грязно ругаться. Глазами безумца он смотрел в пустое окно и перебирал все самые затейливые и отвратительнейшие ругательства с таким искренним чувством, с таким выражением в голосе, словно в этих бессмысленных ругательствах был какой-то тайный смысл. И всё это опять по адресу тех же злосчастных ведьм и ведьмаков, с которыми он теперь якобы сводит какие-то личные счеты.

Весной 1940 года от родителей Ольги из Дмитриево пришло письмо, в котором они с прискорбием сообщали, что маленький сынишка

Максима заболел воспалением легких и умер. Узнав печальную новость мать запричитала:

— Вот же беда! Ведь такой хороший ребенок был, такой здоровенький.

Максим хмурился и молчал.

— Ты на похороны поедешь? — спросила она.

— Нет.

— Неужели тебе не жалко твоего собственного ребенка!?

— Конечно, жалко, — горько сказал Максим. — Но так лучше...

— Что лучше?

— То, что он умер ребенком.

— Максим, как тебе не стыдно! — воскликнула мать.

— Из этого ребенка вырос бы урод, — тяжело вздохнул генерал и закрыл рукою глаза. — Уже при рождении он был обречен на смерть... Так лучше для него и для всех...

4

Над Москвой, как облака, проходили большие и малые события, а доктор философии, профессор социологии и генерал госбезопасности Максим Руднев все воевал с нечистой силой. Его научно-исследовательский Институт, где решались какие-то специальные проблемы, разрастался всё больше и больше. Одного только не хватало Максиму — простой человеческой радости. Его мрачное занятие наложило на него свой отпечаток. Он как-то высох, вытянулся, держался подчеркнуто прямо, между бровями залегла суровая складка, на висках рано появилась первая седина. Это был уже не прежний Максим, любивший беззаботно шевелить ушами, а беспощадный аскет-инквизитор, одержимый своей навязчивой идеей ликвидировать дьявола, как классового врага.

22 июня 1941 года началась война. Танковые дивизии Гитлера рвались вглубь Советского Союза. Империя Сталина стояла на краю гибели. В эти тревожные дни научные сотрудники Института профессора Руднева получили новые инструкции. Одни из них, специалисты-историки, лихорадочно разбирали какие-то тайные государственные архивы и рылись в кипах запрещенных или изъятых книг дореволюционных изданий. Другие, специалисты-психологи, таскали в НКВД каких-то дряхлых старичков и старушек, имена которых упоминались в связи с архивами, и допрашивали их, стуча по столу пистолетами. Они интересовались столь необычайными вещами, что полуживые от страха старички и старушки после допросов только крестились, недоумевая, как это загадочные следователи в белых халатах умеют читать в душах людей. Ученики профессора Руднева знали свое дело. Они откуда-то знали даже о тех мелких грехах, в которых престарелые грешники не признавались ни на одной исповеди и надеялись, что унесут эти тайны с собой в могилу. Но больше всего следователи интересовались всякими деталями из жизни покойников.

— Зачем это вам? — робко протестовал грешник. — Ведь эти люди уже давно умерли!

— Это нужно для спасения родины, — настаивал инквизитор в белом халате.

— Но ведь это был просто литературный кружок, новое течение в искусстве...

— А спиритизмом они занимались?

— Да, но это было просто так, баловство...

— Мы лучше знаем, что это такое, — сухо прерывал следователь. — Подпишите расписку о неразглашении военной тайны.

С первого дня войны Максим бросил пить так же внезапно, как и начал. Зато по вечерам, когда над Москвой трещали зенитки, он вдруг стал увлекаться поэзией. Причем, читал он самые неподходящие к военной обстановке заумные стихи французских символистов и не менее крученые упадочнические произведения русских декадентов, которые, как грибы-поганки, наводнили русскую литературу перед первой мировой войной, закончившейся революцией. Или из вечера в вечер он сидел и, опустив голову, задумчиво слушал одну и ту же пластинку, увертюру Чайковского «1812 год», эпопею о нашествии Наполеона на Россию.

Гений великого композитора воплотил в музыке тяжелую поступь гренадеров французского императора, когда он приближался к Москве. Плывут утренние туманы над спящим Бородинским полем в последнюю ночь перед сражением. Поют трубы горнистов и будят полки к бою не на жизнь, а на смерть. Гремят барабаны наступающих гренадеров Наполеона, и навстречу им тяжело ухают русские пушечные редуты. Пылает оставленная Москва, подожженная руками русских мужиков. Скрестив руки на груди, угрюмо Наполеон смотрит на пылающую российскую столицу.

В один из ноябрьских вечеров, когда немцы уже стояли на подступах к Москве, Максим опять сидел со сборником стихов каких-то заумных поэтов-футуристов под многообещающим заголовком «Мозговой разжиж». Но он не читал, а закрыв глаза, слушал ту же увертюру Чайковского. Когда, призывая к бою, на Бородинском поле запели трубы горнистов, он рывком встал и громко, словно разговаривая с гением композитора, произнес:

— Хорошо, Петр Ильич, вы меня убедили... Попробуем! — он хлопнул ладонью по кобуре пистолета.

— Что такое? — отозвался из своей комнаты Борис.

Засунув руки в карманы галифе, генерал госбезопасности, теперь уже в трезвом виде, снова начал бредить:

— Дело в том, что бороться с дьяволом бесполезно...

— Неужели? — своим обычным насмешливым тоном сказал младший. — Значит, не справился ты с заданием партии и правительства?

— Да... Пока есть жизнь — будет и смерть... А пока есть смерть — будет и дьявол...

Студент-безбожник посочувствовал:

— Значит, генерал, закрывай инквизицию и записывайся в монастырь.

— Совершенно правильно... К такому же выводу со временем пришли отцы церкви... Но если дьявола нельзя ликвидировать, так я заставлю его служить, я отправлю его на фронт... Он будет у меня на задних лапках ходить!

— О-о, вот это интересно!

— Да, попробуем! — воскликнул генерал-инквизитор, как всегда глядя куда-то вдаль. — По всем данным в Советском Союзе должно быть не меньше одного миллиона всяких чертей. У меня уже имеются тысячи первоклассных оборотней, где ни один человек не догадается, что они из себя представляют. А какие замечательные ведьмочки, умницы, красавицы, — чер-рт бы их всех побрал! А сколько всяких ведьмаков, уйма! Вместо того, чтобы сажать их в концлагеря, я пущу всю эту гоп-компанию на Гитлера.

— Что же они будут делать? — спросил Борис.

— Что? Они привыкли всю жизнь скрываться, двуличничать, маскироваться, лгать. Из них будут великолепные шпионы, убийцы, диверсанты, саботажники, пятая колонна. Я заставлю их защищать родину!

Генерал-инквизитор пожевал губами и сквозь зубы процедил:

— И потом... всё-таки это люди...

Неизвестно, как воевала нечистая сила профессора Руднева, но, видимо, вполне успешно, если судить по тем орденам, которые появлялись на его груди. Через год, вернувшись из тайной инспекционной поездки по тылам немецкой армии, где генерал дьявола проверял работу своей нечистой силы, он получил высшее военное отличие — золотую звезду Героя Советского Союза.

В разгаре войны Борис окончил Индустриальный Институт, засунул свой диплом инженера в ящик стола и сразу же ушел на фронт. После войны он не вернулся в Москву, а остался служить в оккупационных войсках в Германии. Затем судьба забросила его еще дальше на запад.

В Москву он приезжал изредка, раз в несколько лет, да и то лишь на короткое время, чтобы получить новое назначение за границу. После войны это было нетрудно. Советская империя разрослась, и требовалась целая армия советских работников за границей, чтобы поддерживать эту империю. Борис работал в системе Агитпропа ЦК партии. Получилось это в результате ряда случайностей. Ведь вся человеческая жизнь складывается из случайностей. Так, случайно старший брат вместо преподавателя истории оказался генералом МВД, а младший — вместо инженера-механика стал инженером человеческих душ.

Когда Борис служил в Берлине, тихо умерли родители, единственное, что связывало братьев. Позже, когда Борис бывал в Москве, он, сам не зная почему, избегал встречаться с Максимом и даже никому не говорил, что у него есть брат — генерал МВД. Темные дела и странное поведение Максима будили в нем неприязнь. Может быть, в глубине души он всё-таки считал его помешанным. Так или иначе, он обращался к генералу только тогда, когда в этом была необходимость. Максим же, оставшись один на всем белом свете, чувствовал это и болезненно обижался на холодное отношение своего единственного брата.

Научно-исследовательский Институт профессора Руднева превратился в крупное учреждение, помещавшееся в отдельном новом доме на берегу Москва-реки. Но на дверях этого дома не было никакой надписи, а все научные сотрудники этого учреждения под белыми халатами по-прежнему носили форму МВД. Теперь они следили за деятельностью дьявола во всем мире. Того самого дьявола, за которым когда-то охотилась средневековая инквизиция и которого профессор Руднев поставил на службу советской власти.

В 1952 году Максим Руднев получил третью генеральскую звезду и назначение одним из заместителей министра Внутренних Дел Советского Союза. Теперь левша Максим мог уничтожить каждого одним росчерком пера, одной левой рукой.

Так исполнилось его детское желание, когда он просил Бога сделать его большим и сильным.

Проф. М. Новиков

Первые шаги в эмиграции

В большинстве описаний русской эмиграции изображаются ужасы бегства, трудности устройства и бедственные условия жизни в чужой стране, опасности репатриации и прочее. Для полноты исторической картины я хочу поведать о своем отъезде из России и о первых шагах в эмиграции, которые протекали, наоборот, в исключительно благоприятной обстановке, несмотря на то, или, может быть, благодаря тому, что мои коллеги и я были подвергнуты насильственному изгнанию из пределов родной земли.

Неожиданным и непонятным актом в политике советской диктатуры явилась высылка в конце 1922 года за границу трех групп ученых и общественных деятелей из Москвы, Петрограда и Одессы. Эта мера, хотя и проведенная на фоне сравнительно гуманного нэпа, была столь необычной, что породила всевозможные кривотолки о причинах, ее вызвавших. Высказывалось, между прочим, соображение о том, что большевики подобрали для высылки такой состав представителей интеллигенции, который мог бы внести разложение в русскую эмигрантскую среду. Говорили даже о том, что некоторым из них советская власть якобы дала соответствующие поручения. Такую нелепую и для высланных лиц глубоко оскорбительную сплетню необходимо самым решительным образом опровергнуть. Это не трудно. Достаточно лишь просмотреть список подвергшихся высылке. В моей памяти наиболее отчетливо сохранились имена моих московских спутников. Всё это были люди безукоризненной политической репутации, почтенные и заслуженные представители различных областей знания.

Большинство имен относится к области гуманитарных наук, в особенности философии, столь ненавидимой большевиками. Были высланы: философы Бердяев, Франк, Карсавин, И. А. Ильин, Вышеславцев; историк Кизеветтер; экономист А. А. Чупров; представители других гуманитарных наук — кн. Трубецкой, Абрикосов, Кузьмин-Караваев; профессора естествознания и техники — Зворыкин, В. В. Стратонов, Ясинский; председатель Московского Сельскохозяйственного общества А. И. Угрюмов; кооператоры Изюмов и Озерецковский.

Автор помещаемых ниже воспоминаний — последний свободно избранный ректор Московского Университета. — Ред.

Члены группы, ныне почти все уже скончавшиеся, объединились во время путешествия крепкими дружескими связями, которые поддерживались и в дальнейшей эмигрантской жизни.

Мне кажется, что высокая моральная и политическая добропорядочность колола глаза большевикам, еще не освоившимся со своей диктаторской беспринципностью, и послужила поводом к удалению «нежелательных элементов».

Но положительная сторона нашей высылки не ограничивалась лишь нашими дружескими связями. Вся поездка носила благоприятный характер. Германское посольство, которое явно не сочувствовало большевистскому мероприятию, обещало нам перед отъездом поддержку берлинских властей. А советская власть оставила нас на свободе, и лишь петроградским коллегам пришлось провести перед отъездом несколько дней в тюрьме. Когда мы с дорожными сундуками и объемистыми чемоданами подъехали в назначенный день к вокзалу, там не оказалось никакой видимой охраны, и мы разместились со своими семьями в предоставленных нам вагонах, как нормальные путешественники. На перроне собралась большая толпа провожавших, — преимущественно учащейся молодежи, — которые трогательно прощались с нами. Все надеялись, что наша высылка не будет продолжительной и что с водворением новых порядков мы скоро вернемся на родину.

По прибытии в Петроград, мы переночевали в гостинице и на следующий день погрузились на немецкий пароход, отправлявшийся в Штеттин. Лишь у последнего маяка, перед выходом в открытое море, увидели мы трех чекистов, покидавших наш пароход. Это был момент нашего бурного ликования. Мы уходили от докучного полицейского надзора и от страшных преследований, непрестанно грозивших нам на родине. Вместе с необозримыми морскими далями перед нами открывался свободный мир и возможность вести культурную работу без цензурных ограничений.

По мере приближения к Штеттину наше настроение всё повышалось и вылилось, наконец, в ожидание, что на пристани нас будут встречать представители германской общественности и науки. Ввиду этого обстоятельства С. Л. Франку, безукоризненно владевшему немецким языком, было поручено подготовить соответствующую благодарственную речь. Но ожидание оказалось напрасным. Ни на пристани, ни на берлинском вокзале никто нас не приветствовал. В последующие дни нам самим пришлось изыскивать себе протекцию. В этом отношении мы оказались более счастливыми. В Обществе по изучению Востока нас приняли очень приветливо, и когда у нас зародилась мысль о создании в Берлине Русского научного института, не только помогли нам морально, но и посодействовали в исхлопатывании нужных для этого финансовых средств.

В скором времени институт был открыт в предоставленном ему прекрасном помещении Академии Шинкеля. Главной задачей института было чтение лекций двоякого рода: для громадной в то время русской беженской колонии Берлина по всевозможным отраслям наук и искусств и на немецком языке — для ознакомления местных жителей с русской географией, историей, культурой.

В первое время институт развил весьма широкую деятельность. Но затем кривая этой деятельности начала загибаться книзу. Русская берлинская публика, занятая преимущественно торговыми делами ,скоро потеряла вкус к лекциям, а немцы также не проявили большого интереса к академическому изучению соседнего государства. Политические же проблемы острого характера были исключены из программы института. А когда несколько лет спустя главная масса русских берлинцев переселилась в другие места, главным образом в Париж, деятельность института еще более ослабела. Но в сокращенном масштабе он все-таки продолжал свою работу вплоть до наступления гитлеризма.

Мое пребывание в Берлине было кратковременным. Я переехал в Гейдельберг, — место моего университетского образования, куда меня пригласили мои старые друзья. Правда, в среде тамошней профессуры оказались лица, в душе которых еще не остыл военный шовинизм и которые встретили меня недружелюбно, как своего недавнего военного неприятеля. Но посредничеством друзей добрые отношения были быстро восстановлены. Интересно отметить, что существенную помощь при этом оказала жившая в то время в Баден-Бадене герцогиня Веймарская, традиционный друг Гейдельбергского университета, которая, уже в силу своего титула, пользовалась большим авторитетом в среде право-националистической профессуры. Вскоре после моего разговора с ней, в котором я сообщил ей все обстоятельства, связанные с моей высылкой из Советской России, ректор университета начал проявлять ко мне большое внимание; двое моих детей были зачислены студентами, а мне, совместно с моей старшей дочерью, было предложено заняться организацией биологического института и преподаванием в Народном университете. А затем я прочел в Научном обществе доклад о своих московских исследованиях над плодородием почвы и восстановил таким образом свое старое, прерванное войной, членство в обществе.

Лишь один из профессоров оказался совершенно непримиримым по отношению ко мне. Узнал я об этом совершенно случайно при следующих своеобразных обстоятельствах. В Гейдельберге было устроено торжественное заседание в память недавно умершего перед тем, выдающегося математика Кенигсберга. Он был известен как руссофил, а в качестве декана председательствовал в свое время на моем докторском экзамене. Знавший все это председатель торжественного собрания проф. Саломон спросил меня перед началом заседания, не хочу ли я, после окончания уже объявленной программы, сказать несколько слов от имени русской профессуры. Я, конечно, не отказался. Но когда я, по приглашению председателя, поднялся на кафедру и начал говорить, я заметил, что какой-то старичок нервным движением сорвался с места, схватив с вешалки пальто и шляпу, и быстрыми шагами вышел из аудитории. В моем мозгу мелькнула побочная мысль, что у него строгая жена, и он боится запоздать к обеду. После собрания присутствовавшие как-то подчеркнуто благодарили меня за выступление, а на следующий день один из наиболее близких коллег выразил мне сожаление по поводу неуместного поведения проф. Ленарда, демонстративно ушедшего от моей речи. Тут я понял, что моя гипотеза о строгой жене была неосновательна. Проф. Ленард,

выдающийся физик, нобелевский лауреат, был отчаянным ретроградом, шовинистом и антисемитом. Он вел резкую полемику против Эйнштейна, задорный тон которой объяснялся тем, что его противник был еврей. Будучи сам венгерского происхождения (он родился в Братиславе), Ленард признавал только все немецкое и ненавидел иностранцев. Презирал он также и республиканское управление Германии. Однажды, еще до моего приезда в Гейдельберг, в день какого-то политического торжества, он распорядился, чтобы в физическом институте производилась нормальная будничная работа. Узнавшие об этом рабочие устроили перед институтом враждебную демострацию. А когда Ленард начал переругиваться с ними через открытое окно, они ворвались в институт, схватили профессора и повели по улице, угрожая утопить его в Некаре. Появившаяся полиция была не в силах отбить пленника, но ей удалось уговорить рабочих поместить его в арестный дом, из которого он через некоторое время, когда рабочие сняли свои сторожевые посты, был выпущен на свободу. Проф. Ленард остался, кажется, моим единственным неприятелем в Гейдельберге. Но к нашему, по-видимому, взаимному удовлетворению, мы даже не были лично знакомы.

Мое, казалось бы, столь удачно налаженное пребывание в Гейдельберге, городе природных красот и старославной культурной традиции, было вскоре прервано новым, весьма приятным сюрпризом. Моя речь, произнесенная при открытии Русского научного института в Берлине, произвела на публику благоприятное впечатление, и я получил от писателя М. А. Осоргина, большого знатока и поклонника Италии, предложение принять участие в налаженной им лекционной поездке в Рим. Кроме него самого и писателя Бориса Константиновича Зайцева, долженствовавших познакомить итальянцев с современным состоянием русской беллетристики, и меня как представителя естественных наук, в поездке участвовали философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и Б. П. Вышеславцев, а также экономист А. А. Чупров.

Экскурсия проходила под покровительством итальянского общества для изучения Восточной Европы (Instituto del'Europa orientale), которое прекрасно обставило ее материальную сторону. Каждому участнику было выдано 4.000 лир, с условием, однако, истратить всю сумму на итальянской территории. Это обстоятельство вызывалось валютными затруднениями Италии, нам же давало возможность повидать, кроме Рима, и другие города прекрасной страны.

Я посетил своих старых знакомцев: меланхолическую Венецию, оригинальная, бледно-мертвенная красота которой порождает какое-то томительное, но в то же время сладостное ощущение; оживленно деловой Милан с изумительным мраморным кружевом его собора, на самой верхней башне которого я нашел свою подпись, сделанную еще перед войной; Геную с ее колоссальной гаванью, с ее чудесными старинными дворцами и с кладбищем, представляющим собой великолепный музей скульптурных красот. Далее, по дороге в Рим, я ознакомился с удивительными художественными сокровищами Флоренции, в которой я задержался на несколько дней. Особенно сильное и своеобразное впечатление произвел на меня бывший монастырь, а ныне музей на холме Фиезоли. Монах этого монастыря, живший в

конце XIV и в первой половине XV века, знаменитый прерафаэлит Beato Fra Angelico украсил все кельи монастыря чудесными фресками. Меня поразила какая-то степень сходства между этими фресками и иконами нашего Андрея Рублева, северного современника итальянского мастера, несмотря на то, что последний был представителем раннего ренессанса, а Рублев писал в византийском стиле.

С глубоким волнением, ранним утром, через болотистую Кампанию, одетую клубящимся туманом, приближался я к вечному городу, в котором гармонически сочетается все то, что в других городах Италии можно наблюдать лишь по отдельности: античный мир с величественным Колизеем, с термами Каракалла, превращенными в музей, с очаровательными развалинами форума; далее, начало христианства с Аппиевой дорогой и катакомбами, затем чудесные средневековые храмы и памятники Ренессанса и, наконец, современую культуру большого города с его резкою шумливостью, особенно присущею итальянскому народу. Мне трудно передавать здесь незабываемые ,но затушевавшиеся временем впечатления от собора св. Петра, от замка Ангела, от художественных сокровищ, от архитектурных красот и знаменитых фонтанов Рима. Все это к тому же достаточно часто и подробно описывалось. Посетили мы, между прочим, и кофейню, в которой бывал завсегдатаем Гоголь, и полюбовались на висевший там портрет нашего великого соотечественника.

В Риме мы были встречены очень приветливо. Душой Восточного института, а следовательно, и нашего приема оказался милейший профессор Этторе Ло Гатто, секретарь института, который прекрасно говорил по-русски. Мы его быстро переименовали по русскому обычаю в Гектора Домениковича, или даже в Гектора Воскресеньевича. Он был женат на русской, и его прелестная маленькая дочка воспитывалась в русском духе. Своеобразно приятное чувство испытывали мы, сидя за русским самоваром у него на квартире в Риме, построенном, как и Москва, на семи холмах.

Познакомившись с итальянцами поближе, я получил впечатление, что в наших характерах есть много общего. Во всяком случае столь характерное для русских, отнюдь не чуждо и итальянскому народу.

Наши лекции на темы о русской культуре и жизни, прочитанные преимущественно на французском языке, имели большой успех и неизменно собирали обширную аудиторию избранной публики. Думаю, что наше пребывание в Риме внесло значительную долю в углубление взаимного понимания двух народов. С обеих сторон были при этом проявлены чувства живейшей симпатии.

Но и русская публика, проживавшая в Риме, широко откликнулась на наш приезд. Из встреч, особенно мне памятных, отмечу встречу с Ю. М. Рогаткиной-Ежиковой, женой крупного московского мехоторговца, в гостеприимном доме которого мы, группа профессоров Московского коммерческого института, часто задерживались на перепутьи по окончании факультетских заседаний. Земной шар показался мне, действительно, малым, когда я увидел ее среди своих слушателей, а после лекции мы ознаменовали нашу неожиданную встречу, но не традиционным в их московском доме шампанским, а более

скромным и соответственным нашему беженскому положению — итальянским asti spumante.

В то время, пока мои спутники, представители гуманитарных знаний, детально изучали художественные сокровища Рима, о чем подробно писал Борис Зайцев в своей недавней статье в «Новом Русском Слове», я завязал научные связи с моими коллегами по естествознанию. Особенно памятно мне посещение Зоологического института. Его директор, если мне не изменяет память, проф. Росси, встретил меня с исключительной любезностью и, осведомившись, на каком языке я желаю беседовать с ним, — итальянском, французском или немецком, начал показывать мне свой институт и знакомить с современным состоянием биологической науки в Италии. Мы с ним расстались добрыми друзьями.

Но особенно крепкая связь завязалась у меня с пожилым профессором медицины Синьорелли, одним из руководителей Восточного общества, женатым, как и Ло Гатто, на русской. Он увлекался в своей клинике новым, открытым им, способом излечения легочного туберкулеза. Синьорелли использовал как средство лечения национальное итальянское блюдо — макароны. Он утверждал, что при обильном питании макаронами грудобрюшная преграда приподнимается, и деятельность кровеносной системы легких становится более интенсивной. Болезнь как бы вымывается кровью из легких. Он мне продемонстрировал несколько довольно убедительных клинических случаев, но у меня, как и у многих других, осталось скептическое отношение к этому чересчур простому, обыденному лечебному средству.

Однако в одном из недавно вышедших немецких медицинских журналов я нашел статью, трактующую об улучшении снабжения кровью легких, что достигается интенсивным развитием капиллярной сети, а следовательно и улучшением общего состояния легких. Таким образом, основная мысль врача — любителя макарон — оказывается не столь наивной, как это могло казаться с первого взгляда.

Из Рима я предпринял на оставшиеся у меня итальянские деньги интереснейшее путешествие в Неаполь. Этот город привлекал меня не только сказочной красотой своего расположения (vedi Napoli e muori), но и тем обстоятельством, что в нем находится приморская зоологическая станция, первая в Европе, а может быть и во всем мире, по богатству своего научного оборудования. Станция была организована несколько десятков лет назад выдающимся немецким ученым, Антоном Дорном, по смерти которого директорство над ней перешло по наследству к его сыну Рихарду, тоже зоологу по образованию. Интересно, что оба, отец и сын, были женаты на русских. Отец, если не ошибаюсь, на Барановской, а сын — на Живаго. Я не знал об этом, и когда явился с визитом к Дорну на квартиру и был встречен его супругой, то, стыдясь за свой плохой итальянский язык, попросил у ней разрешения говорить по-немецки. На это она со смехом возразила: «Зачем же по-немецки, если мы оба русские!» Но мое изумление достигло крайних пределов, когда во время нашего разговора из соседней комнаты раздалось восклицание: «А кажется, я слышу голос Михал Михальча». И к нам вошла Надежда Ивановна Живаго, двоюродная сестра хозяйки, хорошая знакомая нашей семьи, которая была в

это время со своим маленьким сыном на пути из Москвы в Америку. А затем пришел с визитом наш общий знакомый, кн. С. М. Волконский, разносторонне образованный эстет и на редкость занимательный собеседник, который также недавно приехал из Москвы, где он был профессором Ритмического института. Подали чай, и у нас завязалась настоящая московская беседа, к которой охотно присоединился и вернувшийся домой Р. Дорн. Он недурно говорил по-русски, но признался мне, что в русском языке он аналфабет, т. е. не умеет ни читать, ни писать.

Зоологическая станция в то, еще непосредственно послевоенное, время была оккупирована итальянцами; во главе ее стоял проф. Монтичелли. В смысле научных работ она пребывала в почти бездеятельном состоянии. Моя надежда поработать на ней несколько дней и воочию ознакомиться с местной, чрезвычайно богатой морской фауной не могла осуществиться. Мне пришлось ограничиться осмотром великолепного палаццо станции, расположенного на самом морском берегу, а главное, ее грандиозных аквариумов, которые и тогда поддерживались в полном порядке, представляя собой одну из важнейших достопримечательностей Неаполя. Впоследствии Р. Дорн восстановил свои наследственные права на станцию и снова стал ее директором.

Я не предпринял традиционного, но дорого стоящего восхождения на Везувий. Лишь издалека я полюбовался его геометрически правильными очертаниями, свойственными вулканическим образованиям вообще, и пиниеобразным облаком, почти постоянно стоящим над его кратером. Но я посетил его жертвы, погребенные при извержении 79 г. и недавно основательно откопанные — античные города Помпею и Геркуланум. Я ходил по высоким тротуарам Помпеи, между которыми залегает дорога, вымощенная крупнейшими булыжниками. Езда по этой мостовой на колесницах напоминала, вероятно, езду по нашим деревенским ухабам, а может быть и превосходила ее своей тряскостью.

Но зато в домах, некоторые из которых оказались после раскопок почти в полной неприкосновенности, можно было наблюдать высокую степень классической культуры. В некоторых из них я с восторгом рассматривал чудесные фрески, сохранившие и до сих пор всю яркость типичных для помпейской живописи красок — черной и кирпично-красной. На всем городе, погибшем около 19 столетий назад, на его грубых улицах, изящных домах, развалинах цирка и других общественных зданий ощущается меланхолическое веяние безжизненности, но в то же время и дыхание вечности. Изящную обстановку помпейских жилищ можно видеть в великолепном неаполитанском музее. В нем, наряду с обычными музейными достопримечательностями, я осмотрел и знаменитую комнату, в которую допускаются лишь взрослые мужчины и в которой собраны статуэтки специфического содержания. На них была, — по-видимому, большая мода на закате античного мира.

С г-жей Дорн и ее детьми я совершил интереснейшую экскурсию на вулканическое поле Сольфатара, расположенное в окрестности Неаполя (Pozzuoli). Твердый слой почвы на этом поле так тонок, что местами она сотрясается под шагами идущих людей. А под ним на-

ходится полужидкая, черная магма. Стоит приблизить к земле зажженную спичку, и сейчас же почва начинает дымиться, выделяя сернистый газ. А в некоторых местах, как проруби во льду, зияют в земле отверстия, через которые видна черная, бурлящая масса. Зрелище, которое наполняет сердце непривычного человека содроганием. Кажется, что еще один момент, зыбкая почва под тобою расступится, и ты погрузишься в вечно кипящую смолу.

На краю этого бурлящего поля находится вход в «пещеру смерти», длинный подземный коридор, уходящий в гору. Здесь из-под почвы выделяется углекислый газ, который, будучи тяжелее воздуха, вытесняет его из нижней части пещеры. Если опустить вниз горящую свечку, она гаснет. Если человек ляжет на землю, он задыхается. Говорят, что некоторые, чересчур любознательные путешественники, особенно из категории просвещенных мореплавателей, приводят туда на привязи собак, чтобы наблюдать на них действие углекислоты.

Другая моя экскурсия в окрестности Неаполя была связана с гораздо более радостными переживаниями. Я посетил очаровательный остров Капри. Между прочим, когда наш пароход медленно подходил к нему, и публика стояла на палубе, любуясь развертывающейся перед глазами живописной панорамой, из находившейся по близости лодки раздалось стройное пение «Стеньки Разина» на немецком языке под аккомпанемент гитары. Стоявший рядом со мной немец начал разъяснять своему соседу, что это — известная персидская песня о разбойнике, похитившем принцессу. Мне пришлось вступить в разговор и внести поправку, что вызвало комплименты по поводу русского музыкального искусства. После обеда, гуляя по острову, я встретился и разговорился с тремя певцами. Они оказались немецкими студентами, которые без денег отправились путешествовать по Италии и прокармливали себя пением.

Из живописно расположенных на возвышенных частях острова городков Капри и Антикапри можно пробраться на вершину острова, откуда открывается величественный вид на безграничные просторы лазурного моря. Там же находятся знаменитые развалины виллы императора Тиберия. Все эти места увлекательно описаны Акселем Мунте в его книге о Сан Микеле, получившей мировую известность

Побывал я и в прославленном голубом гроте, расположенном на берегу острова. Проникнуть в него можно лишь на маленькой лодке через узкое отверстие в прибрежной скале. Но когда попадаешь туда, то испытываешь совершенно необыкновенное, сладостное ощущение. Густая синева итальянского неба какими-то невидимыми отверстиями так проникает в грот, что кристально-прозрачная вода окрашивается в чарующий голубой цвет, а весь воздух над ней кажется пронизанным тончайшей голубоватой дымкой. Когда покидаешь грот, то чудесная симфония южного неба и моря воспринимается уже как нечто будничное, обыкновенное.

Нагруженный богатством всех этих разнообразных, сказочно прекрасных впечатлений, я вернулся в Рим, где участники нашей поездки организовали благодарственный банкет гостеприимным ее устроителям. В речах были между прочим указаны некоторые черты сходства в характере русского и итальянского народов, а также отмечено то

обстоятельство, что московский Кремль полон великолепными памятниками итальянского зодчества.

В последний день пребывания в Риме я накупил целую коллекцию прекрасных фотографий, изображающих античные статуи и картины из эпохи Ренессанса. А затем я сходил к знаменитому фонтану Треви и бросил в него несколько сольди. Среди иностранцев, посещающих Рим, распространено поверье, что кто соблюдает этот обычай, тот еще раз вернется в вечный город. Усердными пропагандистами, а может быть и авторами этого поверья, являются ловкие уличные мальчуганы, которые ранними утрами вылавливают деньги из фонтана. Мне во всяком случае кажется, что мои сольди пропали бесплодно.

В сердечном сокрушении по поводу того, что итальянская поездка была так кинематографически мимолетна — она продолжалась всего около двух недель, — я отправился назад в Гейдельберг. Здесь меня ждал новый приятный сюрприз — письмо от П. И. Новгородцева, который возглавлял в то время многочисленую русскую академическую группу, сосредоточенную в Праге. Павел Иванович приветствовал меня в новой роли странствующего профессора и предлагал переселиться в славянскую Прагу, где тогда развивалось большое русское культурное дело.

Выбор для меня был не труден. Ни мелкая сравнительно работа в Гейдельбергском народном университете, ни перспектива создания биологической лаборатории, все еще окончательно не выясненная, не могли задержать меня в Германии. В 1923 году состоялся переезд всей нашей семьи в Чехословакию, где для меня началась длинная полоса жизни, тянувшаяся свыше двух десятилетий, полная творческой работы на академическом поприще.

До сих пор, в глубокой старости, насыщенный днями жизни и обремененный старческими немощами, я с наслаждением вспоминаю те изумительные картины природы, те гениальные произведения искусства и тех людей высокого духовного облика, которые, будто волшебством, появились передо мной, как только я, гонимый злой силой, покинул свою великую несчастную родину.

Но никогда успехи эмигрантской жизни не заслоняли собой печального облика страдающей отчизны. И часто, в моменты высокого духовного удовлетворения, этот облик рисовался перед духовными очами с особенно ярко подчеркнутой трагичностью.

Михаил Берлогин

Из воспоминаний советского журналиста

1

О двух жалостях

Тайная проблема коммунизма сводится к основному вопросу человечества, а именно, в какой мере человеческая жизнь доказывает существование Бога, и обратно, существование Бога оправдывает ли существование человека. Или еще короче, настолько ли мы, люди, хороши, чтобы наша жизнь и история свидетельствовали бы о Боге. Если оставаться на уровне человеческой логики, наша жизнь и история таким свидетельством не являются.

Это не только тема секретных разговоров между сохранившимися интеллигентами религиозного склада, когда они уверены, что за ними не подслушивают, но также и многих советских книг, речей, статей в газетах и журналах. Правда, там прямо о Боге не говорится, но смысл всё равно такой, это долгий спор человечества, начатый греками, подхваченный Гегелем, вульгаризированный Марксом, спор между верой в Бога и верой в материю и историю. В первое время мы, пишущие для журналов попутчики, задавали себе вопрос, морально ли стараться внушать другим энтузиазм, коего сам не испытываешь? И возможно ли это, можно ли написать хоть одну строку так, чтобы не почувствовалась фальшь? Может ли оказаться действенным управляемое искусство? Можно ли, под личиной «социалистического реализма», проводить контрабандой свои мысли? Если изо дня в день повторять одно и то же предположение, окажется ли оно от того убедительным?

Предположение, которое нам велели повторять, было «о чуде без чудодея», или о том, что в мире все произошло само собой: из кучи песка, благодаря случайно соединившимся случайным элементам, без Творца или без плана. Из низшего, т. е. мёртвой материи, каким-то фокусом получалось высшее, т. е. человек. Автоматически, само собой, но, конечно, не сразу, а в течение миллиардов лет. По какому-то закону, как говорит Энгельс, но без Законодателя...

Эта космологическая база диамата облекалась дальше в подобие жалости к страдающему человечеству, в сочувствие ко всему живущему и страдающему. При этом, об одной детали, касающейся «организованной материи», предписывалось совсем не упоминать, или как можно реже: о смерти.

Мучила ли нас совесть за то, что, не веря во всю эту механику, мы участвовали в популяризации ее и получали неплохую построчную плату за сомнительные статьи? Нет, это не совсем так. Материализм, строительство заводов, борьба с эксплуатацией, всё это много сложнее и запутаннее, чем может пока-

заться со стороны. Раз, давно, задолго до «социалистического реализма», я рискнул прямо написать об «управляемом искусстве» и послал статью под таким заглавием в журнал, который назывался не то «Красные Итоги», не то «Абсолютная Истина». Я проводил ту мысль, что все великие эпохи, творческие периоды истории, когда создавался свой художественный стиль, проходили под знаком коллективизма, а не анархической индивидуальности. В творческие эпохи художник сам не выдумывал ни стиля, ни темы, всё это он получал, как некий социальный заказ. Примеры: Египет, Греция, Возрождение. И обратно, когда в XVIII веке начался индивидуализм в жизни и в искусстве, секрет монументального стиля начал теряться и к XX веку окончательно исчез. Для великого творчества надо, чтобы не только художник, но и весь народ был несом единой идеей, пусть даже, как в прошлые времена, не всегда правильной. Статью приняли, приказано было только переделать заглавие, так что «Управляемое искусство» превратилось в «Почему буржуазный индивидуализм не смог создать своего монументального стиля».

Вскоре после этого мне удалось войти в партию, тут уж пришлось усугубить осторожность, однако «Новый луч» сразу же напечатал мою статью «О двух жалостях». Появилась она под заголовком «Этика материализма» и начиналась с контраста двух поэтов: Блок — Маяковский. Скрытый, тайный вопрос сводился к тому, существует ли иная глубина, кроме глубины христианской. Блок (так думал я в то время, как рука писала что-то совсем другое) был поэт глубокий, хоть и не осознавший своей христианской глубины. Маяковский тоже, но у них были совершенно разные виды глубины — или разные виды жалости. Ведь христианская глубина, основа которой жалость, содержит огромную долю осуждения мира, и чем глубже жалость, тем глубже это осуждение. В Евангелии виновником или мучителем называется «князь мира сего». Очевидно, что не только кесарь с его царством, но и синедрион с его архиереями могут находиться в составе легионов этого князя. Так я размышлял, писал же совсем иначе, в надежде, что какая-то доза моих настоящих мыслей дойдет до читателя.

Во время войны многие у нас начали верить в Бога, как никогда прежде не верили, но это не мешало нам писать антицерковные и, по внешности, даже атеистические статьи, в расчете, что настоящая наша мысль до кого-то дойдет. Мой читатель, думал я, поймет меня. Моя тайная мысль дойдет до него сквозь все искажения, и может быть, он распутается в моей напутанности, и это как-то поможет и мне понять себя. Давно в России религиозный инстинкт не был так развит, как в военные годы. Над атеизмом, нашей официальной верой, мы еще раньше привыкли про себя издеваться, как наши деды 60-ых годов издевались над «ерундой на постном масле» (Священное писание). Мне кажется, что эта взволнованная путаница в душах советских людей еще мало понята за границей.

В партии я нашел ход к засекреченным отделам библиотек, и с тех пор мои закамуфлированные очерки стали интересовать редакторов. Нет, мне не казалось, что я творю дурное дело, я только думал о том, чтобы наши цензоры не смогли придраться и не пронюхали запах ладана. Живя среди молодежи, я знал, насколько силён рост религиозности, хоть и не всегда в узко церковном понимании. Да ведь не только у нас, а везде церковность и религиозность редко совпадают, и часто они даже противоположны одна другой.

Так вот, возвращаюсь к «Двум жалостям» или к «Этике материализма». Передам, как я тогда думал, а не как принужден был писать. Вся первая часть статьи относилась к Блоку. Религиозная глубина представлялась мне как сочувствие всему населению мира, страдающему и умирающему, она мало инте-

ресуется жизнью ангелов, мало интересуется жизнью безгрешных душ, если не со стороны страдания — сочувствия к страданиям людским. Скорее демоны, эти блудные сыновья, симпатичны ей. Средневековая литература явно симпатизирует чертям. Они кажутся ей забитыми и униженными, вроде клоунов и мошенников. Позже это сочувствие выразилось ко всем обездоленным неудачникам нашей литературы, вплоть до самого Блока, когда он увидел себя «пригвожденным к трактирной стойке».

Жалость ко всему живому, мучащемуся и умирающему, есть явное осуждение мучителей и смерти, т. е. мира мучащего и убивающего, в плену у которого находятся души. С точки зрения этой жалости, нашедшей свое наибольшее выражение в русской культуре, вся красота мироздания тает в единстве одной человеческой души. Этим отличается русская религиозность. Такая религиозность (может быть, это наиболее чистый и крайний вид христианства) не мирится ни с какими резонами причинения страдания, как бы велики они ни были: всякая наказующая справедливость, всякое карающее выполнение закона враждебно Христу. Все преступники становятся, с этой точки зрения, только несчастными, теми, которых следует особенно жалеть и жаловать. А если на этих принципах нельзя построить социализма, то тем хуже для социализма и вообще для строительства, а также и для церкви, потому что греха тогда вообще не существует, а только несчастье. Грешники суть наиболее несчастные, те, к которым наиболее близок Христос. Такое христианство глубоко антисоциально, в том смысле, что здесь мысль никогда не помирится с тем, что ей будет всегда казаться неким метафизическим несовершенством мира, а именно с тем, с чего и началась вся история, с тем, что называется отпадением Адама. Мир лежит во зле, историческое развитие — зло и ложь, как всё царство князя мира сего, ошибочно принимающего линию своей гибели за линию своего преуспевания. Таким образом, вопрос идет о самой возможности такой ошибки, некогда в своих источниках повернувшейся против собственной духовной пользы, т. е. сотворившей зло, в результате которого явилось, на месте Бога, страдание, рабство и смерть, или явился рок истории.

Такое христианство пессимистично, оно считает всё живое жертвой первоначальной бестолковщины, какого-то недоразумения, какого-то неправильного выбора в начале мира, в точности повторившего древнегреческую мысль, что все вещи были столкнуты в бытие по какому-то недоразумению и с тех пор постоянно стремятся восстановить свое первоначальное равновесие, но как бы всегда по неверному направлению, и потому вечно движутся. Мир несовершенен в своей основе, и люди и боги суть жертвы Ириний, богинь судьбы.

Но этому мнению противополагается иное, конкурирующее с ним учение о жалости, так же как и оно, опирающееся на некую очевидность в своей исходной точке (здесь, в качестве трамплина для прыжка мне послужил Маяковский). Это другое метафизическое учение выражено в Маяковском и во всей советской литературе. Эта другая жалость определяется так: «жалеть — значит не жалеть». Эту логику жалости можно было бы назвать логикой справедливости. Она воспринимает человека и всё отдельное, как нечто по существу иллюзорное перед единственной реальностью целого, тем более иллюзорное, чем больше оно настаивает на неповторимости своей личной жизни. Божество имеет право решать за всех по своим высшим соображениям, и Оно не просит согласия у отдельной личности на боль и страдание, потому что отдельная личность не может знать и рассчитывать того, что готовит ей Божество. Согласия личности на то, чтобы сделать эту боль вполне приемлемой, совершенно не требуется: не человек творит

мир и историю, а Божество (в той статье я называл это «человечество с большой буквы» или, иногда, «инстинкт трудящихся масс»). И оно же берёт на себя ответственность за все будущие человеческие боли во имя своих высших осуществлений, которые можно было бы назвать грядущей красотой мира. И люди должны согласиться с непостижимостью для них целей Создателя, лепящего их средствами страдания и смерти, для каких-то своих особых целей или, как считали еще древние, «Бог не сделал человека конфидентом своей последней ценности».

Да, так нам приходилось изворачиваться, когда мы хотели что-нибудь сказать. О том, понимали ли нас наши читатели, я расскажу после. Мы так закручивали, так затемняли, что сами не разбирались в собственных метафорах. Однако, как бы ни завуалировал автор свою тему, тайное свечение всё же порой просквозит. Я думаю, что у человека, которому есть что сказать, не может быть другой темы, кроме темы о Боге. Тогда, даже помимо его воли, во всех его высказываниях таинственно выступает глубина темы, которая и является смыслом писания. Тогда не важно, если отсутствует дискурсивное развитие и если рациональный смысл отдельных мыслей сводится к малому, раз за явной мыслью, как под защитной оболочкой, просвечивают иные миры.

2

Притча о талантах

В эмиграции иные осуждают Московскую Патриархию за соглашательство с властью. Но, не вступая в спор, так это или не совсем, очевидно, что духовенство в России делает и своё дело: напоминает об Евангелии. Когда же эта книга доходит до людей, пусть хотя бы только в диаконском чтении, она затрагивает души, и получается то, что в ней же самой сказано про закваску, которую женщина положила в тесто, «доколе не перебродит всё».

Однажды в Москве, прослушав в церкви «притчу о талантах», кто-то сказал мне: «Тут говорится на нашу тему, о прибавочной стоимости и об эксплуатации человека человеком. Как вы думаете, замечено ли это было раньше?» Действительно, загадка «эксплуатации» задана была много раньше появления «Коммунистического манифеста». Напомню содержание этой притчи (Матф., гл. 25). Господин поручил трём рабам свое имение, одному он дал 5 «талантов» серебра, другому два, третьему один. Первые два удвоили свой капитал, последний зарыл его в землю. Этот третий раб получил лишь один «талант», но талант его был полноценный, не фальшивый. Это был, как явствует из дальнейшего, талант строгой человеческой морали и связанная с этим способность к строгому логическому мышлению. На вопрос господина, что сделал он со своим талантом, третий раб отвечает: «Я знал тебя, что ты человек жестокий: жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись (участвовать в эксплуататорском, не моральном деле) пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твоё!» Господин говорит на это так: Хорошо, я буду судить тебя, исходя из твоего понимания. Ты знал, что я живу на чужой труд и делаю что мне вздумается. Так вот, я посылаю тебя «во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».

Тьма внешняя противоположность свету внутреннему, это область чистого материализма, рационализма и человеческой логики. Там третий раб сможет поразмыслить, что значит свой и чужой труд и что такое прибавочная стоимость.

Достоевский называет таких людей «людьми короткой мысли». Мысль их

едина и односторонняя. Они считают, что человек это только материя. Но они могут также считать, что человек это только дух, и это будет не менее опасно. Когда они получают власть, то вводят в мир много страдания и их «эксплуатация» принимает безжалостный характер, она становится демонической. Они превращают человека в вещь. Дело в том, что проблема эксплуатации человека человеком не может быть разрешена вне других основных загадок общения, нельзя говорить о равенстве вне свободы и вне братства. Если начать разгадывать один ребус неравенства, отложив решение двух других, выйдет путаница, а если перейти на практическое разрешение, то в мир будет внесено много беды. Это тема «Великого Инквизитора» и Карла Маркса. Оба хотели управлять людьми «рационально», как материей и природой и ради идеала равенства забыть об идеале свободы. Свобода, скажут они, если она так уж необходима, придёт после, через 40 или через 400 лет, придёт сама, когда люди переменятся и их не нужно будет принудительно вгонять в рай, придёт в результате уничтожения неравенства.

Из той же предпосылки (человек есть только часть природы) и к тем же выводам (классовая борьба) исходит и приходит в своих силлогизмах третий раб, человек одного таланта. Может быть этого таланта достаточно, чтобы прожить свой век в качестве хорошего семьянина, но не довольно, чтобы учить людей, как разрешать трагические конфликты. Это самые опасные и самые скучные люди.

Существует одна область, в которой такие люди бывают иногда полезны — это война, особенно в тех случаях, когда нужно во что бы то ни стало отстоять город от неприятеля. Об этом интересно говорит советский писатель Бек, автор «Волоколамского шоссе». Герой этой повести, сумевший задержаться под Волоколамском до прихода сибирских дивизий, дал лапидарную заповедь своей морали: «жалеть это значит не жалеть»... Герой Смоленской дороги, Кутузов, был талантливее героя Волоколамского шоссе. Кутузов обладал во всяком случае двумя талантами, религиозным в добавление к моральному, но он принужден был сдать Москву, тогда как тот «узколобый казах из Туркестана» отстоял её.

Основоположники «научного социализма» поклонились «диалектике природы и истории». Они уверовали, не успев проверить это на практике, что жизнь людей может быть преображена одной логикой разума. Их русские последователи начинают в этом сомневаться, в Москве начали подозревать, что эксплуатация, которая не уменьшилась за 40 лет, еще увеличится через 400, особенно, если к тому времени коммунизм победит везде. Это потому, что вопросы эксплуатации и прибавочной стоимости, свободы и равенства сложнее и парадоксальнее, чем казалось третьему рабу.

Проблему эту давно пора пересмотреть. Была ли безобразная эксплуатация в Англии в эпоху Маркса? Эксплуатация детей на фабриках? Да, была. Что от неё осталось в Англии? Ничего. Была ли вся история сплошной эксплуатацией человека человеком? Нет, в безобразных формах это появлялось, как исключение, как бывали преступления и эпидемии. И против этого всегда шла борьба. Это было не выгодно и опасно. Дурная эксплуатация появляется, когда руководители предприятия стараются превратить рабочего в вещь. Это плохая организация, и долго такое предприятие не продержится. В здоровом предприятии не может быть борьбы и ненависти между рабочими и администрацией, потому что интересы их солидарны. Речь идёт не об интересе наживы, а о том, чтобы общее дело как можно лучше делалось. Но могут возразить, что даже и в ослабленных формах эксплуатация — зло, которое следует искоренить. Следует привлечь всех в общее дело, в коем все окажутся заинтересованными.

В своем учении о прибавочной стоимости Маркс случайно коснулся чего-то очень серьезного, а именно «первородного греха». Эксплуатация это зло метафизическое, не одна из разновидностей зла, а основное зло. Оно пропитывает всё и появляется там, где его не ожидаешь. Декретами с ним можно бороться, и то лишь когда оно проявляется в области экономической, но и там победить его одними законами нельзя. Существует ли человек, никого не эксплуатирующий? Маркс сводит все виды эксплуатации к одному, экономическому, но эксплуатация имеет множество разновидностей, и воля к богатству только одна из них. Эксплуататор ищет превращения другого человека в свой абсолютный объект, при этом он может культивировать идею властолюбия, как некую чистоту. Существует ли эксплуатация в эротизме? Здесь эксплуатируемый, т. е. тот или та, кто больше любит, постепенно превращается в вещь в руках любимого и иногда в ужасе замечает это, но сейчас же старается забыть о своём открытии. У нас в России, где много размышляли о метафизике эксплуатации, на это обратили внимание. Эротическая разновидность первородного греха столь распространена, что ее можно поставить на первое место, каковое ей и отводят оба лучших советских писателя, Шолохов и Леонов, в чем они невольно сходятся с автором истории об Адаме и Еве.

Затем, имеется эксплуатация чистого разума. В бодрствующем разуме, освободившемся от чувств, есть внешнее подобие свободы. Здесь воля к власти, природа коей может быть остается эротической, оказывается сублимированной, и такой властолюбец может пребывать в строгом аскетизме. Социальная жизнь ему представляется всегда как деспотическое насилие. В науке он видит главным образом совершенство техники, позволяющее простое приказание мысли осуществлять с помощью сил машин, и с той же точностью, как в здоровом разуме простое воление вызывает образ воображения и модифицирует его. В общем получаются как будто идеальные условия для творчества, но практический результат — бесплодное опустошение.

«Тьма внешняя», куда выброшен третий раб, это область, где всё внутреннее, тайное, живое превратилось в мёртвую ткань материи или же в логическую схему чертежа, и тут третий раб лишается своего единственного таланта, который передается первому, уже обладающему десятью талантами. Это решение, как мы помним, вызвало недоумение свидетелей суда: «И сказал ему: Господин! У него есть десять... Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет... (Лука, 19, 25.)

Во «внешней тьме» диамата третий раб еще колдует. Его нельзя одолеть ни логикой, ни насилием — и то и другое его послушные орудия. Но его растворит в себе сама жизнь, а когда и как, этого предугадать нельзя. Победа жизни над схемой случалась много раз, но всегда неожиданно и по-новому.

Марксизм начинается с уклонения от творческого труда, с забастовок («убоявшись, скрыл в земле»...) и приводит к иллюзорной работе, на холостом ходу.

Помню, в начале 30-ых годов мне пришлось участвовать в киносъемке под Можайском. Снимали двух вельмож, Калинина и Горького, не актёров, загримированных под них, а их самих. Их посадили на завалинке, подле избы, перед палисадником. Одеты они были как зажиточные колхозники. Им было сказано сперва глубокомысленно смотреть на коров, потом, по сигналу, поднять глаза и с благосклонным видом смотреть на яблоки на дереве и, наконец, приняв умиленное выражение, обратить взоры в облака, в ту секунду, когда над их головами пролетят военные самолеты. Один из присутствующих журналистов, который не считал нужным скрывать от меня свою грамотность, сказал мне:

— Вот что называется эксплуатацией. — На мой вопрос, кого эксплуатируют, он пояснил: — Всех. И этих почтенных старцев, и нас, и всех тех, кто будет смотреть на эту комедию. Кто в этом виноват? Все. Так объективируется воля к безделью, которая захватила всех.

Одним из самых распространенных видов эксплуатации было у нас обязательное присутствие после работы на собраниях, где ораторы должны были говорить об эксплуатации человека, а мы — слушать, с видом сурово сосредоточенным. Курить, правда, разрешалось, но не у всех был табак, а если бы кто задремал, это грозило серьезной неприятностью.

3

Люди двойной мысли

За десятки лет несвободы и притворства журналисты нашли прием для писания статей, дабы сделать это рискованное занятие наиболее безопасным. Журнальная статья, как учили в старинных руководствах, разделялась на три части: вступление, изложение и заключение. Начинать надо сразу в тонах бравурных и оптимистических, например так: «необычайный радиопризыв пришлось услышать мне на днях», или «вчерашний день — большое событие в культурной жизни Советской Армении», или «необычайную машину мне пришлось увидеть недавно на волжском берегу». Подготовив в нескольких таких фразах своего читателя, автор переходит к изложению, где обязательно следует упомянуть про подвиг, наступление, прорыв позиций, взятие новых крепостей — в том стиле, как писались корреспонденции с фронта перед 1917 годом: «Подвиг становится нормой поведения людей, на подвиг нацеливают всех». Хорошо упомянуть про старого работника, старого служаку, который не сомневается в победе и добродушно посмеивается над молодежью, которая рвется вперед, в атаку, и нервничает, как бы не опоздать к сроку: «Чего нервничаете, Иван Павлович, — добродушно спросил пожилой речник Новиков, который полвека работает на реках. — Мы под Горьким Волгу перекрыли вовсе досрочно». Заключение дается в максимально мажорных аккордах, как и полагается, когда празднуют победу, и здесь очень кстати вставить слово «жизнь» или производные от этого слова: «вечно живое, вечно дорогое для всех советских народов наследие», или «весь этот праздник живо ощущается и на нашей писательской улице», «очерк осуществляет свою роль только при высоком проценте жизни, при насыщенности ею», или «стихотворение это — несомненная удача поэта, сумевшего подняться до высоты больших жизненных обобщений». (Все эти примеры взяты из «Литературной газеты» от 11 окт. 1955 года.).

Свобода провалилась куда-то, дух исканий исчез вместе с нею, и стиль становится мертвым. Написано «жизнь», а читаешь — «мертвечина». Чувствуешь, что писать это всё было тоскливо, читать еще скучнее. Читаешь, читаешь один очерк за другим и ничего не запоминаешь, за исключением припева, который звучит как некий мутный акафист из сомнительной мессы: радуйтесь, ибо истина окончательно найдена! Слова не звучат, как когда читаешь заведомый плагиат. Когда же доходишь до места, где пишущий дает понять, что никто его не принуждал радоваться, нет, он сам выстрадал, выработал это свое оптимистическое мироощущение — хотя, спохватывается он, сам бы я не мог, это мне подсказали наши общие учителя — но тогда, как же не радоваться вкупе и не торжествовать от сознания, что мы живем в такую эпоху!.. тогда скука переходит

в щемящее чувство стыда и жалости, как случается, когда на улице встретишь инвалида без обеих ног.

Этот художественный стиль напоминает первые ассамблеи, когда молодым девушкам, вытащенным из теремов, было приказано танцевать, влюбляться и кокетничать, и они старались, как могли, под удивленные взгляды голландских капитанов, не понимавших, что происходит. «Девушки у них здоровые и красивые, но какие-то вялые», записал Ван Грейнис, один такой заезжий гость. «В них чего-то не хватает. В них почему-то мало жизни... Они как-то *странно смеются*, так что с ними не весело». Но для нас, знающих в чем дело, грешно было бы искать жизненной непосредственности на тех ассамблеях и на страницах этих журналов. Там надо радоваться или волноваться по приказу, надо выделывать какой-то ученый танец, зная заранее, что никто не поверит ни одному движению, ни слову, ни взрыву смеха. Но все должны делать вид, что веселятся от души, раз «на нашей улице праздник». Да и кто читает эти очерки? Взрослые люди вряд ли. Может быть, подростки, для которых, вероятно, это и пишется, как я когда-то, в отрочестве читал дореволюционный детский журнал, где всё было фальшиво, начиная с названия «Задушевное Слово».

Человек, привыкший к газетной фальши, не сразу поверит, что журналист может писать своё и как он хочет. Как-то в Париже я спросил одного молодого человека, только что приехавшего «оттуда», что он думает про наши зарубежные писания. — «Да как-то уж чересчур легко у вас получается», — ответил он. «Честно говоря, я думал, что вы здесь более культурны. У вас пишут как-то небрежно, что в голову придёт... Сперва надо подготовить строгий чертёж, а потом уж копать канал, а у вас будто ручей резвится, а то как водопад»... Он не знал, что это значит, откуда такая игра. Я сказал ему, что это и есть свобода.

Осуждать советскую пишущую братию не приходится. Все мы так писали. Вначале пытались контрабандой протаскивать кой-какие отсебятины и намекали читателю, что нас нужно понимать «как раз наоборот». Но будучи изобличенными и наказанными, мы окончательно оставили это. Одно время надеялись, что нам позволят переводить иностранных классиков, или перейти на исторические исследования, но оказалось, что и тут свободы не полагается. «Да разве она так уж необходима?» — спросил как-то Ильич. И мы утешали себя, в духе высказываний Ленина, что раз война затянулась на десятилетия, то и строгая цензура имеет некоторое оправдание.

Писать журнальную статью нужно так, будто выводишь из гавани крейсер под звуки фанфар и пушечные салюты. Автор весь горит, автор захлёбывается от восторга. Порой это рискует перейти в контрреволюцию, еще немного, и читатель почувствует насмешку, вредительство... Потому что единственный способ высмеять начальство для нас было *перекланяться:* «вы требуете от нас сочувствия вашему делу, сотрудничества, уважения, преклонения, восхищения, любви — так вот, получайте, мы нашли совершенно новые выражения преданности, а завтра еще иначе изловчимся».

В английской книге Орвелла, под заглавием «1984» год, предсказано, какой станет Англия, если в ней восторжествует диктатура государственного социализма. Там все персонажи — кроме самых наивных — защищаются тем, что практикуют *«двойную мысль»:* на людях он работяга-энтузиаст и рубаха-парень, а наедине это тихий, меланхолический, ищущий одиночества и покорный судьбе обыватель с лирической душевной организацией. Книга Орвелла начинается с того, что герой решился писать откровенный дневник, что весьма и весьма опасно. Так вот, вспоминаю, как в Москве, после смерти одного нашего сотрудни-

ка, мы нашли его дневник. Сотрудник этот печатал самые суровые, ортодоксальные, самые созвучные ленинизму очерки и к тому же обладал многолетним партийным стажем. В дневнике обнаружился совсем другой человек, что, кстати, никого особенно не удивило, хоть и было неожиданно. Он там никого не ругает, не обвиняет судьбу и готовится к смерти, которую ждет, как избавления. Привожу начало, которе я тогда переписал, ради стиля, так не похожего на то,к чему мы привыкли в Москве:

«Решился писать дневник, во время маленькой прогулки в сторону моего букиниста. Что я ищу там? На мою долю остаются книги очень старые и уже разрозненные, вроде «О семи трубах апокалипсиса» или томы путешествия в Египет 1801 года с чудными заметками на полях. Находится это почти на углу Арбата и Старого-Конюшенного. Сам букинист неудачник, в огромном воротнике, лохматый, должно быть спившийся профессор. На пути к нему, после аптеки, и пришло мне это в голову. Да еще там была эта ужасная женщина, высокая, в наряде до 14-го года, она говорила ужасные вещи. Все смеялись, а я уходил, не оборачиваясь. Вдруг маленький подмастерье в фуражке перегнал меня и, подмигнув на неё, сказал: «Ну и субъект!», а я, польщенный, подлю улыбнулся и одобрительно промычал»...

Возвратившись к себе, этот человек садился за стол и начинал бодро отстукивать на своём допотопном Ремингтоне: «Еще Карл Маркс заметил, а Владимир Ильич авторитетно подтвердил»... — и. т. д., всё как полагается спецу высокой квалификации. Подозревают ли об этом те, кто сидит на вершине башни? Вероятно знают, и даже очень этим забавляются. Но среди них тоже, вероятно, имеются такие, кто практикует «двойную мысль».

Однако, в нашей среде изредка встречались и подлинно героические люди, люди настоящего мужества, не отступающие ни перед чем подвижники. Первый, о ком следует напомнить, это А. Ф. Лосев, автор замечательных книг по философии. В конце нэпа, в 1927 г., в Москве вышли из печати четыре книги Лосева: «Античный Космос и современная наука» (550 стр.), «Философия Имени» (254 стр.), «Музыка как предмет логики» (262 стр.) и «Диалектика художественной формы» (250 стр.), всё в издании автора. Лосев родился в 1892 г. Писались эти книги начиная с 1917 года. В 1930 г. вышел еще его труд о «Символизме в античной мифологии». Он перевел также трактат Плотина «О числе».

Началом философии для античного мира было *изумление* перед бытием, перед миром, перед фактом появления человека, а также перед его смертью. Или еще *ужас* перед жизнью, который иногда охватывает человека, если он способен ощущать трагизм. Философия, конечно, не есть жизнь, и она не сводится к преобразованию жизни, во всяком случае не в этом ее исходная точка. Она, думает Лосев, есть «организованное понимание жизни». Перед тем, как приступить к делу, человек всматривается, вдумывается, силится понять, что такое он сам и окружающий его мир. И тут на помощь ему приходят *Имена*. «В имени слиты и реально тождественны бытие и познание», пишет Лосев, и в этом высказывании как не ощутить приговор официальной догме материализма, о том, что «сознание порождается бытием». Скрытая мысль Лосева та, что нельзя сказать, что из чего происходит, «сознание из бытия», как думают материалисты, или «бытие из сознания», как думают спиритуалисты. И те и другие не правы, ибо бытие и сознание (Лосев говорит умышленно познание) слиты между собой и они вне времени, то есть там, где нет «раньше» и «после». Он говорит об этом еще так: «Логика сущности есть и логика темы, и *наоборот*».

В «Философии Имени» развито мировоззрение символическое. «Философия имени, определяет автор, есть просто философия».

В конечном счете, основная тема философии начинается с размышления о Том, имени Кого Лосев нигде не называет, и на этой вершине философия сливается с богословием. Когда же мы спускаемся в область философии как научной дисциплины, здесь имена или термины различных, рождавшихся одна за другой философских школ, создают предмет чистой философии и ее истории. Так, для того, чтобы понять Средние Века, нужно дойти до понимания споров об «универсалиях». Для понимания нашей русской современности и расцвета философии от Соловьева до наших дней, таким ключевым термином будет «Софийность». Кажется, Лосев не считал Владимира Соловьева гениальным философом. Но и сам Лосев, и вся большая философия нашего XX века шла в направлении, данном Соловьевым, который к тому же, сам будучи средним поэтом, оказал огромное влияние и на поэзию, и всё это отразилось на русской жизни вообще. Было ли это влияние только положительным? Соловьев понимал философию скорее как чистое мышление, чем как проект преобразования мира. Он не перешел к «деланию», выпустил «дело» из своих рук — и «дело» было подхвачено другими. Правда, Соловьев отверг «отвлеченные начала» в пользу того, что он обозначил (однако тоже отвлечённым термином) как «положительное всеединство». Сейчас бы это определили как «метафизику солидаризма». В этом направлении отвлечения мысли от дела, а также в сторону религиозной созерцательности, пошли за ним лучшие русские умы. Тогда на оставленных им позициях засели преобразователи мира другого толка, сторонники совсем иного «всеединства». Эти даже не считали нужным полемизировать с учениками Соловьева, а просто стали вылавливать их и отправлять в Нарымский край (об этом Лосев, конечно, не упоминает).

Но последнее слово еще не сказано, да никогда и не будет «окончательного» слова, так что можно думать, что для идей Лосева придёт свой час. Пока же мы ничего не знаем, что стало с ним после 30-го года, книги его изъяты из обращения и ждут пока, под спудом, как светильники из евангельской притчи. Всё о Лосеве окружено тайной — не знают ни кто он был, ни где учился, ни даже жив ли он сейчас . . .

Николай Оцуп

Свобода творчества

Выражение это не сходит за последнее время со столбцов советских повременных изданий, подготовляющих общественное мнение к III Всесоюзному Съезду Писателей, где вопрос будет «всесторонне» обсуждаться.

Мы знаем заранее, что всестороннее обсуждение в СССР может быть только односторонним, но потребность говорить на такую тему нас радует.

В сущности, между обоими терминами, стоящими в заголовке этой статьи, можно поставить знак равенства. В самом деле, свобода может быть воистину свободой только, если она творческая, так же как творчество может лишь тогда называться этим именем, когда оно совершенно свободно.

Великое несчастье современной России в том, что в самой обширной ее части, т. е. в СССР, которой противопоставлена лишь эмиграция, свобода отменена. Оттого там не может быть того, что имеет право называться свободой творчества, а есть лишь то, что в таких условиях остается единственно возможным, то есть *свобода от творчества*. Что же это за свобода?

В «Легенде о Великом Инквизиторе» дано исчерпывающее описание ее основных признаков. Дело, конечно, не в католицизме. Возможно, что по замыслу Достоевского, принципиального ненавистника Римской церкви, она и в самом деле должна была стать единственным объектом его обличений. Но именно потому, что и в этом памфлете, как в лучших созданиях одного из гениальнейших писателей человечества, пророк перерастает литератора и публициста, — «Легенда» стала одним из тех мифов нового времени, значение которых дополняет и разъясняет кое-что в мифах религиозных. Я имею в виду основные, точнее основополагающие мифы хотя бы лишь нашей европейской культуры, то есть мифы Иудаизма, Христианства, Эллады. «Легенда» — это миф о подмене Высшей Свободы организацией несвободы.

В России у католицизма есть прямые защитники: Чаадаев, Владимир Соловьев. Но главное, что говорит сейчас в пользу Рима для мессианизма русского, который всегда ненавидел насилие «и милость к падшим призывал», — это угроза, нависшая над Церковью вообще и особенно над Церковью римской.

Плох или хорош католицизм, дело другое, но Ватикан сейчас впервые под ударом. Для верующих католиков, чистых сердцем, это — возмездие за исторические грехи. Лично я готов засвидетельствовать, что в самых ужасных для него условиях один из таких людей, монах, убежденный католик, рисковал жизнью для бежавших из тюрем военнопленных, партизан, и, прощая многое их гонителям, призывал открыто громы небесные на «священников, послушников, мо-

нахинь. Он ненавидел не Церковь, а косность, эгоизм, ханжество священнослужителей. Для этого современного пророка «Гнев Божий» — не пустые слова. Но так как этот Гнев уже и для обывателей не метафора, а так или иначе объясняемая историческая очевидность, то и к негодованию, на которое мы, конечно, не имеем такого же права, какое есть у того или иного героя-праведника, — примешиваются милосердие, снисхождение, жалость. Оттого-то «Легенда», направленная против римской курии, как бы ищет другого объекта, и оттого, в условиях нашей действительности, разит она не Ватикан, уже и так шатающийся под напором истории, а Кремль, силу новую, гордую собой и своими завоеваниями, обрекающими на исчезновение «старый мир».

Организация несвободы в Ватикане никогда и не была так торжествующе прикрыта любовью к Христу, как это нам внушается в гениальной «Легенде». Папская курия, весь этот двор императора католической вселенной, — не бесспорнейшее, не лучшее в западном христианстве, над которым еще недавно склонялся с любовным благоговением один из праведников православия Петр Иванов, называя священные имена Франциска Ассизского или Бернарда из Клерво. Каждое пророчество раскрывается по-новому в ту или другую эпоху. В наши дни, повторяю, «Легенда» поражает не католицизм, власть никому сейчас не угрожающую, власть, к которой приходят и от которой уходят по своей воле, а коммунизм, эту новую воинствующую церковь, обращающую огнем и мечом в свою веру людей и народы, еще свободные от рабства.

Никогда еще не был так силен отрицательный довод в пользу веры в Бога: лучше с Ним, чем без Него.

Человек в одиночестве, вдвоем и в массе становится единственной мерой вещей, если не признает над собой некоего сверхбытия: наедине с собой атеист — кандидат в самоубийцы, в нем или безумец или себя возомнивший сверхчеловеком, вдвоем он — тиран, ненавистник, в массе он — раб по расчету. Только признав себя нулем, но без ненависти к себе и миру, а значит с признанием высшего смысла за кажущейся суетой сует, человек не противен. Оттого он так невыносим в режимах диктатур, подменяющих свободу в Боге несвободой человеческого насилия. Нельзя взывать к Гитлеру или Сталину, как к Господу Богу.

Достоевский ведь именно к Нему и апеллирует в своей «Легенде», Его добром обличая власть, организованную человеком, только человеком. Обратное происходит сейчас в стране, смертные грехи которой Достоевский предвидел. Можно без опасности впасть в шарж вообразить приблизительно такие слова, которые партийными критиками обращены к их «непогрешимым» вождям:

«Дорогая партия, избавь нас от груза, от ужаса ответственности, от необходимости выбирать, ошибаться, короче — избавь нас от свободы и творчества. Это твои, только твои прерогативы и атрибуты.»

Похоже, не правда ли, на то, что по словам «Легенды» звучало в душах верующих, когда они просили избавить их от свободы в Христе?

«Делай все за нас!» просили они Великого Инквизитора.

«Делай все за нас», обращаются и советски-благонадежные критики к Партии.

Чтобы не быть голословными, разберем одну из статей этого типа. Она принадлежит перу Н. Шамоты и напечатана в 1958 г., в №№ 28 и 29 «Литературной Газеты», авторитетнейшем для поднадзорных литераторов «Органе Правления Союза Писателей СССР».

Н. Шамота назвал свою статью: «О свободе творчества». С уверенностью он говорит, что надо отличать подлинную свободу художника от мнимой. Не будем иронизировать: подлинная — для автора подчинена Партии, мнимая — свободна от партийного руководства.

Пушкинское: «ты сам твой высший суд» Н. Шамота вероятно объяснил бы отсталостью пушкинской эпохи, еще не доросшей до марксизма-ленинизма. Ленин и в самом деле, и Шамота об этом упоминает, утверждал, что искусство никогда и не было нейтральным. Допустим, что это так. Но если, например, Данте не был нейтральным ни в отношении к монархии, ни в отношении к папе, «Божественная Комедия» этим не исчерпывается. Следуй он законам, установленным для искусства Лениным и Шамотой, Данте свел бы к вопросам политики и все мироздание.

Однако Н. Шамота, видимо, примерами великого прошлого ничуть не смущен. Наоборот, он уличает «жалкого индивидуалиста», который-де чувствует себя «этаким пророком». Не беда, что и Лермонтов и Достоевский с Печориным и героем «Записок из подполья» окажутся среди претенциозных, заклейменных Шамотой, позеров. «Смирять себя во имя народа», вот что должны делать художники, достойные похвалы партийного критика.

Что такое смирять себя, Шамота не поясняет. Это, конечно, ничего общего не имеет с религиозной аскезой, но ведь у Ленина все разъяснено.

Еще проще дело обстоит с термином: «народ». О том, что с помощью этого термина величайшие тираны истории распоряжались жизнью людей, превращенных в рабов, вспоминать не стоит. Ведь «ошибки прошлого» не омрачают нынешней победы народа, наконец установившего свою власть.

«Да, у нас бывали и могут быть ошибки и заблуждения», милостиво признает Шамота, но все это для него лишь случайность: в главном Партия непогрешима. «Реалистические стремления художника всегда найдут поддержку со стороны партии», обещает наш автор.

Всё-таки император Николай Первый и даже Бенкендорф не заходили так далеко в претенциозности и цинизме. Свою опеку над Пушкиным они обставляли какими-то соображениями государственной необходимости, как бы извиняясь и оправдываясь. Шамоте церемониться нечего.

«В современном мире идет ожесточенная борьба двух идеологий — социалистической и буржуазной, и в этой борьбе не может быть нейтральных». Эти слова Хрущева, очередного руководителя советской литературы, конечно, основа всего.

О том, что социалистами считают себя и непримиримые враги большевиков, или о том, что «идеологии буржуазной» в мировой литературе уже давно вынесен смертный приговор — советскому читателю знать не полагается. Что же касается права быть нейтральными, то с помощью полиции это право так ведь легко отнять. Пушкин обращался *к черни* со словами:

Подите прочь. Какое дело
Поэту мирному до вас...

Свое право оставаться нейтральным в очередной борьбе за печной горшок Пушкин отстаивал от обывателей, от непосвященных, А можно ли считать непосвященными Хрущева и Шамоту? Кто же лучше их знает, что нужно художнику и народу? Бедняжка Гоголь не дожил до наших великих побед соцреа-

лизма. Сколько он мучился, вопрошая свою совесть! Как боролся с городничими и Чичиковыми, которых при Хрущеве не может быть!

*

Приглашение спорить с коммунистами на их, материалистических, позициях мы отвергаем. Спор о Свободе Творчества неподсуден даже Лиге Наций и другим учреждениям этого типа. Условия купли-продажи, обмен любезностями и угрозами — достояние хозяйственных и политических организаций. Материализм восточный хочет пожрать материализм западный. В этой борьбе Свобода Творчества отсутствует. У нас нет иллюзий о безгрешности Запада. Мы его слишком хорошо знаем. Не будем, конечно, неблагодарны. Запад еще в сфере христианства. Он не провозгласил насилие единственно-праведным орудием борьбы. Слабый луч милосердия христианского, увы, охлажденный до близости к иссяканию, еще как-то может здесь человека согреть. Но западный материализм, это обожествление комфорта, это стремление наспех разделаться с неудобствами исторического масштаба, чтобы скорее и без помехи наслаждаться накопленными богатствами, — разжигает справедливое негодование и зависть обездоленных, ведет к опустошению, к отчаянию и игре в отчаяние, к уступкам обнаглевшему врагу, к подрыву уважения, которым всё реже пользуются отцы, предающие своих детей.

Но только эти язвы переходной эпохи никто из нас не собирается противопоставить коммунистической несвободе. Да ведь там по сравнению с этим — непочатый край здоровых инстинктов: что за аппетит к жизни, к познанию, к строительству, даже без кавычек! Разница между нами и партийными писателями СССР, однако, очень велика: болезнь Запада мы обличаем, и никто нас за это не преследует. Ни один правительственный вестник не может себе позволить говорить правду, не угодную правительству. Казенная коммунистическая пресса называет нас «буржуазными идеологами». Это неожиданный подарок буржуазии, которая показывает пример сверхтерпения: нас она не сажает в тюрьмы, наших писаний не запрещает. А мы говорим всю правду о ней и при этом отказываемся клеветать не только на русский народ, но даже на вас, господа «идеологи коммунизма». У вас довольно преступлений очевиднейших, неискупимых, чтобы мы должны были прибегать к сгущению красок. Мы даже не отрицаем, что кое в чем ваше зверское и подчас изуверское извращение действительности нам иногда понятно. Вы тоже ненавидите индивидуализм бесплодно-самовлюбленный. Вы хотите истребить его расстрелами и несвободой, мы таких средств лечения болезни века не принимаем.

Расстрелянный вами Гумилев не выносил упадочников, истерических эстетов, всепонимающих ничевоков и, по своей прямолинейности, был вам близок. Но был он с вами только в этом. Мы даже и в этом с вами расходимся. Но и Гумилев, и вы, и мы совпадаем в желании упростить сложность бессмысленную, в требовании сказать, что мы называем добром и что для нас — зло. Не пеняйте только на нас, если окажется, что вы для нас — зло, несмотря на ваши инстинкты, кое в чем по-звериному здоровые. Вы — зло потому, что у вас, повторяю, не Свобода Творчества, а свобода от Творчества.

*

Парадокс Истины в том, что она — последняя простота, но и последняя сложность. Велик соблазн идти по прямой, то есть сразу, без задержек: от сознания к тому, что хочешь познать. Но познания истинного этим путем достигнуть

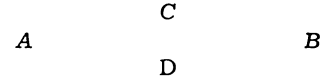
нельзя. Оно — сложность в простоте и простота в сложности. Оно — квадратура круга. И в этом, только в этом разгадка, почему Свобода Творчества так ошеломляюще трудна.

Прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. Оттого соцреализм, который правильнее было бы назвать наивным реализмом, идет по прямой, издеваясь над всеми, кто ищет окольных дорог. Но они, эти окольные дороги, ведут к цели, а попытка ворваться в суть бытия, идя напролом, приводит чаще всего к расшибанью лбов о стену. В этом превознесении мудрости сложнейшая философия совпадает с интуицией простого народа. В своих сказках он не раз показывает, что обходный путь короче и вернее прямого.

Попробуем схематически изобразить два пути познания.

Первое, упрощенное, помещает сознание и бытие на прямой: *A*——————*B*. Второе, якобы усложненное, а на самом деле, единственно-истинное, вводит еще две точки, находящиеся выше и ниже прямой, соединяющей *A* и *B*.

Вот схема этого второго познания:



По этой схеме наше сознание (*A*) по дороге к познаваемому явлению (*B*) обязательно должно подняться до *C* или опуститься до D. Ясно, что самым полным актом познания окажется двойная операция: нисхождение и восхождение.

Вопреки наивной логике так называемого соцреализма, истинное творчество учит нас никоим образом не идти сразу к предмету познания, но стремиться или взойти сначала на огромную высоту (к Богу) или погрузиться в страшные бездны (в ад подсознания, где изнанка вещей). В величайших произведениях искусства схема такова:

A	D	*C*	*B* или —
A	*C*	D	*B*.

Зачерпнув беспредельного света (*C*) и беспредельной тьмы (D), сознание наше постигает в том, что ему предстоит, его непреходящую сущность.

Дантовский Ад, падение Тамары в «Демоне» Лермонтова, «Записки из подполья» или «Исповедь Ставрогина», всё это погружение в инфернальное оправдано необходимостью дойти до дна, чтобы с тем большей силой взвиться вверх, в ту наполненную высшим смыслом и присутствием высоту, в которой — Бог.

Это, конечно, опыт смертельно опасный для опускающихся: сколько из них не вернулось назад. Какие воистину прекрасные жертвы поглощены обаянием всеотрицания, этой стихией почти абсолютной правды, которая для своей полноты повелевает рискующему дополнить нисхождение восхождением, оторваться в какой-то момент от якобы последней реальности дна, чтобы перенестись из «нет» в «да». Этого «да» не успели произнести многие поэты, если не величайшие, то воистину гениальные. Операция погружения на дно грозит безумием, преступлением, смертью. Но запрещать такого рода героизм по причинам школьной морали — дурная услуга человечеству.

Добродетель уместна и ценна всегда и всюду. Но ее опека не должна стеснять Свободу Творчества, характернейшая черта которой — риск, право жертвовать

собой, возможность срыва. Заботы коммунистических воспитателей о доброй морали граждан СССР, может быть, и не всегда лживы и двусмысленны. Но во всяком случае они ничего общего с Творчеством не имеют.

Добавим для справедливости, что и моралисты западные, запрещающие углубление опыта ценой нисхождения в тьму, забывают о Черной Ночи Св. Иоанна Креста. Если бы этот святой не отважился сойти в нее, он бы не вышел к Христу.

Из всего этого отнюдь не следует, что погружение на дно — единственно-верный путь свободного творчества. В России предреволюционной нездоровая мистика с ее религиозно-сексуальными извращениями вдохновляла нередко и значительных поэтов и мыслителей, и то, что было ценным в декадентстве и символизме, грозило потонуть в прямой разнузданности литераторов, упоенных «искренностью» своих поз. Эта искренность уже без кавычек была главным стимулом есенинщины, явления сложного и опаснейшего своим обаянием кажущегося героизма. Погружение на дно слишком легко становится самоцелью, и глазами сознательно опустившихся познается как поза и ложь любая правда религиозная. Перед лицом тюремной цензуры, которой заменена свобода творчества в советской России, есенинщина предстает в неподдельном ореоле правды. Но даже правда таких погибших на дне, как Бодлер, Эдгар По или Блок не может выдержать сравнения с правдой целостной: и нисхождения и восхождения.

Псалмы Давида, великого грешника и праведника, житие Зосимы рядом с величайшими ужасами разоблаченного дна человеческой души (а в наши дни хотя бы только на Западе кое-какие из драм Клоделя или полотен Руо) подтверждают, что на пути величайшей поэзии стоят выше всех — Данте и Пушкин.

В моей статье «Персонализм как явление литературы», напечатанной в № 32 «Граней» я пытался объяснить, почему именно они — знамя возрождения в наши дни. Данте и Пушкин — моралисты в единственно полноценном, даже священном, смысле этого обезображенного и поруганного слова. Оба напоминают, что погружение на дно так же легко может стать позой и шарлатанством, как самое благочестивое вознесение.

*

Свобода и Творчество как высшие проявления добра воплощены до конца в Иисусе Христе. Это — центр, где всё, что было, есть и будет в плане божественном, то есть в плане Истины, хотя и непостижимой, но ощущаемой как реальность, — слито со всем, что было, есть и будет в плане земном, человеческом, познаваемом, познанном и подлежащем познанию. Никакие ухищрения богохульства или преувеличения ханжества не изменят последней для человека правды хотя бы только евангельских притч. Никакие трактаты по социологии не превзойдут, например, притчи о добром самаритянине. Демонически настроенные субъекты, хотя бы и одаренные бесспорным даром сладкогласия, не убедят, что они, а не добрый самаритянин — друзья ближнего.

Убыль христианства — непреложный исторический факт. Но это явление нашей человеческой истории, законнейшее как неизбежная кара за все извращения правды и отступничество от нее. Коммунизм не только должен, он не может не победить, если Христос — не Истина. Западный либерализм всего лишь антитезис коммунизма. Это очень много, и еще раз спасибо за это Западу. Но синтез — Евангелие. Ошибки и грехи Церкви и еще большие преступления ее

разрушителей, если они посягают на Слово, а не только на слова, здесь просто ни при чем. Говоря даже трезвым языком истории, — есть в одном центре венец всего античного и начало нового и будущего мира. Вот почему, восходя к этому центру, мы невольно судим о качестве явлений.

И нет колебаний: Тот, Кто осудил богатство и возвысил бедность, Тот, Кто освятил труд и презрел тунеядство «зарывающих талант в землю», как-то, в образе какого-то ограбленного видения, присутствует в идеях Маркса и даже в их последнем по односторонней жестокости искажении: в коммунизме. Один из самых независимых и бесстрашных людей России и один из самых чистых ее поэтов — Лев Толстой и Александр Блок, — уж во всяком случае не кривили душой, накликая на свою родину революцию, которая им обоим мерещилась как христианская победа социальной справедливости.

Ни один советский писатель не создал образ «буржуя» более убийственно правдоподобный и убедительно отталкивающий, чем это удалось сделать Достоевскому, «консерватору и ретрограду», когда он заклеймил много острее, нежели автор «Мещан» Горький, вечного мещанина-копеечника Лужина. Произошло это именно потому, что Достоевский шел всегда путем нисхождения и восхождения, тогда как Горький — только по прямой.

Если же говорить о Достоевском в связи с тем, что мы только что назвали образом Истины, то и здесь поражает гигантская амплитуда колебаний поэта. Он сам предупреждал противников-атеистов, что может им дать много очков вперед в жажде отрицания. Но для очень большой совести нет опасности уйти окончательно от Христа. Вот почему современная нам форма приближения к религии через искусство слова, Персонализм, так далека от проповеди хорошего поведения. Добродетель маленьких моралистов Персонализму смешна не менее, чем демонизм, превращаемый в спорт или разврат.

Вернемся к «марксизму-ленинизму». Повторяю: Христос, добро абсолютное, слабо мерцает за любыми попытками улучшить условия жизни обездоленных. Великий Инквизитор коммунизма запер Его в подвал Чека (или МВД). Но поцелует ли и сейчас Христос своего тюремщика, как в «Легенде»? И даже, если бы Он его поцеловал, как это наверно хотелось Блоку в период написания «Двенадцати», значило ли бы это, что грех его новому тюремщику отпущен? Наверно, нет.

Христос простил Инквизитора за себя, не за пасомое им стадо. Невообразимо, чтобы Он простил большевизму миллионы расстрелянных во имя тех мер социальной справедливости, которых на Западе достигают без жертв, тем более, что этой социальной справедливости большевики у себя не установили и, как теперь ясно, никогда установить не смогут.

Разрыв между Христом и большевиками — абсолютный, непреодолимый, окончательный. В холоде эмиграции мы не могли не понять, что смысл нашей судьбы — возвращение к Нему. В каких бы условиях, искаженных уродством мелкочеловеческих страстей и страстишек, ни протекала наша жизнь, мы ближе к христианству, чем большевики.

Ближе нас к нему, пожалуй, лишь те из наших соотечественников, которые там на месте изнывают под всеми «притеснениями цензурными, церковными, тюремными и прочими». Слова, взятые мною в кавычки, как это ни парадоксально, принадлежит перу все того же Н. Шамоты, которого я уже цитировал выше. Но эти его собственные слова не мешают ему быть с теми, кто во имя Партии притесняет, а не с теми, кто даже без всякого имени притеснения терпит. Эмиграция

не мираж лишь потому, что наша связь с Россией страдающей крепнет с годами. Сколько у нас подтверждений оттуда, что сердцем она, Россия истинная, с нашим, а не с их хозяином: с Христом, а не с Политбюро.

*

Написать современную пьесу или роман вовсе не значит сделать героем их большевика или антибольшевика, фашиста или антифашиста.

Давно уже известно, что драматических положений мало, что истинно-художественные идеи вращаются в сфере вечности. Только преломления их в той или иной выбранной поэтом среде или эпохе непрерывно возобновляют всё ту же правду, сублимированную в религиях. Антигона или Татьяна Ларина, Медея или Раскольников, Федра или Настасья Филипповна — всё это разные лики вечных идей и судеб.

Одобрение какой бы то ни было административной организации для выбора сюжета — высшее извращение Свободы Творчества. Если бы Пушкин изменил Бориса Годунова по желанию своего августейшего цензора и советчика, его бессмертное творение погибло бы. Поэт и сам ничего не устанавливает окончательно, приступая к труду:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.

Как всегда у Пушкина, поэта, кажется, наиболее свободного от каких бы то ни было ошибок слуха или неточностей выражения, все определено до конца. Роман его — свободен, а что такое свобода, каждый знает так же хорошо, как знает, кто ему причинил зло, а кто хочет ему добра.

Магический же кристалл — это и есть творчество. Конечно, поэт — волшебник. Именно поэтому вызывает он нередко духов злых, духов могучих, надолго поселяющих смятение в душах. Слава Богу, наш величайший поэт в этом грехе неповинен. Счастье России — в том, что она дала человечеству самую светоносную в истории поэзию: трудно найти равного Пушкину лирического героя. Весь до конца выраженный и отраженный в своем Творчестве (вот уж случай написать это слово с заглавной буквы) он отвечает на все сомнения. Это он, не споря ни с кем, опровергает посягательство на Свободу не только художника, но и любого человека.

Идеологи коммунистической, то есть управляемой (да еще какими методами!) литературы, имеют смелость учить писателя, кто может быть его героем. Торжественно напоминается при этом, что революция приобщила к литературе массы читателей, до сих пор от нее отстранявшихся. Эти новые читатели в какой-то мере будто бы объясняют вмешательство Партии в дела литературные. Диалектика сановных опекунов проста: массы нуждаются в освещении таких-то вопросов такими-то методами. Литература — могучее орудие для организации масс и т. д. и т. д. Все это или заведомая ложь или недомыслие. Массам не надо льстить. Они в этом не нуждаются. Массы, или точнее человек в массе, достаточно умны, чтобы не видеть в поэзии предмет «ширпотреба». «В поэзии все роды хороши, кроме скучного». Опять — он, Пушкин.

Герой поэзии — тот, в ком свободный художник узнал или себя или ему чуждое. Никто не властен что бы то ни было подсказывать в процессе тайновидения. Результат должен быть прост и доступен. Но пути к доступной простоте так же сложны, как все жизненные явления организма.

Иди, куда влечет тебя свободный ум!

Нет опасности, чтобы массы не поняли Пушкина. Но есть уверенность, что они не полюбят навязанной им тенденциозной литературы.

На Западе организацией массового чтения занимаются только бульварные газеты. Они вправе гордиться многомиллионными тиражами. Но их читатель, благодарный за доступную чепуху, и не ищет в них того, что может дать ему поэт. Ни герой литературного произведения, ни его читатель не определимы усилиями предержащих властей или коммерческой ловкости.

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
И пониманье нам дается,
Как нам дается благодать.

Герой литературный рождается в тайниках «сокрытых дум», читатель, до которого новый образ дойдет, никому не известен. Нет и не может быть рецепта, как и о чем писать, чтобы за это были благодарны массы. Греческим мореплавателям жители одного отдаленного от их родины места разрешили причалить только, если они знают наизусть Эврипида. Анекдот, конечно, но показательнейший. Труднейший из трагиков, Достоевский того времени, оказался нужным, как хлеб, каким-то людям из народа, вкусившим настоящей поэзии.

Кто б ни был ты, о, мой читатель . . .

Вот именно: кто бы ты ни был, а вовсе не созванная на собрание группа несвободных людей. Поэт не может знать своего истинного читателя в лицо. Читатель-друг, читатель-союзник даже для уверенного в себе гения — великая радость и награда. Этой радости заранее лишены писатели, осужденные своими суровыми опекунами на общение с читателем, вынужденным любить по указке. Такому читателю часто приходится ломать комедию, интересоваться до тоскливой тошноты тем, что навязывает Партия. На Западе этого, конечно, нет и в помине. Здесь грехи другого порядка: погоня за массовым читателем создает культ сенсаций, нездоровый ажиотаж, лишенный чувства ответственности. Там Свобода Творчества подавлена, здесь ею пытаются торговать.

Но «Доктор Живаго» Бориса Пастернака такой же акт свободного творчества, как здесь на Западе «Чума» Альберта Камю. Мы все были бы удовлетворены, если бы и Пастернак получил нобелевскую премию за свой свободный талант, как получил ее его западный собрат.

Гг. коммунистические идеологи, ведь вы-то знаете, что спор у нас не о судьбе «эксплуататоров и богачей». Признанный нами Учитель осудил их на веки вечные, а западный социализм, никого не истребляя, стесняет все решительнее произвол хищничества. Монополии на спасение неимущих у вас нет. Многие при вашем появлении угадали в вас кару за эгоизм прошлого. Теперь те грехи оплачены с лихвой. Остается ваша действительность.

Пока Блок по чистоте и доверчивости поверил, что вы несете не только возмездие, но и новую форму свободы, он был с вами. Но довольно было нескольких месяцев, чтобы он понял: дело не в «буржуе», который «стоит на пе-

рекрестке и в воротник упрятал нос». Дело в Христе, который судит чернь, правящую страной. Речь Блока о Пушкине — защита народа от тех, кто пользуется именем народа для уничтожения Свободы Творчества.

То, что вы называете генеральной идеей века, раскрылось для него, как идея генералов нового века. И этих генералов за их генеральские повадки, за их узость, за их тюремный режим он возненавидел.

А Блок был истинным поэтом, то есть носителем Свободы и героем Творчества.

*

Мы рисковали бы чрезмерно расширить тему, если бы в этой же статье вступили в спор с западными литераторами, касающимися нашей проблемы. Для Н. Шамоты и его друзей все эти «буржуазные идеологи» окрашены в один цвет. Мы прекрасно знаем, что в климате свободы гражданской, той, которую западные установления обеспечивают, разногласия и глубоки и велики. Здесь нет насильственного нивелирования, здесь каждый отвечает за себя. Но так как известное всем изречение: «рыба ищет ,где глубже, а человек, где лучше» было бы правильнее изменить, подчеркивая, что именно человеку настоящему свойственно искать, где глубже, то и получается, что люди одной эпохи невольно сходятся там, где есть непридуманная глубина. На этой глубине всегда и везде мыслители и поэты стягивали к себе целые группы современников, организуя «идею века».

Для людей порабощенных эта идея обязана совпадать с директивами поработителей. Так, в гитлеровской Германии она и у писателей и у власти сводилась к тому, что господствующей расе, немцам, позволялось притеснять другие народы. В фашистской Италии, более добродушной и явно игравшей роль непосильную, идеей века считалось возрождение Рима Августов в Риме Муссолини. В Советской России забыли, что и нацисты и фашисты были совершенно так же уверены в том, что именно они воплощают «генеральную идею века», как сейчас в этом уверены коммунисты. Но если бы даже оказалось, что именно они материально и физически на более или менее долгий срок подчинили бы себе «старый мир», идея века всё же оставалась бы вне этих фактов, потому что она не определяется успехами и поражениями в плане ей чуждом. Как ни велико значение политики и экономики в жизни народов, идея века не вмещается в них, так как в их сфере век не долог. Даже Ленин признавал, что разным периодам истории соответствуют разные формы, ветшающие более или менее быстро. Идея века обращена к вечности. Оттого-то истинно выражающие ее творения никогда не ветшают.

Данте бессмертен, но смертна монархия в той форме, в какой поэт ее воспевал. Бессмертен Микель Анджело, но смертен папа Юлий, хотя он и был добрым гением великого артиста. И уж наверно смертен епископ Коллоредо, притеснявший бессмертного Моцарта.

По тем же причинам для идеи века Хрущева просто нет. Он — фигура или фигурка истории, ждущая суда потомства. Но смысл жизни человека в СССР или на Западе — вне Хрущева. Другими словами, «идея века», термин столь любезный Н. Шамоте и другим теоретикам «свободы творчества» в самой несвободной в истории стране, это прежде всего — выход из тех измерений, которые нам навязаны действительностью. Это и есть Свобода Творчества, то есть отказ от прямой. Ведь и вся коммунистическая действительность не менее, чем плоский соцреализм, истребляя религию и свободу личности, идет только по прямой. А

идея века то потрясает человечество в последнюю глубину отчаяния, то возносит на божественную высоту, то сливает в себе ту и другую бездну. Она не может быть определена притяжением или отталкиванием к тому или от того, что дорого Ленину и большевикам.

Идея века всегда опережает на много лет свою реализацию. Она огромнее меняющихся событий, потому что она — спор человека с Богом.

Гётевский Фауст продолжает быть идеей и нашего века, тогда как в наших душах уже созревает, а может быть уже и созрела идея века будущего.

Фауст — воистину пророчество о веке Эйнштейна. Только сейчас, в эру чудес ничуть не меньших, чем те, которыми народное воображение и гений Гёте окружили образ Фауста, мы это видим. Мы тоже, как средневековый доктор, владеем знаниями непомерными, и власть нашего Мефистофеля также велика и также ограничена. Гёте знал, что без добра наука — игрушка дьявола. Мы это переживаем.

Другая идея века — «Легенда о Великом Инквизиторе», с которой мы и начали эту статью. Она тоже оказалась потрясающе точным пророчеством. Насильственная организация масс коммунистами, эта подмена глубины и высоты плоскостью материализма, — дело рук нового Инквизитора.

Другими словами идея века в творческом замысле ее носителей сложилась в прошлом столетии, а в наши дни она дозрела до своей исторической реализации. Сама по себе идея века обратна тому, что происходит на площадях. Ее не надо путать с событиями истории.

Две силы определяют ход этих событий в наши дни: атомная энергия и выход на первый план четвертого сословия — пролетариата. Это несомненно — приобретения человечества, если только оно справится с соблазном бесконтрольной науки и по тюремному контролируемых судеб.

Свою особую окраску идея века, Фауст и «Легенда», получила в конце прошлого столетия на Западе: Ницше и Бодлер определили форму нового отчаяния. В эту бездонную воронку опустошения завлечены почти все огромные таланты нашего времени. Назову хотя бы наиболее близкого нам по времени и наиболее дорогого не только потому, что он — поэт русский, Александра Блока. Обе действующие силы наших дней, мощь науки и жестокость революции, его истощили. Так же, как сгорел он, сейчас продолжают вянуть и погибать сотни юношей и девушек на Западе. Все это искупительные жертвы безвременья. Подобно великому своему собрату Блоку они слышат «ветер, ветер на всем Божьем свете», но, не желая себе лгать, они не находят утешения. А между тем идея века, это истинное дитя Свободы Творчества, уже несомненно покинула и Ницше и Бодлера, как вознеслась она над боями масс. Кризис индивидуализма она пережила, осудив его. Насилие во имя масс она отвергла, как слишком грубую подделку под социальное и христианское добро.

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду сомнений и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.

Эти мудрые слова Анны Ахматовой полны милосердия и понимания. В них уже намек на то, где нужно искать глубину и высоту для обретения истинной идеи века. Как разделаются наши потомки с насилием и фанатизмом, судороги которых называются сейчас марксизмом-ленинизмом, не нам гадать. Но мы твердо

знаем, что идея века не зависит от количества автомобилей, радиоприемников и даже от успеха или неуспеха полетов на луну или Марс, как не зависит она и от того, что всеми благами науки сможет пользоваться более широкий круг людей, имеющих на это полное право. Ни прогресс науки и техники, ни борьба за мнимое и даже за истинное освобождение бедных и трудящихся не находятся больше в сфере замысла. Это, наоборот, всемирное торжище с громкоговорителями, с перипетиями коммерческих и партийных преуспеяний и крахов, с битвами и сделками. Словом, это историческая жатва, а посеянные Гёте, Достоевским и позднее Ницше и Марксом идеи требуют обновления. Народ и гений — одно. Ни Данте, ни Шекспир, ни Гёте, ни Пушкин не повинны в грехе отрыва от той группы ближних, которая образует нацию. Народные сцены, как голос античного хора, сопровождают глубочайшие откровения дантовского Ада и Макбета, Фауста и Онегина. Народ говорит устами своих поэтов, но при их жизни он почти никогда не знает их в лицо.

Какова идея века, способная организовать не насилием, а властью своего обаяния жизнь будущих поколений, узнают наши потомки. На пути полной свободы, единственно творческой, гений искателей зашел слишком далеко в ад вседозволенного, в упоение отрицанием. Наши «все-таки», которыми после искреннейших и часто достойнейших излияний отчаяния, пестрили наши стихи, пора заменить честным «да».

У Достоевского, как у Данте, мотивы зла почти беспредельны в своем могуществе. Но у того и у другого ударение стоит не на зле, а на борьбе с ним. У Пушкина добро переполняет чашу жизни, льется через край. А Гёте оставил нам завет, остающийся действенным и сейчас: «отвыкать от всего половинчатого и стремиться жить только без колебаний, в добром, цельном, прекрасном».

В условиях любого времени этот завет относится к победе человека над собой. Трагедия жизни — в божественных масштабах такой задачи.

Гадина, располагающая атомной энергией, не должна быть хозяином мира. Капитализм или коммунизм не улучшают гадину. Ее улучшает только тоска по Богу: через ад — к Нему. Это — дорога Персонализма, одна из форм Свободы Творчества.

В. Майцев

Два течения в литературе и искусстве народов Кавказа

1

О партийных прислужниках

Как и в других местах России, на Кавказе были и имеются в среде интеллигенции отдельные приверженцы КПСС. Кое-кто из научно-технических работников, писателей, людей искусства по-прежнему служит антинародной власти. Если раньше от них просто отворачивались, часто боясь открыто высказывать свои мысли и отношение к ним, то сейчас уже никто не скрывает своего презрения к этой кучке партийных прихлебателей и карьеристов.

Из грузинских писателей и поэтов особенно рьяными защитниками партийной линии в литературе проявили себя Шалва Дадиани, Сандро Эули, Алио Мирцхулава (он же Машашвили), Георгий Леонидзе, Ираклий и Григорий Абашидзе, Ило Мосашвили и Александр Абашели.

У Дадиани, прожившего долгую, но бесславную жизнь, наиболее крупным «произведением» является пьеска «Из искры...» — о молодых годах палача грузинского и других народов России Сталина.

У Эули самая большая «поэма» — «Автор эпохи» — также посвящена тирану. «Ленин», «Лайтурский комсомол», «Марш ударных бригад», «Родина вождя», — таковы говорящие сами за себя названия «стихотворений» Мирцхулава.

Леонидзе написал нечто вроде «романа» в стихах, названного им «Сталин. Эпопея». Сия «эпопея» получилась у него настолько обширной, что в течение нескольких лет небезызвестный Николай Тихонов смог перевести на русский язык только ее первую «книгу» — «Детство и отрочество».

Ир. Абашидзе известен подобным же «творчеством», в частности, «стихотворениями» — «Прощание с Цулукидзе» и... «К товарищу Лаврентию Берия».

В «активе» Гр. Абашидзе — «поэма», посвященная все тому же Сталину («Весна в Черном городе») и текст (совместно с Абашели) так называемого «государственного гимна Грузинской ССР». У Абашели, кроме того, можно встретить полную всяких измышлений «поэму» под заголовком «Германия» и стишки того периода, когда он скрывался в глухих уголках, а немцы стояли у ворот Грузии, — «Не подпускай, бей его».

Особо следует отметить Георгия Гулиа. Как и его отец, старый сухумский стихоплет и переводчик «Интернационала» на абхазский язык, Георгий Гулиа, лауреат «сталинской премии» с 1949 года, продал свое перо за деньги. Всё, что он написал, от первой до последней строчки, в высшей степени лживо и целиком

и полностью направлено против жизненных интересов простых людей Абхазии, Грузии и России. Его «повести» — «Весна в Сакене» и «Кама», посвященные счастливой якобы жизни колхозников в маленьком горном селении, — образцы бесчестнейших приемов и сплошной выдумки, так как в действительности ни в Сакене, ни в Земо-Ажаре, Лате, Абдухваре, Хеви, Гваде и прочих селах Абхазии нет и в помине того, что показано в этих «повестях». В них Гулиа силится убедить читателя в том, что колхозники Сакена будто бы радуются своему труду и положению в сельхозартели, на самом же деле условия работы и жизни абхазских крестьян чрезвычайно тяжелы. Колхозники получают очень мало продуктов на трудодни, одеты плохо, постоянно испытывают острую нужду в топливе. Тем не менее, у Гулиа хватило наглости выступить с болтовней о «счастливой жизни» абхазских крестьян, являющихся всего лишь «коллективными рабами правящей в стране коммунистической партии. Хватило у него совести опубликовать и «повесть» о несуществующей к этой партии любви и удовлетворении установленными ею порядками («Добрый город»). Многолетний член редакционной коллегии московской «Литературной газеты», Гулиа напечатал на ее страницах не одну фальшивую статью...

В Азербайджане за верность пресловутому социалистическому реализму крепче всех стоял известный Самед Вургун (Самед Вургун Юсиф оглы Векилов). До настоящего времени не пересмотрел своих взглядов и не отошел от партии Мирза Ибрагимов (он состоит членом Центральной ревизионной комиссии КПСС и пребывает на посту председателя Президиума Верховного Совета Азербайджана). На протяжении всей своей литературной деятельности ничего народного не создал Мехти Гусейн (Мехти Али оглы Гусейнов): двадцать лет назад он написал «роман» «Половодье» — о гражданской войне, показанной им с сугубо партийных позиций, затем опубликовал новый «роман» — «Тарлан», восхвалявший ненавистный азербайджанскому крестьянству колхозный строй, еще позднее из-под его пера вышел «роман» о «борьбе за нефть» — «Апшерон», удостоенный «сталинской премии», и, наконец, напечатал «рассказы» о бакинском комиссаре Мешади Азизбекове...

Запятнали свои имена и Расул Рза, Энвер Мамедханлы, Искандер Эфендиев и некоторые другие писатели и поэты.

В Армении больше других постарался для партии Наири Зарян.

У писателей и поэтов Дагестана, Северной Осетии, Кабарды, Черкесии и других областей Северного Кавказа «образ» Сталина появлялся редко, а сейчас, конечно, исчез и вовсе, причем большинство писателей и поэтов данных областей решили, вопреки новому курсу КПСС, не беспокоить также и «образ» Ленина. Правда, в недавнем прошлом были и здесь мрачные фигуры вроде выжившего из ума старика Сулеймана Стальского, но их влияние осталось ничтожным. Кстати, «слава» Сулеймана не вышла бы за пределы его лезгинского села Ашага-Сталь, если б его не поднял на щит приставленный к нему «переводчиком» коммунист Эффенди Капиев, и если бы Горький не поспешил окрестить его «Гомером двадцатого века». Но насколько он был Гомером, говорят названия его «творений», к тому же препарированных соответствующим образом Капиевым: «Песня о товарище Сталине», «Я буду петь большевиков», «Светочу мира, любимому Сталину», «Принимая от товарища Калинина орден Ленина», «Поэма о Серго Орджоникидзе» и даже «стихотворение» о... Матиасе Ракоши!..

Таких «гомеров» на Северном Кавказе было еще трое: адыгеец Теучеж Цуг, аварец Гамзат Цадаса и лак Абуталиб Гафуров. Последний «прославился» после

того, как Емельян Ярославский прочел на XVIII съезде партии его «песню» о Сталине — «Реки стремятся к морю»...

В настоящее время партийной ориентации придерживаются буквально единицы. Это адыгеец, член КПСС с 1928 года, лауреат «сталинской премии» Тембот Керашев — переводчик «Интернационала» на адыгейский язык и автор «рома » о колхозном строительстве — «Дорога к счастью»; кабардинец, член КПСС Адам Шогенцуков, написавший ряд «идейных» произведений, в том числе основанную исключительно на выдумках «повесть» о кабардинской колхознице — «Весна Софият»; осетин, старый коммунист Дабе Мамсуров, автор «романов», проникнутых «социалистическим реализмом» — «Тяжелая операция» и «Поэма о героях»; аварец, член КПСС, лауреат «сталинской премии» Расул Гамзатов, издавший признанные официальной критикой «произведения» — «стихотворение» — «Горцы у Ленина», «поэму» — «Год моего рождения» и сборник «Песни гор»; кумык, член партии Амир Курбанов, пишущий «пьесы», в которых нелегкая судьба кумыкского и других народов Дагестана подается в розовом свете; лак Юсуп Хаппалаев, даргинец Рашид Рашидов, лезгин Шах-Эмир Мурадов и еще несколько человек, — коммунисты, засоряющие поэзию своих народов бездарными, но угодными партии «стихотворениями».

Из деятелей искусств интеллигенция и всё население Кавказа выделяют и клеймят позором таких прожженных карьеристов, как кинорежиссер Михаил Чиаурели и придворный артист Михаил Геловани. Первый, начиная с тридцатых годов, неизменно исполнял заказы сверху: в кинофильмах «Последний маскарад» и «Великое зарево» он воспевал приход к власти большевиков, в картинах «Клятва», «Падение Берлина» и «Незабываемый 1919-й» показывал Сталина. Второй двенадцать лет подряд играл роль Сталина в театре и кино и четыре раза удостаивался «сталинской премии» за эту поистине гнусную роль.

Почти все «работы» грузинского живописца Ивана Вепхвадзе посвящены истории коммунистической партии. Скульптор Силован Какабадзе занимался только «творением образа вождя»; «И. В. Сталин — семинарист», «И. В. Сталин в детстве» и прочая скульптурная продукция принесла ему немалый доход. За один монумент Сталина, установленный в Тбилиси, Какабадзе получил около 100 тысяч рублей. В Азербайджане с ним соревновался некий Фуад Гасан оглы Абдурахманов, который в придачу к скульптурным портретам Сталина «делал» еще Мир Джафара Багирова. На всем этом Абдурахманов заработал, кроме больших денег, и звания заслуженного деятеля искусств Азербайджана и члена-корреспондента Академии художеств СССР. Бедные искусства и бедная Академия, где по сей день подвизаются такие жалкие ремесленники!

По числу подобных «талантов» Азербайджан, кажется, впереди. Назовем еще одного «художника и искусствоведа», как его величают в Баку, — Лятифа Гусейн оглы Керимова. В отличие от других, сей «искусствовед» избрал полем деятельности ковроделие. Он получал десятки тысяч рублей за «разработку» сюжетов ковров и «руководство» мастерами, то-есть за то, что давал «эскизы» ковров с портретами Ленина и Сталина и выполнял роль обыкновенного бригадира-надсмотрщика. За один из ковров с портретом диктатора — размером в 70 квадратных метров — Лятиф Керимов сразу отхватил несколько десятков тысяч рублей в виде «сталинской премии».

Из армян особенно отличился, конечно, Д. Налбандян («ушлый Налбандян») — живописец, половину своей жизни отдавший изображению ненавистных

народу физиономий «вождей». Как это ни прискорбно, но часть его живописной мазни попала даже в Третьяковскую галерею.

Перечисленные «писатели», «поэты» и «художники» не пользуются никакой опорой в народе. Симпатии и поддержка интеллигенции и всего населения Кавказа на стороне тех, кто предан истинному искусству и двигает его вперед, несмотря на многочисленные преграды и подчас невыносимые условия для творческой деятельности.

2

За подлинную литературу

Среди писателей и поэтов Кавказа имеются как окончательно вставшие на независимый от установок партии творческий путь, так и колеблющиеся. Впрочем, эти последние колеблются еще как бы только внешне — одни из них с партбилетами, другие успели в прошлом написать кое-что противоречащее сегодняшнему положению вещей, — им труднее порвать и внешне со сковывающими их партийными цепями и условиями. Но внутренне они уже сделали выбор в пользу народа. Самостоятельную и значительную группу составляют литераторы, всегда стоявшие в оппозиции к режиму.

Многие заслуживают упоминания хотя бы потому, что даже в самые мрачные годы сталинской реакции решительно отвергали так называемый метод социалистического реализма, предпочитая ему и всяким премиям и орденам свободное от противоестественной коммунистической доктрины литературное творчество.

Вспомним произведения крупнейшего грузинского писателя Константина Гамсахурдиа, подвергавшегося все эти годы жестокой травле со стороны партийной критики видных партработников.

Высококультурный одаренный писатель, получивший образование в Германии, Гамсахурдиа опубликовал свои первые произведения еще перед Октябрьским переворотом. Как они, так и написанные им в советский период романы и новеллы постоянно были объектом грубых наскоков, несмотря на то, что в Грузии они пользовались и пользуются любовью читателей. Относительно «Встречи с мертвецом», «Порцелана», «Табу», «Улыбки Диониса» и других новелл и романов Гамсахурдиа унтеры от критики нашли, что они «отражают буржуазно-декадентские взгляды». В трехтомном романе «Похищение луны» (был написан в 1936 году) заметили «сильное влияние буржуазной, антиреалистической литературы». Недоброжелательно был встречен и его исторический роман «Десница великого мастера» — о Грузии первой половины XI века. Еще хуже отнеслась официальная критика к трилогии «Давид Строитель», вышедшей после войны. Автора обвиняют в том, что он «не смог воспроизвести картину подлинной социально-политической жизни Грузии» того времени. Особенно вызывающими были нападки на Гамсахурдиа московского «литератора» В. Гольцева и проживающей в Тбилиси «писательницы» Анны Антоновской. Будучи еще на посту первого секретаря ЦК КП Грузии, Кандид Чарквиани позволил себе обвинить Гамсахурдиа, большого знатока грузинского литературного языка, талантливого переводчика «Божественной комедии» и других шедевров, — в том, что язык его произведений «не современный». Чарквиани нагло заявил, что Гамсахурдиа «упорно старается заставить советских людей заговорить языком раннего средневековья, приправленным западноевропейскими варваризмами». Чаквиани

и ему подобным явно не по себе от того, что лучший грузинский писатель пользуется языком грузинского народа, а не современным партийно-советским жаргоном.

Гамсахурдиа остался независимым честным тружеником литературы, поэтому и не попала на его грудь ни одна орденская лента, ни одна лауреатская медаль. Вся мыслящая Грузия благодарна Гамсахурдиа за настоящие книги и мужество, проявленное им в борьбе с клеветниками.

Другим достойным представителем литературы является «выразитель упадочных настроений буржуазной интеллигенции», как его квалифицируют до сих пор лакеи КПСС, — Йосиф Гришашвили, крупный поэт-лирик, чьими стихотворениями и поэмами зачитываются в Грузии и двадцатилетние студенты и глубокие старики. Гришашвили (его настоящая фамилия Мамулашвили) обвиняется в «индивидуализме», в «стремлении замкнуться в узкий круг личных переживаний», — в «грехах», совершенно несовместимых с принципами «соцреализма». Но что правда, то правда, — сборники стихов Гришашвили — «Букет роз», «Фантазия», «Поцелуй мечты», — вся его лирика действительно далека от «современных» задач КПСС. Гришашвили любят читатели и за его книги «Лермонтов и грузинская литература», «Островский и грузинский театр», за умные статьи о Пушкине, Крылове и о других русских классиках.

Большим уважением окружено и творчество писателя Раждена Гветадзе, в прошлом видного представителя группы символистов. Гветадзе, как и Гамсахурдиа, неоднократно обращался к исторической тематике. Вместо работы над рекомендованными темами, Гветадзе также занимался переводами на грузинский язык классиков русской и мировой литературы. Даже лишь тем, что познакомил родной народ с замечательной древнеиндийской поэмой «Рамаяна» и французским эпосом «Песнь о Роланде», Гветадзе принес ему больше пользы, чем Георгий Леонидзе или Сандро Эули с их песнопениями поработителям России. Можно было бы назвать еще ряд грузинских писателей и поэтов, чье творчество полностью или в значительной части послужит опорой в дальнейшей борьбе за создание новой национальной литературы (Лео Киачели, покойный Валериан Гаприндашвили, Д. Шенгелая и другие).

Это — художники старшего поколения. Но и для молодых литераторов Грузии также характерен смелый отказ от коммунистической идеологии. Вместе с тем, некоторые писатели и поэты из молодежи пока что обходят острые проблемы социальной жизни, волнующие народ, не ушли еще дальше отрицания партийных взглядов на литературу. Однако и это уже хорошо! Ничего, что отдельные еще грустят и, подобно Хута Берулава, даже под Новый Год радуются както по-своему, с грустью:

Как все года, уходит старый год,
Нам седины прибавив неизбежной...
Год Новый! Твой приветствуем приход!
Тебя встречаем с верой и надеждой!

Как солнца свет, всю землю обойди,
К прекрасному и светлому причастен,
И всех, кто честно трудится, найди
И награди их, награди их счастьем!

Как брат, от всех напастей защищай,
Будь добрым, справедливым и правдивым,
Будь щедрым, как сама земля, и дай
Осуществиться всем благим порывам!

В армянской литературе в последние годы произошли еще более знаменательные сдвиги. Аветик Исаакян — крупнейшая после Ованеса Туманяна фигура в литературе Армении XX века — остался с народом. Помимо вдохновенной поэзии убитого чекистами Егише Чаренца, чрезвычайно популярной лирики Сильвы Капутикян и стихов других поэтов, в Армении появились первые смелые произведения молодых литераторов, в том числе направленная в защиту человеческой личности поэма «Нелегкий разговор» Паруйра Севака, отдельные интересные рассказы и повести Норы Адамян, Серо Ханзадяна, Вахтанга Ананяна и других.

Поэма Севака содержит в себе открытый протест против насаждаемого партией «коллективизма» во всем, даже в таких вопросах, где он просто немыслим. Севак возмущается вторжением «коллектива», всевозможных партийных, профсоюзных и комсомольских активистов, составляющих этот «коллектив», и так называемое «общественное мнение», в душевный мир людей, в самое сокровенное и святое их чувство — любовь. Поэт смело разоблачает наглость и ложь проводников казенных взглядов на вопросы морали, отстаивает свободу личности:

Не по душе мне тех советов лживость,
что обещают тишь да благодать.
Советуйте другим. Я вам не жидкость,
чтоб форму по посуде принимать.

В рассказе «Судьба Ануш» Нора Адамян без всяких недомолвок говорит о безрадостном положении колхозников, показывает местных руководителей — коммунистов — в качестве врагов народа, кем они и есть в действительности. В беседе с одной женщиной Асмик Терзян, измученная трудом в колхозе и всё же лишенная крыши над головой, передает свою беседу с председателем колхоза Чупикяном следующим образом:

«Говорю этому Чупикяну: «Долго мне под открытым небом спать? Одну машину прошу на час, камень привезти. Человек ты или нет?» Он отвечает: «Не имеешь права в мой кабинет входить и требовать».

Комментарии, как говорится, излишни. Адамян сумела показать, что в проводимой Хрущевым «новой» политике в деревне ничего нового нет, что обильные разговоры об облегчениях для колхозников далеки от мрачной действительности. Впрочем, на этот счет достаточно ярко выразился один из героев рассказа, старый колхозник Якуб: «На бумаге всё можно написать. Сто раз скажи «халва», все равно во рту сладко не станет».

Страницы подлинных обвинительных актов против режима имеются в повести Вахтанга Ананяна «Пленники Барсова ущелья», отлично переведенной на русский язык А. Гюль-Назарянцем. Почти единственные отрицательные образы в книге — это председатель колхоза коммунист Арут и заведующий складами коммунист Паруйр. Оба предстают перед читателем отвратительными типами. По отношению к колхозникам они ведут себя возмутительно.

Школьник Ашот Сароян обращается к юному пастуху Асо (тут Ананян мимоходом разоблачает версию о том, что в СССР «все дети школьного возраста

учатся»): «Асо, расскажи, пожалуйста, почему... вы так плохо живете? Ведь твоя мать — доярка на ферме, ты — пастух, а отец — знатный скотовод. Почему же у вас такая бедность, а?» На это Асо отвечает, что как-то заведующий фермой поручил его отцу отвести к Паруйру для зачисления и сдачи на заготпункт овец — сто семьдесят три штуки. Отвел их, а когда вернулся на ферму, выяснилось, что в расписке о получении Паруйр отметил на пятьдесят пять овец меньше (ни Асо, ни его отец не умеют читать; еще одно разоблачение лжи — о том, что Армения — «республика сплошной грамотности»). Юный пастух с плачем рассказывает своим сверстникам, как судили его отца за якобы продажу овец на сторону. «Бумажке поверили, нам — нет». В конце Асо говорит: «Ну, и решили, что делать нечего, придется возместить «недочет» этот — пятьдесят пять овец... Вот и трудимся и никак пока не можем от этого долга избавиться».

Но не это главное. Вот что говорит в кругу товарищей юный Ашот:

«Я себе целью поставил стать председателем нашего колхоза... Я стану агрономом, вернусь в село и скажу всем: «Так народом не правят!.. Думаете, к славе стремлюсь? Нет, я хочу помочь нашим колхозникам, хочу, чтобы им лучше жилось и не было несправедливостей... Арут вынуждает колхозников коров ему продавать, душит людей. Видели, что сделал в прошлом году?.. Грамма сена не выдал на трудодни и запретил колхозникам для своих коров косить траву на полях. Где же совесть? А у тех, кто по ночам немного нарвал, отнял, да еще обвинил их в том, что бросив колхозные дела, занялись личными. Почему мать Шушик свою корову продала? Почему мы продали? Потому, что нечем было кормить. Да разве так с народом поступают?»

Повесть Ананяна — приключенческая, предназначена для детей старшего возраста, но и в ней автор постарался найти место для широкого и энергичного протеста против колхозного строя и всей политической системы. Нам кажется, что по своим взглядам писатель Ананян ушел дальше реформистов, и не исключено, что он выступит с новыми, еще более значительными разоблачениями.

Немало интересного и в произведениях северокавказских писателей и поэтов. Цитаты заняли бы слишком много места, поэтому ограничимся указанием, что литература горцев тоже быстро освобождается от налета казенщины. О том, что «образы» Ленина и Сталина у них померкли, мы уже говорили. Литераторы Дагестана, Северной Осетии, Кабарды, Адыгеи, Черкесии, за исключением упоминавшейся кучки коммунистов, стремятся создать произведения, которые укрепляли бы веру горской бедноты в грядущее торжество свободы и содействовали бы росту протеста против господства КПСС.

На Северном Кавказе литераторы разбиваются на три группы: первая — вставшие на путь активной поддержки требований масс, вторая — отошедшие от партии, но еще не включившиеся в действенную борьбу, третья — избравшие сторону народа, но пока предпочитающие молчание. О литературе чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев не говорим, так как в результате трагедии, постигшей их по воле «великого друга народов» и его «верных соратников», она сейчас не существует. В Дагестане курса правды и честности придерживаются Анвар Аджиев, Абдул-Вагаб Сулейманов, Гаджи Залов и другие, в Северной Осетии — Георгий Кайтуков, Ашах Токаев, Тазе Весаев и другие, в Адыгее — И. Машбаш, в Кабарде — Алим Кашоков, Амирхан Шомахов, Аскербий Шортанов и другие.

...Существуют самые различные суждения о современных писателях и деятелях искусства России. Одни склонны прощать многим их ошибки в связи с тем, что условия, мол, такие, другие становятся на путь огульного порицания

всех, нередко лишь потому, что те или иные творческие работники формально состоят в КПСС. Однако подобные рассуждения и всякие крайние оценки явлений неправильны и несправедливы. Илья Эренбург — беспартийный (не странно ли?), но разве он не хуже любого из партийных писателей-крикунов? Почему, если иметь в виду эти и в самом деле нелегкие условия, выдающийся армянский художник Мартирос Сарьян, о котором мы еще скажем, мог всё же не писать по заказу, а Александр Герасимов, например, не мог пропустить ни одного заказа?

Отдельные из упоминавшихся нами современных грузинских азербайджанских и армянских писателей и поэтов (Григорий Абашидзе, Энвер Мамедханлы и другие) во второй или третий раз переделывают свои «произведения», всё стараясь попасть в тон (политика партии ведь стала часто меняться), и в то же время есть писатели, которые не только ничего не переделывают, но еще и восстанавливают, издают ранее запрещенные произведения. Приведем выдержки из стихотворений, рассказов и романов одного автора с Кавказа, и пусть те, кто с ними не знаком, решат сами, чьи книги лучше, — Ильи Эренбурга, увешанного орденами и лауреатскими медалями за свои старания для партии, или этого автора, включившего в собрание своих сочинений (в 1956 году) произведения, откуда взяты выдержки.

...Ранняя лирика (стихи «Морозно»), подходящая под ярлык «индивидуализм»:

В небе ткани зимние, розовые, синие.
Дым ложится пятнами, бледными, как тень.
Весь в броне сверкающей, весь в оковах инея —
О, как я люблю тебя, лучезарный день!

Стихотворение «Чеченка»:

Последний луч на минарете
Крылом тяжелым стерла ночь.
Вот зов муллы, другой и третий...
От родника иду я прочь.
. . . . . .
. . . . . .
Аллах, защитник правоверных,
Что знаю я и что могу?
Ах, сладок сон ночной порою...
Что горе брата, гнев отца?
От них не спрячу под чадрою
Я побледневшего лица!

«На подоконнике» — опять «индивидуализм», «стремление замкнуться в узкий круг личных переживаний»:

У земли для любви не найдется
Сладких слов, возносящих любовь...
То, что к сердцу из сердца пробьется, —
Немотою любви славословь.
Верь, не тщетно над миром возносит
Нас святого безмолвия час:
Ведь сама тишина произносит
Это слово любви вместо нас.

...Ночь. Допела последняя птица.
Ходит ветер в саду, бормоча.
Ах, как сладко плечу приютиться
У навеки родного плеча!

Стихотворение, с точки зрения апологетов «соцреализма», порочное во всех отношениях, — «К Армении»:

С какой отрадой неустанной,
Молясь, припоминаю я
Твоих церквей напев гортанный,
Отчизна дальняя моя!
Припоминаю в боли жгучей,
Как очерк милого лица,
Твои поля, ручьи и кручи
И сладкий запах чебреца...
Веленью тайному послушный,
Мой слух доныне не отвык
Любить твой грустно-простодушный,
Всегда торжественный язык.
И в час тоски невыразимой
Приют последний обретя,
Твое несчастное дитя
Идет прилечь к тебе, к родимой...

Стихотворение «Ода времени», полностью противоречащее термину «советское время»:

Суди грядущим поколеньям
Опять грядущее найти!..
Ты тленный прах даруешь тленью.
Но формы, где рождался Бог,
Животворит прикосновенье
Твоих легкокрылатых ног.
Творец, не жди мгновенной дани
И тьмы забвенья не страшись!
Что время сжало в мощной длани —
Оно, летя, возносит ввысь.
Ты — цепь души неутоленной!
Чем от тебя я отделю
Свой смертный разум, прикрепленный
К тебе, как пламя к фитилю?..
Но на стебле твоем растущем
Хранит незримая ладонь
Взвиваемый к небесным кущам
Познанья медленный огонь.
И, может быть, в предверье света,
Остебеленный кончив путь,
Вспорхнет, как голубь, пламя это
Бессмертной Истине на грудь.

Судья людей в любви и гневе!
Всем взмахам твоего крыла,
Тебе, кормящее во чреве
Мечту о вечности — хвала!

Рассказ «Три станка» — о собрании на фабрике имени Ногина в Ленинграде: «Толпа работниц казалась разъяренной. Лица были красны, глаза сверкали. Нас встретили градом таких ругательств, что моя интеллигентская душа поджалась зайчиком... Хуже всего было плотному председателю треста. И его, и его трестовскую енотовую шубу крыли без всякого сострадания. Ясно было, как дважды два, что рабочие взбешены, что они не желают переходить на три станка». Далее — «выступил на сцену председатель треста, самый непопулярный человек в эту минуту в зале. — Ребята, вы говорите, — вам туго, мы на вас нажимаем, дерем с вас три шкуры? Совершенно верно. А что же вы думаете, на кого нам нажимать, кроме вас?»

В романе, написанном, как и этот рассказ, в советский период, действующие лица говорят:

Офицер (своему университетскому товарищу, поддавшемуся большевистской агитации на фронте Первой мировой войны): «Ты... не можешь понять позорности происходящего. Тебе не больно, когда рушится государственное единство, попирается национальная честь... Сын родины должен чувствовать, как хозяин. Будь ты хозяин, ты бы вместо братанья пошел и дал ему прикладом в морду». Другой по адресу большевиков: «Требуют сепаратного мира, прекращения войны! Какая гнусность по отношению к России, к союзникам! Этого не простит никто...» Третий, после Октябрьского переворота: «Если б не дали беспрепятственно вести безумную крайнюю проповедь, республиканский строй в России окреп бы и привился». Четвертый, профессор, будучи в Добровольческой армии: «Учитесь, друзья мои, у заклятых врагов... Вы знаете, что привело к революции? Прокламации, ловко составленные листовки, летучки, воззвания».

В другом романе интеллигентная женщина, схваченная за торговлю... коржиками, пишет на имя местного начальника-большевика: «Да, я нарушила введенные вами законы потому, что мне надо прокормить, кроме себя, еще двоих детей и больного старика. Вы разорили нас, отняли всё, что мы имели, и взамен предоставили голодную смерть. Я работаю где и как могу: шью, готовлю, хожу стирать, нанимаюсь для чистки квартиры, для поденных работ. Но знайте, что в вашей стране, где совершена революция, работа от 7-ми утра до 10 вечера не спасает от голода. Мне осталось испробовать ту форму унижения и труда, которую вы называете спекуляцией, но вы отняли у меня всё, что я вынесла для продажи и что должно было накормить мою семью».

В третьем романе встречаются следующие высказывания арестованного чекистами ученого: «За последние пять лет первый раз заснул спокойно. Тюрьма — единственное место для честного человека у большевиков... для меня это единственное место, где я себя могу чувствовать свободным. Имею в виду свободу впечатлений. На пресловутой «свободе» меня побеждает однообразие советских впечатлений». «Если что было в истории стоящего, так оно родилось из сопротивления среде. Сам Ленин родился из антитезы среде. А марксизм для меня величайшее уродство, безобразие, чушь, — именно потому, что учит солидаризироваться со своей средой. Возьмите новое слово «социальный заказ». Разве не ересь? Когда, где, при каких условиях искусство отвечало на рыночный спрос?

Искусство отталкивается от рынка, растет наперекор... Работать на заказчика всё равно, что плевать на свою голову».

Наконец, рабочий-мастер в романе-комплексе — о первых послеоктябрьских годах — говорит в адрес ослепленной демагогией большевиков толпы:

Шумите вы, покуда флаг советский
Болтается над старой комендантской
Да дюжина красноармейцев бродит
По улице, пугая индюков.
А ежели б приспело подкрепленье,
Да красные на годы укрепились,
Отведали б вы райского житья!
Работали б весь день на производстве,
А вечером в комиссиях и клубах,
А в праздники — ногами и руками,
По улицам знамена волоча.
Да брали б с вас на ясли и газеты,
В союзы, мопры, химы, в пользу дурней,
Кто на земле бунтует и бастует, —
По кровному рублишке да полтишке, —
Оставив вам советскую копейку
На сладкое советское житье.

Всё это принадлежит перу выдающейся писательницы-армянки Мариэтты Шагинян, создавшей свыше 70 книг — больше, чем ею прожито лет. Среди них есть, разумеется, отдельные книги, не отвечающие требованиям широких слоев населения, но подавляющее большинство ее произведений правдивы и читаются миллионами. Мариэтта Шагинян относится к числу тех современных писателей России, которые пользуются наиболее широкой популярностью и уважением, поэтому нельзя согласиться с несправедливыми высказываниями некоторых людей в России и за рубежом относительно Шагинян, не знающих или не желающих знать того хорошего, что написано ею.

3

Лучшие представители искусства

Какие бы материальные лишения и трудности ни испытывали люди, а любовь к прекрасному у них никогда не угасает. Вдохновенная игра артиста в правдивой роли, образ трепетной жизни на картине художника, захватывающая ария из оперы или просто задушевная песня композитора, — всё это необходимо человеку, как иная пища, без которой и вовсе трудно было бы жить.

Заслуга лучших представителей искусства Кавказа в том и состоит, что они поддерживают в народе его стремление к возвышенному, содействуют росту его духовного мира. В условиях разнузданной пропаганды и агитации КПСС, постоянного давления на умы господствующего марксистско-ленинского учения и всей политической системы, — творческая работа деятелей искусств приобретает особо важное значение.

...Для драматического театра на Кавказе характерен почти полный отказ от рекомендуемого сверху «современного» репертуара. Из него идет столь мало

пьес, что их можно, как говорится, пересчитать на пальцах (не такая уж «современная» теперь и пьеса Константина Тренева «Любовь Яровая»!). Режиссеры и актеры берутся в основном за произведения русской и иностранной классической драматургии, за пьесы дореволюционной драматургии и произведения современных авторов, посвященные опять-таки дореволюционным, историческим темам.

В Тбилиси, в театрах имени Шота Руставели, имени Коте Марджанишвили и имени Александра Грибоедова ставятся, например, «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Без вины виноватые», «Вишневый сад», пьесы современных грузинских писателей — «Бараташвили» М. Мревлишвили (о крупнейшем представителе романтизма в национальной литературе XIX века), «Тариэл Голуа» Лео Киачели (на историческую тему), «Маринэ» М. Бараташвили (комедия, высмеивающая многие стороны советской действительности; имеет огромный успех и в других городах, где она идет под названием «Стрекоза»). Наряду с известными мастерами (Акакий Васадзе, Верико Анджапаридзе, Акакий Хорава) в спектаклях участвуют артисты, завоевавшие признание зрителей, — Э. Апхаидзе, Г. Сагарадзе, В. Годзиашвили, Ц. Цуцунава, Г. и Н. Давиташвили, З. Гомелаури, А. Жоржолиани, С. Закариадзе, П. Кобахидзе, Т. Чавчавадзе и другие.

Весьма показателен пример крупнейшего в Армении театра имени Габриэля Сундукяна: на его сцене не ставится ни одна советская пьеса! «Маскарад» Лермонтова, «Живой труп» Льва Толстого, «Вишневый сад» Чехова и драмы армянских классиков — «Дядя Багдасар» А. Пароняна, «Утес» В. Папазяна и «Намус» Александра Ширванзаде, — вот что показывается ереванскому зрителю. Вместе с главным режиссером В. Аджемяном заслуга в осуществлении подлинных спектаклей принадлежит известным и за пределами Армении актерам — В. Папазяну, Г. Нерсесяну, В. Вагаршяну и другим.

В репертуаре самого крупного в Азербайджане драматического театра в Баку мы встречаем несколько пьес Александра Островского, «Отелло» и «Двенадцатую ночь» Шекспира, «Ревизора» Гоголя и «В 1905 году» Джафара Джабарлы, не свободную, однако, от отдельных извращений исторических событий.

Театр горских народов отличается своей любовью к прошлому, к пьесам, в которых повествуется о дореволюционных героях и национальных традициях. В этих пьесах много места отводится песням и танцам. Огромное внимание уделяется старинному эпосу, мифологической тематике. В Дагестане виднейшим деятелем театра является кумык Гамид Рустамов. Музыку к спектаклям пишет композитор Готфрид Гасанов. Между прочим, Гасанов написал также оперу, хотя в Дагестане нет еще своего оперного театра. Об этом мы упоминаем только для показа творческих интересов местных деятелей культуры: опера Гасанова «Хочбар» посвящена легендарному национальному герою Дагестана. Об одной из народных песен о нем Л. Толстой в письме к своему другу Афанасию Фету отмечал, что «песня о Хочбаре — удивительная».

Наиболее развитый на Северном Кавказе осетинский театр известен как неутомимый пропагандист прошлого. В городе Орджоникидзе (Владикавказе) идут пьесы по мотивам эпических «Нартских сказаний» и о легендарных героях осетинского народа («Чермен» Гриша Плиева и другие), драма «Коста» Татари Епхиева и Ивана Джанаева — о классике осетинской литературы К. Хетагурове, а также в переводе на осетинский язык: «Отелло», «Король Лир», «Разбойники»; «Васса Железнова» М. Горького и комедии местных авторов — Давида Туаева и Ашаха Токаева: «Желание Паша» и «Женихи». То же самое и в Кабардино-Балкарии — национальный театр в Нальчике показывает зрителям пьесы о далеком

прошлом народа, не фальсифицируя его в соответствии с требованиями КПСС, — драмы по мотивам кабардинского эпоса, главная идея которого выражена в следующих замечательных словах:

Только тот достоин счастья,
Кто добудет счастье людям.

...Музыка народов Кавказа всегда привлекала к себе внимание богатством мелодий, жизнерадостностью. Многие выдающиеся русские композиторы с большим интересом записывали на Кавказе песни — героические, лирические, бытовые, трудовые, застольные, здравицы и т. д. Очаровательные восточные романсы Александра Алябьева — «Черкесские песни», песни «Грузинская», «Кабардинская» и другие, его опера «Аммалат-бек» по Бестужеву-Марлинскому и музыкально-драматическая сцена «Кавказский пленник» по Пушкину были созданы в результате близкого знакомства с музыкой кавказских народов. В основу блестящей фортепианной фантазии Милия Балакирева «Исламей» легли кабардино-адыгейские мелодии. Сергей Танеев написал даже специальную работу о музыке горцев. Трудно перечислить всех крупных композиторов, в той или иной мере обращавшихся к многообразному музыкальному творчеству населения Кавказа.

В настоящее время музыка на Кавказе в таком состоянии, что если отбросить в сторону немногие бездарные вещи, привнесенные в нее некоторыми, с позволения сказать, «композиторами» в советский период, — она покажется в удовлетворительном состоянии. Коммунистическая партия не смогла ни убить старую музыку, ни помешать рождению новых произведений, являющихся тем, чем они и должны были явиться, — икусством.

Весьма показательно творчество старейшего композитора Грузии Дмитрия Аракишвили: за всё время советской власти он не написал ни одного произведения, содержащего хотя бы малейший отклик на призывы коммунистов создавать музыку, «достойную сталинской эпохи» и отражающую «пафос созидания коммунизма». От своих популярнейших романсов «На холмах Грузии» по Пушкину и «В царство розы и вина приди» до любимой грузинским народом оперы «Шота Руставели» Аракишвили остается страстным поклонником и защитником не терпящего политики искусства.

Из грузинских композиторов старшего поколения много сделал для продолжения национальной музыки в послереволюционный период и Андрей Баланчивадзе, окончивший Тбилисскую и Ленинградскую консерватории (в обеих по классам композиции и фортепиано). Баланчивадзе написал ряд симфонических картин, симфоний и концертов (из них особенно удачны картина «Озеро Рица» и 2-й концерт для фортепиано с оркестром), балет «Сердце гор», идущий с успехом в Тбилиси и Ленинграде, музыку к историческим кинофильмам «Георгий Саакадзе» и «Давид Гурамишвили», много камерных инструментальных произведений. Плодотворно работает Реваз Габичвадзе. Он написал ораторию «Витязь в тигровой шкуре» по Шота Руставели, симфонии, скрипичный и виолончельный концерты, романсы и другие произведения. Из молодых композиторов Грузии добился известности Отар Тактакишвили — автор нескольких подкупающих своими высокохудожественными формами камерных и оркестровых произведений, замечательного концерта для виолончели с оркестром и фортепианного трио, полюбившихся публике 1-й симфонии, хоров и романсов.

Однако, крупнейшей фигурой в современной музыке Кавказа и одним из лучших композиторов России является армянин Арам Хачатурян. Его симфонии,

особенно 2-я, поэмы, фантазии, сюиты, концерты, вальсы и самое значительное произведение — балет «Гаянэ» — становятся популярными и за пределами СССР, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Вместе с Рейнгольдом Глиэром, Юрием Шапориным, Дмитрием Шостаковичем и другими Арам Хачатурян входит в ведущую группу композиторов страны. В 1957 году в репертуар многих театров страны вошел новый балет Хачатуряна — «Спартак».

Ныне, когда в силу всё нарастающего стремления деятелей литературы и искусства к свободе творчества партия вынуждена отступать, композиторы торжествуют, радуются в связи с поражением ждановщины и безо всякой боязни отвергают любые попытки снова набросить на них цепи «партийности». Сейчас композиторы просто смеются по поводу всего того, что диктовал им всемогущий Андрей Жданов и что должно было являться для них законом. Нет, в дальнейшем они не намерены больше внимать каким бы то ни было «вождям» и терпеть их «мудрые» наставления вроде следующих (принадлежат всё тому же Жданову): «Звон тарелок и звук барабанов должен быть исключением, а не правилом в музыкальном произведении», «Не всякий натуральный звук должен быть перенесен в музыкальное произведение»...

Этим отказом от «партийности» объясняется и то, что в ереванском театре оперы и балета имени А. Спендиарова идут «Алмаст» классика армянской музыки Спендиарова, «Аршак Второй» А. Чухаджяна, «Ануш» Армена Тиграняна, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Отелло», «Кармен», «Чио-Чио-Сан», «Севильский цирюльник», балет «Гаянэ» Хачатуряна...

В бакинском театре оперы и балета имени Мирза Фатали Ахундова ставятся оперы и балеты, воскрешающие минувшие в веках события в истории Азербайджана, — «Кер-Оглу» Узеира Гаджибекова, «Шахсенем» Рейнгольда Глиэра, «Девичья башня» А. Бадалбейли, «Семь красавиц» Кара Караева, далее «Иван Сусанин», «Спящая красавица», «Аида»...

В Тбилиси также не ставится ни одна опера или балет на советскую тему. Идут оперы «Даиси» и «Абесалом и Этери» Захария Палиашвили, «Шота Руставели» Дмитрия Аракишвили, «Коварная Дареджан» Мелитона Баланчивадзе, «Кето и Коте» Владимира Долидзе, «Сказание о Тариэле» Ш. Мшвелидзе (написана в послевоенный период), балет молодого композитора Давида Торадзе «Горда» (тоже на историческую тему).

В театрах оперы и балета Еревана, Баку и Тбилиси с радостью участвуют в свободных от марксистско-ленинской идеологии спектаклях Татевик Сазандарян, М. Тавризян, Гоар Гаспарян, Бюль-Бюль Мамедов, Г. Алмас-Заде, Г. Гаджибабабеков, Петр Амиранашвили, Давид Андгуладзе, гордость грузинского и русского балета — Вахтанг-Чабукиани, и другие. В Москве работают крупный актер и режиссер Б. Захава (театр имени Евгения Вахтангова), певцы Давид Гамрекели, Зара Долуханова, Павел Лисициан, главный дирижер Большого театра Александр Мелик-Пашаев и многие другие.

Представители народов Кавказа, работающие в области изобразительных искусств, также видят свой долг в решении высоких творческих задач. Об этом свидетельствуют, например, пейзажи, живописные и графические портреты старейшего художника Армении Мартироса Сарьяна, некогда активного участника много сделавшей «Голубой розы». Среди его работ, относящихся к двадцатым и тридцатым годам, мы видим портреты артистов В. Папазяна, А. Воска, М. Манвеляна, расстрелянного перед войной поэта Егише Чаренца, архитектора Александра Таманяна и других. В последние пятнадцать лет к ним прибавились портреты артистки Галины Улановой, писателя Аветика Исаакяна, дирижера и

скрипача Константина Сараджева и других деятелей культуры. Все эти портреты выполнены с большим мастерством, ярки и выразительны. Богаты сочетаниями цветов, неповторимы передачей пространства и изображением предметов пейзажи Сарьяна «Арагац», «Лалвар», «Долина Арарата», «Полдень» и остальные картины, созданные им за последние десять лет. Ни за Ленина со Сталиным, ни за «пафос сталинских пятилеток», ни за прочие «реалистические» темы не взялась рука Мартироса Сарьяна!

Отвержение работниками искусств Кавказа коммунистической идеологии ныне стало непреложным законом, убийственным для партии фактом. Находясь в преддверии 40-летия Октябрьской революции, партия старалась изобразить дело так, будто бы интеллигенция Кавказа и других районов страны «едина с КПСС» и с энтузиазмом готовится к «празднику». Но нет ничего более противоречащего действительности, чем эта лживая пропаганда КПСС. Несмотря на специальные директивы ЦК КПСС и его постановление от 16 марта 1957 года «О подготовке к празднованию 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции», на Кавказе решительно ничего не делалось для встречи «праздника» в желаемом и требуемом партией направлении. Каковы результаты специальных совещаний и «бесед», в большом количестве проводившихся с работниками искусств в отделах пропаганды и агитации ЦК нацкомпартий, обкомов, горкомов и райкомов КПСС? Что дали указания насчет подготовки по «особым», «юбилейным» программам?

Возьмем Грузию. Здесь тбилисский драматический театр имени Шота Руставели подготовил по своей «юбилейной» программе спектакли «Царь Эдип» Софокла (в главной роли поочередно играют А. Васадзе и А. Хорава), «Борис Годунов» Пушкина и «Отелло» Шекспира. Театр оперы и балета имени Захария Палиашвили создал такие «октябрьские» спектакли, как балеты «Лауренсия», «Дон-Кихот», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель» и «Отелло» по трагедии Шекспира (композитор Алексей Мачавариани, балетмейстер Вахтанг Чабукиани). Композитор Давид Торадзе закончил оперу «Невеста Севера» (Либретто И. Нонешвили). В ней изображается жизнь А. С. Грибоедова («невеста Севера» — жена Грибоедова княгиня Нина Чавчавадзе). Поэт Д. Гачечиладзе, композитор А. Букия и актер С. Закариадзе создали оперу «Арсен» — об известном национальном герое Грузии. Театр принес огромную радость тбилисской публике и тем, что потрудился над постановкой оперы «Орлеанская дева» Чайковского, которая никогда раньше не шла в Грузии, а в России последняя постановка ее была как раз 40 лет тому назад. Накануне «праздника» театр имени Котe Марджанишвили взялся показать тбилисскому зрителю такие далекие от «духа Октября» спектакли, как «Царь Ираклий» Л. Готуа, «Изгнанник» грузинского классика Важа-Пшавела и «Ричард III» Шекспира. Русский театр имени А. Грибоедова внес в свой план пьесы: «Хевисбери Гоча» (по произведению национального классика Александра Казбеги), «Грибоедов» М. Мревлишвили и «Расточитель» Н. Лескова. Новыми спектаклями драматического театра в Батуми явились «Гамлет» Шекспира и «Сид» Корнеля в переводе батумского поэта Георгия Салуквадзе.

«Готовилась» и студия «Грузия-фильм»: она выпустила картину-сказку «Цискара», чья тема насчитывает примерно две тысячи лет, экранизировала историческую повесть грузинского классика Акакия Церетели «Баши-Ачуки», дала зрителю фильм «Песнь Этери» о композиторе Захарии Палиашвили, подготовила картины: «Фатима» по поэме осетинского классика Коста Хетагурова, «Мамелюк» по повести Учараго, «Отарова вдова» по повести грузинского классика

Ильи Чавчавадзе, «Илья Чавчавадзе» (документальный фильм) и «Свадьба соек» по произведению Важа-Пшавела (мультипликационный фильм).

Отдельные литераторы, композиторы, художники и другие работники искусства «откликнулись» на призыв «создать произведения на современные темы» следующим образом: абхазский поэт Баграт Шинкуба закончил поэму о дореволюционном народном герое Киахьбе Хаджарате, скульптор Т. Асатиани выполнил скульптуру «Борец» (на спортивную тему), художник Д. Габашвили написал композиционный портрет скрипачки Марины Яшвили, композитор Отар Тактакишвили закончил музыку к драме Шекспира «Зимняя сказка», балерина В. Цигнадзе завершила работу над партией Дездемоны в балете Алексея Мачавариани «Отелло», — всех не назовешь! В тбилисском университете драматический коллектив студентов и женский хор в результате многомесячной работы «обрадовали», наконец, партком тем, что представили: первый — постановку «Смехотворные жеманницы» Мольера на французском языке и второй — «Аве Мария» Шуберта на немецком языке...

Творческие работники Армении свою «юбилейную» программу также составили довольно интересно. Вышел в свет балет композитора Эдгара Оганесяна «Мармар» на сюжет сказки О. Гукасяна, которая явилась, в свою очередь, воплощением старинной армянской легенды о любви крестьянской девушки Мармар к пастуху Арамэ. Композитор Вартан Тигранян написал оперу «Сос и Вартирер» по роману крупного дореволюционного писателя Армении П. Прошяна. Композитор Г. Арменян закончил оперу о великом просветителе прошлого Хачатуре Абовяне. «Юбилейной» постановкой армянских артистов в Тбилиси явился спектакль «Дочь Ганга» по роману Рабиндраната Тагора...

Мысли и дела деятелей литературы и искусства Кавказа — ярчайшее свидетельство жестокого идейного поражения КПСС и торжества духа правды и свободы.

А. Мазурова

МИР ЛЮБВИ

(В ответ на книгу Эриха Фромма «Искусство любить»)

> «Из всех употребляемых слов, самое затасканное, замызганное, обветшалое — слово Любовь; перепетое, затхлое, осклизлое слово, о котором горланят с миллионов трибун и слащаво подвывают по миллионам громкоговорителей; слово, которое стало оскорбительным для хорошего вкуса и чувства порядочности, которое не решаются сказать, как непристойность. Но сказать это слово нужно, вопреки всему. Любовь — последнее слово».
>
> Алдус Гаксли «Завтра, и завтра, и завтра».

Приведенные выше слова А. Гаксли не новы, но ново то, что о Любви пишет не поэт, а ученый мыслитель; что подсказаны они не эмоциональным волнением, а реальным опытом и, при всей парадоксальности, слова эти неоспоримы и убедительны.

Эмоциональная биография Человека, богатая тайной, драмой и счастьем в прошлом, обнищала в нашу эпоху, отстала в развитии от опередившего ее знания. Ему принадлежит сейчас ведущая культурная роль; даже воображение работает успешнее в сфере науки. Хотя любовь и остается творческой стихией в жизни людей, она осела на дно своих физиологических начал и утратила вдохновляющую воображение ценность. Этот современный кризис любви наступил как результат течений XIX века, когда наука самонадеянно взялась разрешить все тайны, отказывая человеку в его надприродных началах и тем оставляя его без духовного стержня — веры в их существование. Это течение способствовало большому прогрессу науки, развитию интеллекта, но упадку духовных ценностей и господству материалистического строя сознания. Индустриальная революция, осуществленная во имя гуманистических идеалов — освобождения людей от внешних тягот жизни, открывшая ему возможность обратить свои силы и время на самоусовершенствование, сегодня служит преимущественно материальным достижениям. Усовершенствование условий жизни стало не средством, а целью.

Но мы уже свидетели того, что ученые не только признали наличие надприродных свойств Человека, но пытаются произвести сдвиг в сознании людей в сторону обогащения жизни трансцендентальными ценностями, и видят в Любви

одну из возможностей таких осуществлений. Современный известный биолог Юлиан Гаксли в своем новом труде «Религия без откровения», говоря о «верованиях завтра», пишет, что «высокое чувство святыни и трансцендентальных ценностей утверждается в художестве, музыке и в любви».

И он — не единственный, но размер статьи не позволяет приводить много подобных высказываний. Приходится ограничиться разбором недавно вышедшей в США книги Эриха Фромма «Искусство любить», целиком посвященной теме Любви и тесно связанной с настоящим моментом. И тут о любви пишет не поэт, а мыслитель и психолог, анализируя состав чувства, его истоки, опыт и влияние на любовь современной западной цивилизации. Книга дает не исчерпывающий, но богатый материал о человеке, эмоционально опустошенном сегодня и трагически одиноком в толпе, хоть и обогащенном новым знанием и возможностями, включая возможность разрушения, если единящее людей начало Любви не вернется в жизнь.

Известно, что в существе человеческой жизни лежит факт, что, хотя человек и вышел из животного царства, но п е р е ш е л природу. Он всё же — часть её, но, перейдя ее ограничения, вернуться к ней вполне он не может. В этой двойственности натуры человека и драма, и богатство его переживаний. Об этом Фромм пишт так:

> «Рай единства с природой покинут. Человеку осталось только идти дальше. Искать и находить новую гармонию... Когда человек рождается, он выбрасывается из определенности (как определенны инстинкты) ...открыт неопределенному и возможному. Определенно только его прошлое, а в будущем известна лишь — смерть... Человек это — жизнь, сознающая себя, и это факт, что вне его воли он родился и против своей воли умрет, и раньше него могут умереть его близкие... Он одинок и беспомощен перед природой и обществом. Он сошел бы с ума, не будь ему открыта возможность слиться с людьми и внешним миром... Миф Адама и Евы — его повесть».

Из этого вывод:

> «Вырваться из одиночества — самая глубокая стихийная потребность Человека... История религий и философии — история ответов на эту потребность... Она осуществлена в Любви»... «Бог дал ж е л а н и е Мужчине и Женщине во имя того, чтобы мир существовал их союзом. Эротическое влечение отнюдь не только выражение полового инстинкта. Мужественность и Женственность есть и в духе».

О сущности любви вообще Фромм говорит, что «Любовь братская — любовь равных. Любовь материнская — любовь к беспомощному». Общее в этих чувствах то, что они у н и в е р с а л ь н ы. Тогда как эротическая любовь — о г р а н и ч е н а и и с к л ю ч и т е л ь н а. Она — стремление к полному слиянию, союзу с о п р е д е л е н н ы м л и ц о м... и исключает других... Переживанье влюбленности есть «неожиданное падение преград».

О любви к Богу Фромм пишет как о «потребности достичь слияния с Ним», причем в западных религиях любовь к Богу преимущественно — в е р а в Н е г о. В восточных же религиях — л ю б о в ь к Н е м у — «н а с т о й ч и в о е п е р е ж и в а н и е е д и н е н и я». Дальше:

> «Слияние людей в Любви — основная сила, единящая человечество. Без Любви человечество не могло бы просуществовать и дня»...
>
> «Любовь — установление, а не падение. Любовь — сила, возбуждающая ответную любовь. Любовь — действенная сила человека, которая разрушает

преграды между ним и человечеством в целом. Любовь превозмогает одиночество. В зрелой стадии, это слияние, в противоположность органическому, предоставляет свободу каждому сохранить свою сущность. В Любви происходит парадокс — двое, сливаясь в одно, остаются двое».

Личная свобода не утрачивается. Любовь бережет «Я» каждого, как зерно Любви и центр надприродных переживаний. Любовь человеческая осуществляется передачей из этих центров; а полнота слияния достигается включением природного, органического элемента, который как бы символизирует тяготение к единству обоих начал.

«Принцип проникновения и приятия, в значительной мере, принцип материи и духа», пишет Фромм.

Опустошению Любви, в значительной мере, способствовало учение З. Фрейда. Предполагая выполоть сорную траву бытовых запретов, Фрейд подточил корни любви, пригоняя сознание людей к поведению, наиболее соответствующему материальному уклону эпохи. От Фрейда пошло представление, что «счастливая любовь» — результат «полового совпадения»; рецепты как добиться физиологического удовлетворения вошли в жизнь после Первой мировой войны. Такое упрощение любви сделало из брака «упряжку, в которой идут ровно — обоюдную терпимость... Эгоизм вдвоем принимался за любовь», по словам Фромма.

Один американский эссеист сказал, что «Поваренные книжки» периода влияний Фрейда «стали более волнующими, чем его руководства к акту любви».

Опыт не подтвердил советов Фрейда: процент разводов и несчастных браков не понизился, а повысился, а клинические исследования показали, что следование Фрейдовским советам ведет к неврастении и, даже иногда, к сумасшествию.

Но неотложное удовлетворение всяких физических потребностей служит интересам индустриального развития, ищущего искусственно создать потребителей для неограниченных рынков — «Толпу одиноких», извне ведомых.*) Фромм указывает на то, что

«взаимоотношения людей в любви стали развиваться в том же плане обмена, который управляет на рынке товаров и труда... Главное задание — выгодный обмен своей личности с другим, одинаково заинтересованным в выгодном обмене и единственно в удовлетворении «потребления»... «Я даю столько, сколько получаю» стало этическим принципом в современном обществе, идет ли дело о товаре или о любви»... «Спрос на то, что модно».

Потому на вопрос «ведут ли дух и общественное поведение западной цивилизации к развитию любви?» Фромм отвечает: «нет».

Людские взаимоотношения сегодня — отчужденность автоматов; каждый основывает свою безопасность на сплоченности со стадом; но сплотиться со стадом — не значит превозмочь одиночество, а только внешне избежать его. Совпадение есть не единство, а искусственно развитая одинаковость, которую сегодня воспитывает школа, общество и реклама.**) Совпадение — от-

---

*) «Толпа одиноких» — заглавие книги американских эссеистов: Давида Рейзмана, Нейтона Глазера и Рейфула Дэнни, вызвавшей большой интерес в 1950-53 гг. Заглавие это вошло в употребление в качестве термина. Об «одиночестве на людях» писал и А. П. Чехов.

**) Статистика, собранная недавно университетом Пердью, показывает, что самым главным стремлением молодежи является «быть как все»; на оригинальных косятся. Они — отщепенцы. Их называют «квадратными» за то, что не катятся по колее.

каз иметь свое психологическое лицо, иначе говоря, боязнь быть самим собой. Любовь же сливает разных людей, не требуя одинаковости. В любви люди дополняют друг друга. Чувство любви — встречное (не параллельное), в единении замыкается сфера их эмоционального мира.

«Современное общество проповедует идеал анти-индивидуализма в равенстве, потому что оно хочет создать тождественных автоматов, чтобы привести их в массовое действие, функционирующее без трения... схожесть успокаивает душевную тревогу, рождающуюся в одиночестве. Потому все активности — рутинные и сфабрикованные (рутинная работа и рутинные удовольствия). Пойманный в них человек забывает, что он Человек».

Но истинная любовь не исключает сопротивления и не должна быть безболезненной. Столкновения ведут к прояснению. В страдании любовь обретает силу. Фромм пишет:

> «Любовь есть постоянный вызов друг другу. Любовь — не отдых, а движение, рост, общая работа... Будь то гармония или борьба, радость или печаль, это второстепенно сравнительно с главным фактом... что два человека — одно, оставаясь каждый самим собой».

Все людские взаимоотношения приняли утилитарный характер, завладевший современным сознанием: братская любовь сменилась объективной справедливостью; личное со-чувствие — безличной благотворительностью; дружба — совместной активностью, без интимности. Фромм пишет, что

> «даже религия вошла в союз с авто-внушением и психотерапией, помогающими человеку в его деловой активности... Вера в Бога и молитва рекомендуются как средство увеличить возможность успеха. Священники говорят: «Сделайте Бога своим партнером», в смысле партнерства в деле, а не в слиянии с Ним в любви, справедливости и правде... Бог обратился в далекого главного директора Вселенной. Его не видите, но признаете Его главенство, а сами делаете свое дело».

Считать это религиозным «возрождением» — глубокое заблуждение. Попытка искать Бога на рынке — только указывает на утрату духовного пути.

Надо признать, что материнская любовь сохранила налет идеализма до сих пор. (Фромм об этом не упоминает). Она осталась добродетелью в глазах людей. По отношению к материнству нет того кощунства и прозы, какое существует по отношению к эротическому влечению. Но материнство — не начало любви, а последствие, вторая фаза. Сдвиг же к более глубокому и полному переживанию Любви должен произойти в истоках ее — в слиянии двух в одно, внесении себя друг в друга.

Но именно в этой первой фазе — в эротическом влечении — явно утрачено надприродное начало, здесь особенно густо лег отпечаток влияния материализма, затухло воображение. Атавистическая роль мужчины как «охотника» — жива и выражается сегодня ярко, вызывая в женщине чувство, что она «добыча», т. е. «побежденная» (объект). В восстановлении своего женского достоинства, точнее, тщеславия, женщина пытается «оправдать» свое «падение» получкой чего-то за свою пассивную любовь. Поскольку материальные ценности выдвинуты на первое место, жена стала законной содержанкой, муж — содержателем, а союз их — долговым обязательством. Как раз в эротическом влечении преобладает ныне инстинкт, привлекательность сводится к физической. Современные рынки богаты средствами к культивированию внешней привлекательности. «Личное обаяние» покупается в институтах красоты и заимствуется из модных журна-

лов «извне ведомыми»; штампованное обаяние для общего «потребления» исключает глубину и теплоту интимности; волнующий прорыв в мир, созданный воображением и воплощенный в акте любви, не осуществляется, а сводится, по словам Фромма,

> «к приятному переживанию, в которое люди случайно попадают, если повезет, видя задание любви в удачной находке о б ъ е к т а, а не в с п о с о б н о с т и ч у в с т в о в а т ь».

Здесь Фромм подводит читателя к сердцу своей темы: сущности Любви. О ней Лев Толстой сказал незабвенные для человека слова, что его воспитательница (Ергольская) «научила меня счастью любить».

Любовью пропитано все творчество Толстого. Сперва подпочвенная, в образах, к концу жизни она проступила в простых четких словах непоколебимой веры: «Где Любовь, там и Бог». Так озаглавлен рассказ о сапожнике, который ждал в гости Христа и дождался. Об этом рассказе вспомнил недавно Г. Адамович*), возбудив новое понимание: «устремление его (Толстого) дара к самым основам жизни». Не менее знаменательно, что сейчас и иностранные критики острее всего чувствуют в творчестве Толстого силу Любви. В предисловии к «Войне и миру», на английском языке, Клифтон Фадиман пишет, что «война» и «мир» — только окружение; весь роман о Любви. И добавляет, что он понял это только теперь, после Хирошимы.

Если старшие возвращаются к Любви в уже сказанном, у молодых вырываются свои слова о ней:

> «О безнадежности в виденьи многоликом
> Два слова таинства «Люби. Люби.»
>
> Виктор Мамченко, «Звезды в аду».

Современный кризис в том, что «счастье любить» утрачено людьми.

Мыслители XIX века велели «жить разумом». Однако, уже Спиноза добавил, что «разум должен побеждать не силой, а любовью». Если в XIX веке, при безоговорочной вере в разум, силе противопоставлялась любовь, то в нашу эпоху обладания средствами полного разрушения и разум и инстинкт подсказывают, что не под знаком с и л ы, а только л ю б в и у человечества есть будущее. Настоящий опыт жизни «по закону естества», от которого предостерегал еще Апостол Павел, призывая «жить благодатью» (что и есть Любовь), отнял у человека веру в самого себя и низвел его задания. Вернуться в свой покинутый внутренний мир, поверить в самого себя — единственное, что может вызвать к жизни Любовь в человеке, Любовь как жизненную тему и ценность, которую гений наделил силой превозмочь даже смерть (Тристан и Исольда). Потому исследования Фромма о «практике» любви ценны как попытка исследовать неблагоприятные для любви уклоны современной жизни, как, например, отсутствие самодисциплины, в результате строго рутинной работы, побуждающей в свободное время к безделью, а не к «сосредоточению» (последнее необходимо для самоуглубления).

> «Быть сосредоточенным значит ж и т ь п о л н о, сближаться, а не убегать друг от друга», пишет Фромм.

Отсутствие в современном сознании «терпения», вызванное стремлением к «быстроте» движения и смене впечатлений, нарушает целостность, распыляет интересы, не дает времени посвятить себя большой цели. Развитый в наши дни автоматизм в работе и жизни делает человека менее чувствительным

*) «Новое Русское Слово» от 10 ноября 1956 г.

«к любимому и к самому себе». «Способность быть одному — условие для способности любить другого», говорит Фромм. Все это в одинаковой степени относится и к искусству, и Фромм, не только заглавием («Искусство любить»), но и в предисловии к книге, устанавливает взгляд на любовь, как на искусство. При всей основательности его доводов возникают и возражения.

Спору нет, что связь любви с искусством — глубокая: не только любовь в своем расцвете была вдохновляющей искусство темой, но и в упадке она не перестает быть ею. Искусству любовь обязана своим развитием. Только после того, как она вошла в сказку и песню, из примитивного физиологического процесса у дикарей она обратилась в богатое эмоциональное переживание и отразила все фазы духовной эволюции человека. Первобытный герой — воин (символ силы) уступил место возлюбленному. Но любовь, как и сам человек, произошла из животного мира, но, вместе с человеком, п е р е ш л а природные ограничения. В любви есть элемент «естества», будь то отеческая, братская или эротическая любовь; даже истоки религий коренятся в людском инстинкте страха смерти. Им вызваны поиски в е ч н о г о. Родина Любви всё же — земля. Искусство же родилось в сознании уже развитого человека*), в н е природных ограничений (ограничения природы сказываются только в технических средствах художественного творчества).

Переход любви в надприродный план — явление исключительное, не присущее каждому. Это — дар, как и в искусстве; и дар этот подвержен своей особой культуре в о о б р а ж е н и я, п р е о б р а ж а ю щ е г о п р и р о д н о е н а ч а л о, н о н е и с к л ю ч а ю щ е е е г о. И искусство и любовь создают индивидуальную реальность. Процесс этот — таинственный. Здесь разум уступает место эмоциям; эрудиция — художественной интуиции. Как ведущая сила эпохи, сегодня разум показывает путь и побуждает идти за Любовью, подводит к порогу ее тайны, но формулы Любви дать не может. Содержание Любви человек находит только в личном опыте.

В искусстве любовь может быть пережита в н е личного опыта, в созданных художником образах. Образы эти отраженно переживаются зрителем, слушателем и читателем. В этой восприимчивости обнаруживается потребность людей к Любви. При отсутствии личного опыта люди нередко любят за книгой, или в кино, из вторых рук. Потому участь Любви продолжает зависеть от искусства. В нем, или совместно с ним, тема любви может вернуть свою утраченную ценность. В современном художественном творчестве есть указания на это. Чтобы не быть голословной, привожу волнующие примеры этого:

Оседание Любви на дно своих физиологических начал — явление мировое. В Западной цивилизации (особенно в США) оно сгустилось, как в более индустриализованной части мира. Но очень скорбные слова об участи Любви слышим и от евразийки Хан Суин в ее последней книге (о войне в джунглях Малаи) — «...И дождь — мое питье»:

> «Есть места на этой земле, во времени и пространстве, где нет ни пространства, ни времени, ни света, ни воздуха, ни почвы, чтобы росла странная сорная трава, которую зовут «Любовь».

«Сонет Петрарки» — пьеса советского писателя Н. Погодина (напечатанная во втором сборнике «Литературная Москва» 1956 года) шла в Москве в течение 1956/7 театрального сезона и была восторженно встречена публикой. В этой пье-

---

*) Не понимать «цивилизованного», а человека с проснувшимся воображением. И дикари бывали художниками.

се, как неожиданные зеленые травинки, пробивающиеся весной в трещины асфальта из теплой живой земли, после сорокалетнего опыта обесчеловечения Человека, в трещины соцреализма, из-под груза догм, прорастает та «сорная трава», что зовется Любовью, по которой плачет Хан Суин, «вопреки» окружающему, в непоборимом желании л ю б и т ь; любить ни за что и ни за чем. В этой пьесе человек переживает то, что отрицалось сорок лет — Л ю б о в ь, в к о т о р о й и н с т и н к т п р е о б р а ж е н м е ч т о й.

Автор не раскапывает жизни в глубину, не наделяет героя Суходолова исключительными свойствами. Он такой, как все, сегодняшний человек, не пророк, не поэт, а руководитель крупного строительства в Сибири, член партии. Поэтов он даже противопоставляет себе, говоря о них: «Им ни по чем, они такие!» Он даже не знает ни Петрарки, ни Донны Лауры, хотя сам переживает ту же любовь. Однажды к нему зашла сотрудница местной библиотеки — Майя, и с ней в его жизнь пришла Любовь, когда «внимательно и грустно глянули на него ее умные и робкие глаза». Девушка ушла, но Любовь осталась. Спустя некоторое время он пошел к ней в библиотеку «ни за чем» и «как мальчик, от чистого сердца» сказал, ч т о чувствовал. Она выслушала и ответила «понимаю». В этот день он бродил по городу один, под дождем, и испытал «полное счастье». О нем он поведал своему другу — скрипачу Армандо. «Эта девочка — моя песня... должно быть последняя». Суходолов не встречался с Майей, но писал ей письма, желая, чтоб она знала о его чувстве. Армандо он признался, что писать «стыжусь и даже страшно...» но с тех пор легче дышится, появилось вдохновенье к работе и стал лучше относиться к людям. «Пой свою песню», ответил Армандо, «и не бойся, что она трагическая и последняя».

Ясно, что автор чувствует, что любовь истинная не бежит от боли; боль — часть жизни не менее ценная, чем счастье. Полон значения разговор Суходолова с домашней работницей Мариной, которая почти член его семьи. Говорит он ей о том, что жизнь его шла под знаком ненависти; как партиец, он считал классовую ненависть чувством «святым и достойным». Смущает его то, что «теперь, когда классов не стало, спрашивается, кого же ненавидеть?... Может быть пора учиться любить?», на что Марина радостно откликается: «Вот хорошо бы!». Суходолов признается, что до сих пор он любил славу, успех, будущее, любил свою партию, сына, народ, «а вот человека обыкновенного, каждодневного я ведь не любил. Я к нему отношусь подозрительно, чуждо отношусь».

У Суходолова есть семья, но любовь его к Майе в другом плане: надприродном, надзаконном. Песней жене не изменяют. Песня завораживает, уводит из действительности, но не сталкивается с ней.

Письма Суходолова к Майе перехвачены Кларой — «сотрудницей распространения культурных знаний» — и признаны «материалом, позорящим» Суходолова. Секретарь обкома вынужден требовать от Суходолова «объяснений», так как иначе его самого обвинят в «покровительстве неприглядных похождений товарища Суходолова». Но последний настаивает, что человек имеет право не открывать интимных сторон своей жизни. И за это право он готов «бороться и драться». Когда Суходолов, наконец, встречается с Майей, ей кажется, что он любит не её живую, а только свою к ней любовь; но она согласна жить только как его «поэзия», его «подснежник».

Просто, но очень много сказано Погодиным в «Сонете Петрарки». Пьеса эта только для тех, кто любил или готов любить. Ее успех показал, что любил не один автор, но и полные залы зрителей; что Любовь возвращается не только в искусство, но и в жизнь раньше, чем разломан асфальт коммунистической пар-

тии, плитами лежащий на теплой почве жизни. И вместе с Суходоловым люди размышляют и спрашивают: «Не пора ли учиться любить?». Вместе с Мариной жизнь отвечает: «Вот хорошо бы!»

Погодин не единственный советский писатель, отомкнувший сорокалетнюю неволю «очевидности», открыв «за-очевидное». На принудительных работах соцреализма не умерла поэзия и песня, ни даже старое слово «душа». Их слышим особенно звучно и трепетно у молодого поэта Евгения Евтушенко в поэме «Станция Зима». Автор случайно присутствует при ночном женском разговоре шопотом:

«Ах, Лиза, Лиза,
ты не знаешь, как живется мне!
Ну, фикусы у нас, ну, печь-голландка,
ну цинковая крыша хороша,
все вычищено,
выскоблено,
гладко,
есть дети, муж,
но есть еще душа!
А в ней какой-то холод, лютый холод...
Вот говорит мне мать:
«Чем плох твой Петр?
Он бить не бьет,
на сторону не ходит,
ну пьет, конечно,
ну, а кто не пьет?»
Ах, Лиза!
Вот придет он пьяный ночью
рычит, неужто я ему навек,
и грубо повернет и — молча, молча,
как будто вовсе я не человек.
. . . . . .
Ах, если б у меня любимый был,
уж как бы я тогда за ним ходила!
Пускай бы бил, мне только бы любил!»

В этой Лизе поэт узнаёт: «Да это ведь она» — его попутчица в дороге, застигнутая ливнем, которая

«...сняла с волос платочек белый
какой-то шалой лихости полна,
и повела плечами и запела
веселая и мокрая она.
. . . . . .
Она стояла с гордой головою,
и всё вперед — и сердце и глаза,
а по лицу —
хлестанье мокрой хвои,
и на ресницах —
слезы и гроза.
. . . . . .

Откинув косы смуглою рукою
глядела вдаль,
как будто там,
вдали,
поющая увидела такое,
что остальные видеть не могли.
Казалось мне,
нет ничего на свете,
лишь этот, в тесном кузове полет,
нет ничего —
лишь бьет навстречу ветер
и ливень льет,
и женщина поёт...»

Еще живы те, для кого эти строки слышны как отзвук лирического томления Фета:

«Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
что ты одна любовь, и нет любви иной,
и так хотелось жить, чтоб звука не роняя,
тебя любить, обнять и плакать над тобой».

Но тот же мотив в оркестровке Евтушенко — не возвращение в романтику прошлого, а путь в будущее. Здесь сбываются слова Инны Соловьевой: «Дорогу осилит идущий» («Театр» № 6, 1956 г.).

За песней любви у Евтушенко — заповедь:

«Люби людей — и в людях разберешься...
Ты помни —
У меня ты на виду.
А трудно будет — ты ко мне вернешься...
Иди!»
И я пошел.
И я иду».

Он не один. За ним — пережившая всё и побеждающая вновь Любовь.

Н. А. Горчаков

Борьба за новое в советской кинематографии

«Последствия культа личности в искусстве» (под чем надо подразумевать террор партийного руководства против искусства в годы 1927—1953) подверглись широкой «самокритике» на театре, в живописи, в литературе, в музыке и в кинематографии Советского Союза.

Эта «самокритика» (вне сомнения санкционированная партийными верхами) раскрывает весьма сложную и интересную картину. В ней обнаружились не только попытки КПСС несколько смягчить «тюремный режим», царивший десятилетия во всех искусствах страны, дав разрешение на скромное «новаторство», но и явные стремления партии удержать идеолотическую монополию в искусствах. Из разворачивающейся «самокритики» встала страшная картина казенного унифицированного искусства; очень часто в дискуссиях о «новых путях» обнаруживались требования художников, далеко шагающие за те пределы, которые ставит КПСС «новаторству» и «исканиям». И, вне сомнения, высочайшее партийное разрешение на «самокритику» явилось в ы н у ж д е н н ы м, происшедшим под давлением отвращения широчайших народных масс к нудной и набившей оскомину а г и т к е, в которую партия в течение сорока лет превратила все искусства.

Пожалуй, самым интересным является то, что наиболее острая критика развернулась на страницах кинопечати (если ее сравнить с дискуссиями в театральных кругах, литературной печати или с речами на прошедших всесоюзных съездах композиторов и художников).

Перечень уродств «партийного искусства» выглядит на страницах кинопечати более объемистым, чем в других областях искусства.

На этом «списке злодеяний» партийного руководства кинематографией следует задержаться. Чего только в нем нет!..

Оказывается, что советская кинематография «была оторвана от народа и ушла от правды»; была полна «угодничества и боязни критики». Советские фильмы страдали «тезисностью и декларативностью», из них выхолащивалось реальное жизненное содержание. «Оно подменялось той жизнью, которую авторы хотели бы увидеть в соответствии с подсмотренным заранее ответом. Кинематограф стал как бы парадным крыльцом для входа в нашу советскую действительность...»*)

*) — М. Папава «Современность и кинодраматургия» в журнале «Искусство кино» № 3, 1957 г.

Герои советских фильмов были «толпой безликих теней». «Вместо живой человеческой крови в этих призрачных существах текли чернила тематических заявок. Скучным, потусторонним голосом они излагали свои взгляды на поднятие колхозного производства, на увеличение съема стали с квадратного метра пода плавильных печей, на необходимость облучения поросят...»*)

Изображения в фильмах партийцев и советских героев сравнивают теперь с «иконописью». «Мы раньше создавали сверхгероев, опуская заранее заготовленный венчик на голову простого человека, наделяя его всеми возможными достоинствами, и в результате получалось новое «житие святого»... вместо живых людей получалась «иконопись»**).

И это пишет не какой-нибудь беспартийный молодой режиссер, а старый партиец, заведующий сценарным отделом крупнейшей кинофабрики Советского Союза — Мосфильм, товарищ Папава.

Советские киносценарии были фальшивыми, «так как с самого начала было видно желание написать драматургическое упражнение на заданную тему». Не договаривается, конечно, что эта тема всегда задавалась драматургам Отделом Агитации и Пропаганды КПСС.

Советские фильмы, по словам Льва Касиля, были «полны казенной красивости, которая скрывала многие изъяны». Они были неискренни, ходульны, поверхностны и безжизненны.

Итак, тайное становится явным. То, что десятки лет упорно замалчивалось всей советской прессой, а именно, — что беспощадное насилие КПСС над фильмовым искусством превратило его в убогие и тошнотворные шаблоны мертвого казенного искусства, — начинало всё шире и шире просачиваться на страницы прессы и в залы дискуссий.

Оказывается, что та самая советская кинематография, которая сорок лет под мажорные фанфары большевистской прессы неизменно объявлялась «самой передовой», «самой великой» и гениальной, — представляла собою «холодную помпезность», «напыщенный монументализм», страдала «плакатностью», «обнаженностью тенденций», «лакировкой», «показной народностью»; она стремилась «натуралистически копировать действительность»; была «засорена догмами бесконфликтности и розовой воды»; страдала «серостью и невыразительностью языка», «вялостью сюжетного построения» и «фальшью»; герои ее были «железобетонными героями»; и вся эта «великая кинематография» представляла собою только «схематичное искусство», «искусство казенного благодушия», «искусство помпезной и фальшивой монументальности».

Теперь, наконец, можно было услышать о том, какие мытарства и издевательства приходилось испытывать кинорежиссерам, чтобы подогнать фильм под шаблоны и штампы партийных требований. Два молодых режиссера (Р. Миронер и М. Хуциев), сделавших фильм «Это начиналось так...», о котором все заговорили (ниже мы коснемся и этого фильма), осмелились высказать наболевшее. В нескольких строках они дали страшный облик советской кинематографии в тисках партийного контроля:

«Мы отчаянно сопротивлялись устоявшейся за последние годы традиции, согласно которой в одном фильме должны были быть представлены все чины и звания — от секретаря обкома до традиционного новатора и консерватора, включая полумистический голос по телефону из Москвы. В фильме должны были быть «отражены» отдельно работа парторганизации, профорганизации, соцсорев-

*) — Там же.

**) — Там же.

нование, неблаговидные поступки консерватора, муки новатора, обязательное недоразумение между влюбленными, венчающееся робким поцелуем и чрезмерно пышной свадьбой с участием всех вышеупомянутых деятелей и организаций, свадьбой, после которой молодые супруги, очевидно, не могли лечь в одну постель и предаться — о, ужас! — грубым ласкам. Нет! Они могли только рука об руку шествовать по жизни, горя на работе, бичуя консерваторов, поощряя новаторов, поднимаясь на уже совершенно недосягаемую высоту...»*)

Не в лучшем положении находились и советские сценаристы, основное «творчество» которых заключалось в сотнях переделок по указаниям партийного контроля. Об этих мытарствах сценаристов орденоносный кинорежиссер Сергей Юткевич говорит так: «К сценаристам у нас предъявляли столько требований, подчас нелепых, ненужных, необязательных, их мучили столькими поправками, указаниями и доделками, что, право, еще можно удивляться долготерпению тех кинодраматургов, которые всё же продолжают работать в киноискусстве»**).

«Самокритике» подверглись и методы «администрирования» советской кинематографией, когда сотни партийных чинуш, засевших в киностудиях, из страха перед «вышестоящими товарищами», из страха перед расправой за «идеологические ошибки» и «невыполнение планов», как в путах, держали кинематографию, удушая в ней всё живое, всё выпадающее из схем, циркуляров и «тематических планов». Теперь уже раздались голоса, что «планирование выпуска фильмов, исходя из их тематической значительности, оказалось губительным для искусства», что «из-за неумелых и трусливых чиновников в студиях мы стали стрелять по мелким целям. Мелкие люди у нас на экране, и преследуют они мелкие цели».***)

Но не только мастера советской кинематографии устали от казенной партийной мякины. Она навязла в зубах и российскому зрителю.

Режиссер Н. Охлопков имел мужество сказать, что «большинство советских зрителей — резко против схематического искусства казенного благодушия, беспрестанного «ура» по любому поводу...»****)

Отвращение зрителей к киноагитке подтверждает и «Комсомольская правда» от 2 июня 1957 г.: «Пустующий зал во время демонстрации современной «премьерной» картины — факт, обращающий на себя серьезное внимание. Ведь не секрет, что многие выпущенные за последнее время произведения не выдерживают и трех дней проката... Когда живую мысль подменяют прописные истины, кресла кинотеатров пустуют».

И в этой смертной скуке и отвращении зрителей к казенному экрану и надо, пожалуй, искать истоки «высочайшего» разрешения ЦК КПСС на «самокритику». Когда кинотеатры становятся пустыми, и население явно бойкотирует пропагандную мякину, тогда уж хочешь не хочешь, а надо менять политику и методы пропаганды и агитации. Благо есть предлог для перемены курса: «последствия культа личности в советской кинематографии».

Но не только некое движение сопротивления широких народных масс казенной киноагитке легло в основу некоторой «оттепели» в советской кинематографии. Есть и еще одна причина, и причина весьма знаменательная.

---

*) — Журнал «Искусство кино» № 1, 1957 г.

**) — С. Юткевич, «Студия Молодых», журнал «Искусство кино» № 1, 1957 г.

***) — Журнал «Искусство кино» № 3, 1957 г.

****) — Н. Охлопков — «Здесь звучит мажор», «Искусство кино» № 2, 1957 г

Сегодня, ни на театре, ни в литературе, живописи или музыке советской страны, нигде не найти и слова поощрения попыткам художников подражать или чему-то учиться у западных мастеров. Наоборот, на Первом Всесоюзном Съезде Советских Художников, Шепилов объявил чуть ли не контрреволюцией всякую попытку подражания западным художникам. И только на страницах кинопечати пишутся хвалебные статьи итальянским неореалистам и раздаются открытые призывы к советским кинорежиссерам: учиться у итальянцев. «В нескольких наших фильмах последнего времени прозвучали задушевные, мягкие интонации итальянского кинематографа. Что же, нет греха в том, что наши мастера — и опытные и молодые — внимательно присматриваются к лучшим произведениям передовых художников Италии»*).

А известный кинокритик Юренев говорит еще яснее: «И уже начинают звучать советы учиться у талантливых прогрессивных мастеров Запада... Что ж? Возможно и это. Ни один великий художник, ни одно великое искусство никогда не отказывалось от любой возможности дальнейшего учения, дальнейшего совершенствования».**)

Причину такого исключительного «либерализма» в отношении кинематографии надо искать в том факте, что *кинематография является единственным видом экспорта советского искусства.* Партийное руководство идет в кинематографии на более значительные компромиссы, более поощряет новаторство, ревизии в области формы и содержания, и даже призывы учиться у Запада, ибо намерено поднять советские фильмы до такого уровня, когда они перестанут быть посмешищем для зрителей других стран и смогут конкурировать в области режиссерской и операторской интерпретации с западными фильмами. А под покровом смелых режиссерских опытов и «новаций» можно будет протащить пропагандное содержание в среду несоветских кинозрителей.

Что коммунистическое правительство решило всерьез заняться экспортом своих кинокартин подтверждается фактами необычайной активности советских представителей на западноевропейских кинофестивалях, заключением договоров с западными кинофирмами об обмене кинопродукцией и т. п.

И здесь ими уже кое-что достигнуто, ибо в Каннах, как известно, был премирован не только «Отелло», но и такой фильм, как «Сорок первый», в котором большевичка убив сорок «белых», влюбляется в сорок первого, которого, в конце концов, тоже «ставит к стенке».

В этой экспансии советской кинематографии по другую сторону железного занавеса и надо частично искать разгадки необычного либерализма в дискуссиях о завтрашнем дне советской кинематографии.

*

Итак, ужасных последствий «культа личности» в советской кинематографии найдено много. От всех ошибок, очевидно, надо отмежеваться и начать новую эпоху советского кино, эпоху каких-то невиданных и неслыханных новаций. Со страниц кинопечати, из залов «творческих дискуссий» раздаются голоса кинорежиссеров, актеров, сценаристов и теоретиков о том, как они представляют себе эту новую «эпоху новаций»...

И оказывается, что дерзновенные мечтания этих долголетних пленников

---

*) — Я. Варшавский, «Выбор пути» — журнал «Искусство кино» № 1, 1957 г.

**) — Р. Юренев, «Рецензия с большим разбегом», «Искусство кино» № 1, 1957 г.

диктатуры партии в кинематографии ограничиваются самыми азбучными истинами и само собою разумеющимися вещами. Из этих «мечтаний» ярко проступает то ужасающее рабство, в котором партия десятилетиями держала творческих работников кинематографии.

Мастера кино считают необычным новаторством, если партия разрешит им вернуться к «выразительной силе монтажа», ибо десятилетия «внимание к монтажу рассматривалось как проявление формализма». Люди кино мечтают о высочайшем разрешении им «экспериментов в области выразительных средств», они просят «защиты творческого риска» и о том, чтобы партийная критика, оценивая фильм, «видела за ним биографию художника, его путь в искусстве»; мастера кинематографии робко заговорили (словно оглядываясь: не раздастся ли гневный окрик с верхов) об «общечеловеческих темах» — о любви, ревности, смерти, рождении, дружбе, честности и т. п. Робко и просительно, ибо еще вчера «эти темы исключались из планов», они спрашивают: «но почему именно эти вечные темы искусства, волнующие человечество с незапамятных времен, должны быть отданы на откуп буржуазной кинематографии?» Как великое новаторство они рассматривают возможность «разрабатывать исчезнувший у нас жанр психологической драмы».

Советские кинодраматурги мечтают писать сценарии на темы «морально-этические». Они просят в будущем их сценарии с «личными темами» не противопоставлять бюрократически «темам государственным», просят не обвинять их в том, что «они, дескать, готовы уйти в сторону от решения крупных масштабных тем», как это водилось в советской кинематографии до сей поры.

С трибун дискуссий творческих работников кинематографии, как вещание новых, эпохальных откровений, доказывается, что «страстное стремление к прекрасному» — не эстетско-буржуазный грех, а основы всякого искусства. Что «искусство должно уметь видеть красоту в человеке».

«Самой передовой кинематографии мира» потребовалось сорок лет, чтобы, наконец, прийти к азбучным истинам эстетики.

Все стонут и молят о разрешении перейти от казенной монументальности «к душевному, теплому, скромному в искусстве, к простому, действительно рядовому, пусть ничем особым не примечательному человеку (вместо «идеологически выверенного, железобетонного героя» вчерашних фильмов. — Н. Г.), которому дозволено преодолевать трудности, любить, мужать в борьбе, страдать и даже ошибаться».

Люди советского кино молят у партии не только право киногероев на ошибку. Эта челобитная на «право ошибаться» без страха перед «административными выводами», травлей и репрессиями, распространяется и на их творчество в будущем. И голосов, молящих даровать право на ошибку, вместо прежних директив на безошибочное искусство, — множество. Эта тема «права на ошибку» проходит через все дискуссии. И назойливость этого мотива ярко показывает на следы того террора в искусстве, который царил до сих пор. Ибо художнику было отказано в праве на творческую ошибку. Эта ошибка приравнивалась к идеологической ереси. А идеология советских художников должна была быть безошибочной и непогрешимой, как генеральная линия партии. В стране единой, монополизированной идеологии могло быть только непогрешимое искусство.

Но есть сегодня в советской кинематографии явления более волнующие, чем «самокритика» давно всему миру известных пороков унифицированной властью кинематографии, и более многозначительные, чем робкие просьбы узников партийной идеологии на скромное и азбучное новаторство.

В начале 1957 года редакция центрального органа советской кинематографии «Искусство кино» созвала конференцию крупнейших мастеров кино с целью получить от них советы: как сделать журнал лучше? В этой дискуссии раздались голоса, по которым мы можем судить, что чаяния и надежды, которые возлагают творческие работники кино на перемену политики партии в области кинематографии, идут гораздо далее, чем это когда-либо сможет позволить себе ЦК КПСС.

Так крупный советский кинодраматург А. Медведкин заявил: «Неужели нет у нас гражданского мужества, чтобы говорить громким голосом то, что необходимо сказать?» И из дискуссии стало ясным, для чего нужно это гражданское мужество. Оно нужно для бунта против *казенной лжи*, для того, чтобы отважиться на подлинную правду. Но эти неистовые призывы к борьбе против лжи, лакировки, благодушия, «фасадности», помпезности — не совсем безопасны для КПСС, и по той простой причине, что ложь и все сопутствующие ей элементы коренятся в самой коммунистической системе. То, что гражданское мужество и громкий голос нужны не для борьбы с дрянными фильмами, а для *борьбы с коммунистической схоластикой* — не подлежит никакому сомнению. Мастера советской кинематографии мечтают не только о новой форме, они хотят и *нового содержания*. Они восстают против старого, казенного, стречь, правоверно-коммунистического содержания.

Кинорежиссер С. Ростоцкий заявляет, что «новое поколение в искусстве должно принести с собой *новое содержание*... С новым содержанием должна прийти и новая форма. Нужно смело... побродить по нехоженным дорогам, походить по закоулкам, не боясь тупиков, опасаясь гораздо больше ровных площадей, на которых всё ясно и всё неинтересно».*)

Это «всё ясно и всё неинтересно» можно смело отнести к «идеологически верному» *содержанию* советских фильмов.

Когда режиссеры Ф. Миронер и М. Хуциев бросают, что «нас долго пичкали в искусстве плакатными образами людей, парадной действительностью. Кадры ставились «точкой на фасад», — то это не только выпад против формы плохих фильмов в прошлом, но и удар по содержанию, по идеологии, по «партийности в искусстве», ибо весь коммунизм и до сегодняшнего дня зиждется на «парадной действительности», «точке на фасад», на очковтирательстве «потемкинских деревень», и если уничтожить эти «фасады», то мы отлично знаем, что за ними обнаружатся нищета и серость бытия всего населения Советского Союза.

Когда коммунист М. Папава зло высмеивает штампы советской кинематографии, с ее неизменными «хорошими секретарями райкомов», после появления которых в кадре всё со сказочной быстротой «становится на свое правильное место», и шаблонное «желание показать в конце, что новое уже победило на наших глазах», то он не только высмеивает жалкие штампы и схемы кино, но и попадает не в бровь, а в глаз своей партии, которая изо дня в день неустанно вдалбливает в головы подневольных людей: что всемудрая партия всё ставит на свое место, и что под ее руководством на их глазах уже победил социализм. Критикуемая сегодня «тенденция выдать желаемое за действительность» в советских фильмах — есть далеко идущая окольная критика и коммунистической партии, до мозга костей пронизанной этой парадной фальсификацией действительности.

---

*) — «Искусство кино» № 1, 1957 г.

Таким образом, мы видим, как несколько более широкая «самокритика», в виде исключения разрешенная людям советской кинематографии, открывает шлюзы желаний и негодований, проектов и требований, идущих несомненно дальше, чем этого хотелось бы ЦК КПСС.

Новый курс советской кинематографии не ограничился только критикой ошибок прошлого, мечтательными речами и чаяниями. Уже появился ряд фильмов, отмеченных «новыми веяниями». И посему будет не безынтересным хотя бы в общих чертах остановиться на этих новых фильмах, вызвавших споры и восторги на страницах кинопечати.

Начнем с «Весны на Заречной улице» (Автор: Ф. Миронер. Режиссеры: Ф. Миронер и М. Хуциев). Об этом фильме пишут, что он был встречен «с радостью, как встречали много лет назад премьеры талантливых студийных спектаклей».*)

Если обратиться к сюжету этого фильма, то кажется, что ничего нового там не обнаруживаешь. Сюжет знакомый и схожий со многими уже виденными фильмами. Герой фильма: молодой сталевар Саша Савченко. Работает хорошо, но культура его невысока. Он даже не может грамотно изложить свою «рационализаторскую мысль». Под влиянием неуспеха он впадает в уныние и уже готов запить. Но его удерживают «положительные» товарищи по работе. И вот, разлюбив дочь буфетчика, Саша влюбляется в учительницу вечерней школы рабочей молодежи. И тут Саша осознает, что нужно учиться, что вся жизнь еще впереди. И фильм кончается... И даже учительница, как пишет критика, — «не успела полюбить сталевара — она только подумала, почувствовала, что, может быть, когда-нибудь станет женой рабочего парня, показавшегося ей поначалу наглецом. И это в финале картины!..»

Таких сюжетов наши кинозрители переглотали в прошлом десятки. В них был всё тот же шаблонный ассортимент: плохой рабочий парень, рационализаторские предложения, пивная в часы упадка духа и неизбежное «просветление» плохого парня.

Почему же так взволновал многих этот фильм?

Тем, как интерпретировали молодые режиссеры эту старенькую тему. С любовью и глубокой художественностью они пытались изобразить и своих героев и «очарование будней». Как пишет критика: эта бесхитростная, житейская история «вбирает в себя такое количество подробностей нашего сегодняшнего дня, черт характеров наших современников, хорошей и честной правды наших дней, такую яркость деталей, что это не может не волновать. Пристальность внимания молодых художников к своим героям, влюбленность в самую атмосферу наших дней чувствуется в отработке каждого эпизода, и это не может не передаться нам».**)

Вместо «железобетонных», идейно выдержанных героев-монументов, вместо лакированной действительности, схем, точно согласованных с партийными инстанциями, появляется фильм с некоей «поэзией советских будней», с людьми простыми и трогательными, с теплой атмосферой. И этот первый и скромный, живой и человечный фильм, приходящий на смену схематической и декларативной агитке, уже производит впечатление некоего Возрождения после холодной тьмы схоластического средневековья.

---

*) — «Искусство кино» № 1, 1957 г.

**) — «Искусство кино» № 3, 1957 г.

Этот столь нашумевший «лирический фильм» — первый, где советские будни показаны без назойливой «точки на фасад», *родился в обход партийных требований, планов и циркуляров.* Авторы его прошли сквозь сотни мытарств, пока Одесская Студия рискнула его выпустить на экран. Как свидетельствует кинопресса: «во время съемок авторы фильма выслушивали немало упреков в «мелкотемье», в бытовщине, в якобы неверном и неполном отражении жизни рабочей молодежи» и т. п.

Второй фильм, о котором следует упомянуть, называется: «Это начиналось так...»

Его успех также, как и успех «Весны на Заречной улице», вызван попыткой преодолеть унылые шаблоны советского фильма-агитки. Построенный на исхоженной и уже сильно затоптанной теме «освоения целинных земель», он выгодно отличается от своих предшественников новым, нешаблонным подходом к разработке «серийной» и казенной темы. Взять, хотя бы, например, финал фильма. Он резко порывает со штампом давать концовку «за здравие», с апофеозом победы мудрого партийного руководства, «казенным оптимизмом» и фанфарами. Герой погибает. И режиссеры фильма (Л. Кулиджанов и Я. Сегель) пишут по этому поводу так: «Мы порадовались тому, что смерть бригадира, самого нашего любимого героя в картине, смущает лицемеров, напрасно ожидавших, что он воскреснет или хотя бы ослепнет, но будет излечен добрым, бородатым, ворчливым профессором». («Искусство кино» № 1, 1957 г.).

Этому фильму, как и «Весне на Заречной улице», свойственна любовь к героям и деталям. Но самым сенсационным, вызвавшим большое замешательство среди партийных ханжей, является новая для аскетической советской кинематографии трактовка любви.

По словам режиссеров этого фильма, они сделали попытку «рассказать о чистой, верной, доброй любви двух простых наших людей, о любви, не ограничивающейся стыдливыми поцелуями, а жадной, сильной, человеческой любви, от которой родятся дети».*)

Эта необычайная для засушенного партийным ханжеством советского фильма трактовка любви, вызывает восторги у некоторых критиков:

«Любовная сцена между Таней и Лёшей — одна из самых лучших в фильме. Откровенно и просто показано, как томятся влюбленные друг по другу, как ищут уединения, как неловко, трепетно, целомудренно стремятся к сближению. И именно в этой простоте большая сила, настоящая красота, безупречная чистота прекрасного молодого чувства. Опасения, что эта любовная сцена может показаться излишне откровенной, безосновательны».**)

Интересен и новый комедийный фильм: «Карнавальная ночь» (Авторы сценария: Б. Ласкин и В. Поляков. Режиссер: Э. Рязанов. Мосфильм).

В числе печальных «последствий культа личности в кинематографии» сейчас находят и то обстоятельство, что кинокомедии были засушены идеологически выдержанной риторикой, под спудом скуки которой умирало всё смешное. Комедия была в загоне. Комедия была делом рискованным. Из-за этого проклятого смеха, партийное начальство в киностудии рисковало потерять насиженное место. Было законом, «что комедии надо отводить второстепенное место в нашей

*) — «Искусство кино» № 1, 1957 г.

**) — Р. Юренев «Рецензия с большим разбегом», «Искусство кино» № 1, 1957 г.

общественной жизни, то есть держать ее на тематических задворках».*) А те комедии, которые изредка и допускались в производство, были убоги и скучны. «Многие наши комедии сделаны будто из старых бревен», — говорит заведующий сценарным отделом Мосфильма.

В одной из дискуссий киноработников известная актриса Серафима Бирман призывала всех на пороге «новой эпохи» вооружиться гоголевским «дерзномыслием». Очевидно, к этой первой попытке «дерзномыслия» надо причислить и «Карнавальную ночь».

Картина названа критикой — «полемической». Главный ее герой — партийный чинуша, заведующий «дворцом культуры» некоего района — товарищ Огурцов (которого, кстати, замечательно играет Игорь Ильинский). Ни много, ни мало как «ярость против таких людей и заставила нас написать нашу комедию», сознаются авторы сценария.

Пожалуй, это первый сатирический фильм, бьющий довольно сильно по партийным бюрократам. И, конечно, метящий не только в мелкую сошку — «заведующего дворцом культуры», а шире и выше. Этого не скрывают и авторы: «Огурцовы встречаются не только во дворцах культуры, и бороться с ними приходится не только за веселый концерт. Мне кажется, что зрители это поняли, потому они и поддержали картину».**)

В лице Огурцова, управляющего «на местах» культурой и искусством, авторы фильма в какой-то мере бьют и по чинушам-коммунистам, облепившим кинематографию и удушающим ее своими «формулировочками» и штампами казенного канцелярского жаргона.

Речь Огурцова — конденсат жаргона средних партийных чинуш, перлы «канцеляризмов», «начальственной риторики» и «ораторской демагогии», от которых уже давно у всех людей вянут уши, и всё живое засыпает от смертной казенной скуки.

«Товарищи! Есть у с т а н о в к а весело встретить Новый Год!»... «Заслушаем клоунов... Блеснуть, так сказать, по этой линии... Согласно русским сказкам, в соответствии со сметой... Танец — о чем он говорит?.. Вот эта ваша музыка, дает она что?... Слезы оставить и, главное, понимаешь, побольше бодрости!..»

Огурцов, как и все партийцы, «моралист». Он распекает исполнительницу акробатического вальса за «голый» костюм»: «И много вы встречали экономистов в таком виде?» Огурцов «уточняет формулировочку» в романсе, и после слов: «А я одна, совсем одна...», (вместо «с надеждой тихой и мечтой»), предлагает певице петь: «со своим здоровым коллективом», и поучает ее: «Вот так... будет типично...»

Вне сомнения, что «Карнавальная ночь» это в какой-то мере и сатира на тупоумие партийного контроля над искусствами.

Можно счесть чем-то освежающим уже то обстоятельство, что Ильинский изображает «ответственного товарища» с партийным билетом «надменным, самодовольным, угодливым, трусливым, грозным в администраторском раже и всегда предельно тупым».

---

*) — К. Минц, журнал «Искусство кино» № 3, 1957 г.

**) — «Искусство кино» № 3, 1957 г.

*

Стремление поднять художественное качество советского фильма, отбросить старые шаблоны, освежить «новациями»; желание оживить и отеплить форму; все эти крики о «новой эпохе», о «смелых поисках», о борьбе с уродствами вчерашней кинематографии, — все это не может окончательно заслонить тот факт, что КПСС отнюдь не намерено выпустить из своих рук идеологическое руководство советской кинематографией.

За всеми этими розовыми и приятными декорациями «оттепели» и «весны» на фронте кинематографии можно подглядеть старую и угрюмую партийную непримиримость, ничего доброго не сулящую тем, которые чересчур восторженно поверили в искренность, прочность и широту перемены курса партии.

Доказательства того, что коммунистическая «змея шкуру меняет, а характера своего изменить не может» — имеются в достаточном количестве.

Попыткам «новаторов» показать п р а в д у, советскую жизнь и ее будни без лакировки — противостоят голоса партийных критиков, заявляющих, что кинодраматурги «предлагают маленькую правду, правду бытовую, правду деталей и частностей, не освещенную большой мыслью», — под чем, конечно, подразумевается партийная идеология. А правоверный партиец кинорежиссер А. Роом на Художественном Совете Мосфильма даже завопил: «Я протестую вообще против показа этого черного материала нашей действительности! Это не дело кино!.. *Мы не всякую правду можем допустить на экран...*»*). («Искусство кино» № 3, 1957 г.)

Правду отобранную, подогнанную и фальсифицированную хочет видеть на экране партия. Как говорит партийный критик Сурин: мастера кино, «отбирая явления действительности, должны уметь обобщать их и давать им правильную (т. е. правоверно-партийную. Н. Г.) оценку в их реальном историческом значении».

Не следует забывать, что не кто иной, как сам Хрущев на XX съезде КПСС тоже высказался против фильмов, посвященных теплому и человечному изображению будней, погрозив в сторону тех киноработников, которые создают картины, «посвященные мелким и непримечательным явлениям».

Раздаются голоса и против подражания итальянцам. Так, партиец режиссер М. Донской говорит, что на новых работах молодых кинорежиссеров (а они-то и являются главными героями «оттепели» и «весны» в кино) чувствуется «влияние некоторых итальянских фильмов, показывающих главным образом теневые стороны жизни. Это — нехороший, ненужный путь для нашего искусства... Я — сторонник более радостного, более романтического искусства...» («Искусство кино» № 2, 1957 г.).

И, оказывается, что анафема «помпезной монументальности», «железобетонным» героям, героям, причисленным к лику коммунистических святош, героям истошно «идейно выдержанным» и «ура-фильмам» — сама по себе, а то там, то здесь продолжаются сами по себе всё те же старые и казенные речи о том, что «главной и основной задачей искусства является задача создания образа положительного героя современности... борца, носители передовых идей, творца исторических подвигов...» (Р. Юренев «Величие простых людей», сборник статей «Вопросы киноискусства», из-во «Искусство», Москва, 1955 г.) Что подлинным

*) Курсив мой. — Н. Г.

героем советских кинофильмов должен быть «советский человек, показанный в его благородном созидательном труде, направленном на строительство коммунизма» («Искусство кино» № 2, 1957 г.).

Итак, «сдвиги», «новый курс», «весна» в спорах советских киноработников продолжаются, но за всем этим мы по-прежнему обретаем хмурый и беспощадный лик партийного контроля и утверждение «партийного искусства». Как и прежде, остается в силе то, что КПСС способна на маневрирование, мелкие «либеральности», но она не намерена выпускать кинематографию из своих цепких рук и в любой день сможет наложить запрет на любые «новации», объявив их «перегибами» и идеологическими извращениями.

Наука и техника

А. Поплюйко

Ученые России в советской науке

Успешные испытания межконтинентальной многоступенчатой баллистической ракеты (сообщение ТАСС от 27 августа 1957 г.), удачный запуск 4 октября первого искусственного сателлита и, затем, второго спутника с экспериментальным животным (сообщение от 5 ноября) принесли заслуженный триумф русской науке в СССР. Советскими учеными было положено начало новой космической эры. Человечество приблизилось к поворотному пункту своей истории.

Никто уже не сомневается, что Советский Союз обязан конечным успехом своим собственным ученым и техникам. Но вряд ли за границей многие ясно себе представляют, что наука в стране давно уже стояла на собственных ногах: еще с дореволюционного времени, а не только после второй мировой войны. Несомненно, что выкраденные американские секреты и бегство в СССР некоторых завербованных атомных специалистов помогли в кратчайший срок догнать Америку в производстве атомной и водородной бомбы. Безусловно огромную помощь в создании советских реактивных двигателей и ракетного оружия оказали захваченные немецкие исследовательские базы и полигоны и вывезенные немецкие специалисты. Всё-таки заимствования обогащали необходимым подсобным материалом советскую науку и технику, ускоряли развитие некоторых областей знания, но не вызвали эпигонского подражания, голого копирования. Мировая наука и техника послужили лишь отправным толчком для создания собственных, более совершенных образцов приборов, аппаратов и оружия, чем имевшиеся к тому времени на Западе.

Вернувшиеся в Германию немецкие ученые в один голос заверяют, что они прямого участия в создании советских конструкций ракетных двигателей и аппаратов не принимали и не были в курсе опытов создания ядерного оружия. Их не допускали к основным изысканиям и проектным работам. Никаких советских секретов на Запад они не привезли.

На Западе недооценка уровня развития советской науки и техники сменилась некритическим преклонением перед советской системой высшего образования и советской постановкой исследовательской работы. Некоторые западные исследователи впадают в крайность, пытаясь связать достижения советской научно-технической мысли с особенностями социально-экономического строя, господствующего в стране, и этим самым повторяют зады советской пропаганды.

Когда Амундсен опередил Скотта в гонке к Южному полюсу, никому не приходило в голову связывать успехи норвежского полярного исследователя с преимуществами норвежской политической системы по сравнению с английской. Никто не находил прямой зависимости между производством атомной бомбы

и системой политических взглядов демократической партии США, а неудачу с запуском американских спутников Земли — с особенностью мировоззрения лидеров республиканской партии. В то же время, каждый частичный успех в СССР в области науки, техники и искусства записывается целиком на конто идеологических концепций коммунистической партии и советского строя в стране.

Нельзя отрицать, что при тоталитарном строе наука организационно целиком зависит от государства и во многих своих областях становится служанкой режима. Партийная воинствующая идеология направляет и деформирует научное воззрение всюду, где это доступно, но не во всем без исключения. С особенностями коммунистического строя связаны как раз не достижения науки, техники и культуры, а возникновение бесчисленных трудностей, на преодоление которых зря расходуются духовные силы советской интеллигенции. Государственному вмешательству в научную и культурную жизнь страна обязана непрерывным возникновением диспропорций в уровне развития духовного творчества, теми извращениями и деформационными силами, которые искажают культурный облик страны. Не учитывать этих явлений, — значит априорно признать, что регламентация духовного творчества дает больше, чем свобода мысли, что авторитаризм и политическое принуждение при диктатуре дают больше для расцвета науки и культуры, чем атмосфера политической свободы демократического мира.

Другая крайность, которая долго господствовала в оценке уровня развития духовной жизни советской интеллигенции, вызвана аксиоматическим представлением, что научная свобода и политическая свобода неотделимы. Ошибочно полагать, что свобода научного творчества и политический режим неразрывно связаны друг с другом, и на состоянии наук прямо отражается наличие политического давления на граждан страны. Самые абсолютистские политические системы, самые тиранические диктатуры, подавляющие малейшие проблески свободы общественной мысли, утилитарно заинтересованы в развитии тех отраслей знания, которые способствуют укреплению системы, в достижении успехов в тех областях культуры, которые придают государству блеск и служат прославлению режима и его творцов. Об этом, например, свидетельствует цивилизация древнего Египта, высокий расцвет литературы и искусства в эпоху французского абсолютизма. Золотой век русской литературы приходится, как известно, на годы царствования Николая I.

Третью ошибку допускают исследователи, когда оценивают советскую науку как возникшую на пустом месте, приписывая русской науке и русской технике весьма низкий уровень развития, отсутствие какой-либо самостоятельности и оригинальности в творчестве русских ученых.

Русская наука к началу революции обладала уже глубокими традициями, Российская Академия Наук была одним из крупнейших мировых центров научной мысли. Многие русские академики были почетными членами ряда иностранных ученых обществ и учреждений. В дореволюционный период в стране было сделано немало открытий мирового значения. Ряд русских ученых, как М. В. Ломоносов, Н. И. Лобачевский, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, Ф. А. Бредихин и многие другие вписали свои имена в книгу мировой науки.

Гениальный русский ученый М. В. Ломоносов (1711 - 65 г г.) был энциклопедистом в полном смысле этого слова. В его научном творчестве были затронуты все отрасли современного ему естествознания. Им была разработана и экспери-

ментальным путем обоснована теория сохранения вещества за несколько лет до формулировки закона французским ученым Лавуазье. Ломоносов первым ввел в мировую науку понятие — «физическая химия». Его наблюдения доказали наличие атмосферы на Венере. Он много занимался вопросами географии, метеорологии, горного искусства и металлургии. Полезными оказались его опыты в области сельского хозяйства. Он конструировал научные приборы, создавал оптические инструменты, строил заводские установки, разрабатывал технологию производства стекла, фарфора. Создавал мозаичные картины, составил грамматику русского языка. Написал руководство по стихосложению и сам писал оды.

Ученые труды Ломоносова были известны за границей, и по достоинству оценены иностранными учеными кругами. Шведская Академия Наук избрала его своим действительным членом (1760 г.), Болонская Академия почтила званием почетного члена (1764 г.).

Русский академик Лобачевский (1792 - 1856 г г.) — создатель неэвклидовой геометрии. Принятая во всем мире периодическая система элементов была разработана Д. И. Менделеевым (1834 - 1907 г г.). Лежащее в основе современной органической химии изображение структуры органического вещества было создано и обосновано А. М. Бутлеровым (1828 - 1886 г г.). И. И. Мечников (1845 - 1916 г г.), русский биолог, один из основоположников сравнительной патологии, микробиологии, эволюционной эмбриолотии, с 1888 года работал в Пастеровском Институте в Париже. Русский астроном Ф. А. Бредихин (1831 - 1904 г г.) известен в мировой науке как создатель теории кометных форм.

Сейсмотрафами конструкции Б. Б. Голицына (1862-1916 г г.) пользовались многие лаборатории мира. Основоположником почвоведения как самостоятельной науки является В. В. Докучаев (1846-1903 г г.). Теоретические и практические работы русского электротехника М. О. Доливо-Добровольского (1862 - 1919 г г.), изобретателя трехфазного двигателя переменного тока, были хорошо известны за границей. Мировой науке известно имя Н. Н. Зимина (1812 - 1880 гг.), получившего впервые синтетическим путем анилин и предложившего использовать нитроглицерин для начинки гранат. С. С. Корсаков (1854 - 1900 г г.), психиатр, вошел в науку описанием клиники алкогольного психоза, так называемого «Корсаковского психоза». Географам всего мира известны труды Н. Н. Миклухо-Маклая (1848 - 1888 г г.) — путешественника, антрополога и энтомолога. Изобретателем радио является русский ученый-инженер А. С. Попов (1859 - 1906 г г.). Еще можно назвать два имени русских географов, хорошо известных в науке — это имена Н. М. Пржевальского (1839 - 1888 г г.), путешественника и исследователя Центральной Азии (лошадь Пржевальского) и П. П. Семенова-Тянь-Шанского (1827 - 1914 г г.) — географа, статистика и ботаника. Крупнейшей мировой фигурой был минералог и кристаллограф, сформулировавший законы построения кристаллической решетки, — Е. С. Федоров (1853 - 1919 г г.). Русскому металлургу Д. И. Чернову (1839 - 1921 г г.) принадлежит честь открытия фазовых превращений железа.

Русские ученые были одним из значительнейших отрядов мирового синклита ученых. Русская наука всегда была частью мировой науки, не отгораживалась от нее и ей не противопоставлялась. Русские ученые всегда отличались скромностью. Их вклад в общую сокровищницу научного знания был значительно выше, чем это представлялось многими на Западе. О научных открытиях русских ученых за границей узнавали нередко с большим опозданием, после повторного аналогичного открытия, сделанного иностранными учеными. Незнание русского языка учеными западного мира и редкое, далеко не полное, публико-

вание трудов русских ученых в заграничной научной печати приводило к тому, что полного или хотя бы достаточного представления об уровне развития научного творчества в старой России никто из западных исследователей не имел. В силу этого, недостаточно известно, что советская наука есть несколько деформированное, со смещенными ценностями, естественное продолжение старых русских научных традиций.

Развитие научного творчества в старой России к началу революции достигло относительно высокого уровня, несомненно значительно более высокого, чем общее состояние социально-политического и экономического развития страны. Об этом свидетельствует расцвет высшей школы в дореволюционный период.

В 1914/15 учебном году в России (в современных границах СССР) было 105 высших учебных заведений, в которых обучалось 127,4 тысяч студентов. Численность студентов была выше, чем в те годы в любой западной стране — Германии, Англии или Франции. Так же относительно высока была численность научно-педагогических кадров. Россия, по-видимому, занимала первое место в мире по количеству научных учреждений и числу научных работников. В 1914 году в стране существовало 289 научных учреждений (не считая кафедр в высшей школе, которые часто представляли собой самостоятельные научно-исследовательские организации). В них работало 4.240 научных сотрудников, а с занятыми в высших учебных заведениях — свыше 10 тысяч человек.

Советскому государству досталась в наследство широко разветвленная сеть научных учреждений с крупнейшей в мире Академией Наук. В 1917 году Академия Наук состояла из трех отделений, многих лабораторий, музеев, научных кабинетов. Число сотрудников достигало 220 человек, что для того времени надо признать значительной величиной. В составе сотрудников Российской Академии Наук имелось 47 действительных членов — академиков, среди которых многие были учеными с мировым именем или европейским признанием. Они и определили собой лицо советской науки в первые годы существования советской власти. Часть из них, несмотря на преклонный возраст, до последнего времени находилась в числе активных сотрудников АН СССР. Большинство нынешних академиков в области точных и технических, отчасти и гуманитарных наук, являются учениками или последователями этих старейших ученых страны.

К числу крупнейших ученых дореволюционной формации, продолжавших свою научно-педагогическую деятельность в советские годы, надо отнести, в первую очередь, физиолога И. П. Павлова (1849 - 1936 г г.). К нему власть очень благоволила, в его учении о высшей нервной деятельности животных и человека видели подтверждение материалистической философии. Павлов долго не скрывал своих антисоветских взглядов и всегда придерживался религиозного воззрения. Поэтому его именем спекулировали в доказательство личной и творческой свободы ученых в Советском Союзе. Ему было разрешено построить домашнюю церковь в селе Колтуши (ныне Павлово) под Ленинградом, где для него была сооружена специальная биологическая станция-институт.

Совсем недавно Хрущев разбил упорно насаждавшийся миф о том, что Павлов задолго до смерти принял советскую власть. Еще в 1935 г., за год до его смерти, когда собирался мировой конгресс физиологов, Павлова с большим трудом заставили принять такую форму обращения к советскому правительству, при которой необходимо было назвать членов правительства — «товарищи народные комиссары», о чем откровенно поведал Хрущев в Венгерской Академии Наук («Правда» от 10 апреля 1958 г.).

Из других ученых, большей частью русских академиков, работавших уже

в советское время, но получивших мировое признание еще в дореволюционное, следует отметить следующих: 1) А. И. Карпинского (1846 - 1936 г г.), президента АН в 1917 - 1936 г г., оказавшего большое влияние на развитие мировой геологической науки; 2) В. И. Вернадского (1863 - 1945 г г.) — создателя новых наук: геохимии, биогеохимии и радиогеологии; 3) С. Ф. Ольденбурга (1863 - 1934 г г.) — востоковеда, непременного секретаря Академии Наук с 1904 г. по 1929 г.; 4) Н. Д. Зелинского (1961 - 1953 г г.) — химика-органика, специалиста в области органического катализа, изобретателя русского противогаза с активированным углем; 5) А. Е. Арбузова (р. 1877 г.) — химика, прославившегося работами в области фосфорно-органических соединений и явлений таутометрии; 6) В. А. Обручева (1863 - 1956 г г.) — геолога и географа; 7) А. А. Белопольского (1854 - 1934 г г.) — астронома; 8) Л. С. Берга (1876 - 1950 г г.) — географа и биолога; 9) Д. П. Коновалова (1856 - 1929 г г.), открывшего законы упругости пара, вводившего в СССР метрическую систему; 10) Н. С. Курнакова (1860 - 1941 г г.) — основоположника физико-химического анализа, изобретателя оригинального самопишущего пирометра; 11) Н. А. Максимова (1880 - 1952 г г.) — ботаника, одного из основоположников экологической физиологии растений; 12) М. А. Павлова (1863 - 1958 г г.) — металлурга, книги которого по данному процессу стали классическими трудами мировой науки.

За сорок лет советского периода умерло и погибло немало крупных ученых, русских или советских академиков, которые долго и плодотворно работали при советском режиме, хотя их научная карьера была начата в дореволюционный период. Перечисляя ниже некоторые имена, мы наш список ограничиваем только именами ученых, работавших в области точных наук и естествознания, сознательно не приводя имен ученых, занимавшихся гуманитарными науками. Имена многих из них, погибших от террора, трудно восстановить. Требуется ознакомление с недоступными нам в настоящее время источниками. Опираясь только на современные советские документы, мы невольно исказим истинную картину роли отдельных русских ученых в развитии гуманитарных знаний в нашей стране.

В области геологических наук виднейшими учеными, сложившимися еще в дореволюционное время были: 1) А. Е. Ферсман (1883 - 1945 г г.) — минералог и геохимик; 2) П. И. Степанов (1880 - 1947 г г.) — геолог; 3) А. Д. Архангельский (1879 - 1940 г г.) — геолог; 4) Д. С. Белянкин (1876 - 1953 г г.) — минералог и петрограф; 5) Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1861 - 1939 г г.) — геолог и петрограф; 6) М. В. Павлова (1854 - 1938 г г.) — палеонтолог; 7) С. С. Смирнов (1895 - 1947 г г.) — геолог и минералог; 8) И. М. Губкин (1871 - 1939 г г.) — геолог, специалист в области нефтяной геологии; 9) Б. И. Бокий (1873 - 1927 г г.) — автор трехтомного «Практического курса горного искусства»; 10) А. А. Борисяк (1874 - 1944 г г.) — геолог, стратиграф и палеонтолог; 11) С. А. Яковлев (1878 - 1957 г г.) — геолог.

Известными учеными в области Географических наук были: 1) А. А. Борзов (1874 - 1939 г.г.) — географ и геоморфолог; 2) исследователь Центральной Азии П. К. Козлов (1863 - 1935 г г.); 3) почвовед и географ Л. И. Прасолов (1875 - 1954 г г.); 4) океанограф и картограф Ю. М. Шокальский (1856 - 1940 г г.); 5) географ- антрополог Д. Н. Анучин (1843 - 1923 г г.).

физико-математические науки в России, а затем в СССР, были представлены такими крупными учеными: 1) физик-оптик, президент АН СССР С. И. Вавилов (1891 - 1951 г г.); 2) математик, механик и строитель Б. Г. Галеркин (1871 - 1945 г г.); 3) «Отец русской авиации», гидро- и аэромеханик Н. Е. Жу-

ковский (1847 - 1921 г г.); 4) механик и математик, специалист в области теории упругости А. Н. Динник (1876 - 1950 г г.); 5) Аэро- и гидромеханик С. А. Чаплыгин (1869 - 1942 г г.); 6) математик Н. Г. Чеботарев (1894 - 1947 г г.); 7) Математик, геофизик и полярный исследователь О. Ю. Шмидт (1891 - 1956 г г.); 8) Теплотехник и специалист в области строительной механики В. Г. Шухов (1853 - 1939 г г.); 9) Математик, механик и судостроитель, создавший в 1911 г. первую в мире машину для решения дифференциальных уравнений — А. Н. Крылов (1863 - 1945 г г.); 10) физик, гео- и биофизик П. П. Лазарев (1878 - 1942 г г.); 11) математик Н. Н. Лузин (1883 - 1950 г г.); 12) механик И. В. Мещерский (1859 - 1935 г г.), чьи работы легли в основу некоторых расчетов в области реактивной техники; 13) Физик и радиотехник Н. Д. Папалекси (1880 - 1947 г г.); 14) Физик (теоретическая и практическая оптика) Д. С. Рождественский (1876 - - 1940 г г.); 15) Математик В. А. Свердлов (1863 - 1926), — вице-президент АН с 1919 г. по год смерти; 16) Радиотехник М. В. Шулейкин (1884 - 1939 г г.); 17) Электротехник В. Ф. Миткевич (1872 - 1951 г г.); 18) Электротехник К. А. Круг (1873 - 1952 г г.); 19) Радио- и электротехник А. А. Петровский (1873 - 1942 г г.).

Среди названных нами ученых попадаются имена специалистов, работавших в области прикладной механики, поэтому список можно пополнить следующими учеными специалистами в области прикладной механики, в том числе и гидромеханики: 1) Гидротехник Н. Н. Павловский (1884 - 1937 г г.); 2) Инженер-гидростроитель, впоследствии академик, Б. Е. Веденеев (1884 - 1946 г г.); 3) Также гидротехник и академик — А. В. Винтер (1878 - 1958 г г.); 4) Гениальный ученый-самоучка, отец астронавтики, к которому мировая слава пришла посмертно — К. Э. Циолковский (1857 - 1935 г г.); 5) Машиновед Е. А. Чудаков (1890 - 1953 г г.); 6) Создатель сельскохозяйственной механики В. П. Горячкин (1868 - 1935 г г.).

Из работавших в области технических наук и особенно в области конструирования самолетов и оружия можно отметить старых дореволюционных специалистов как конструктора пулеметов и противотанкового оружия В. А. Дегтярева (1879 - 1949 г г.) и выдвинувшегося в советское время специалиста по авиационным двигателям — А. Д. Швецова (1892 - 1953 г г.).

Очень крупными силами обладала русская наука в области химии и физикохимии. Мы можем назвать лишь немногие имена. Среди пропущенных находятся, быть может, не менее значительные ученые ,чем те, которых мы назовем. 1) С. В. Лебедев (1874 - 1942 г г.) разработал оригинальный метод промышленного получения синтетического каучука; 2) С. С. Наметкин (1876 - - 1950 г г.), химик, специалист в области химии нефти и продуктов ее перегонки; 3) Химик-органик (красители и алкалоиды) В. М. Подионов (1878 - - 1954 г г.); 4) Химик-органик (синтез изопрена) А. Е. Фаворский (1860 - 1945 г г.); 5) Работавший в области органической и неорганической химии А. Н. Реформатский (1864 - 1937 г г.); 6) Химик-органик С. Н. Реформатский (1860 - 1934 г г.); 7) Невозвращенец с 1930 г., крупнейший ученый химик с мировым именем — А. Е. Чичибабин (1871 - 1945 г г.); 8) Тоже невозвращенец и такой же ученый с мировым именем, как и предыдущий — В. Н. Ипатьев (1867 - 1952 г г.). 9) Нельзя не упомянуть имени В. Е. Тищенко (1861 - 1941 г г.); 10) неорганика, автора химической теории шлифовки и полировки стекол И. В. Гребенщикова (1887 - 1953 г г.); 11) химика-органика Н. Я. Демьянова (1861 - 1938 г г.); 12) специалиста, работавшего в области красителей, М. А. Ильинского (1856 - 1941 г г.); 13) физико-химика, работавшего также в области термохимии, И. А. Каблукова (1857 - 1942 г г.); 14) крупного ученого, известного своими работами по корро-

зии металлов, по электрохимии и теории жидкостей — В. А. Кистяковского (1865 - 1952 г г.); 15) химика, посвятившего себя геохимическим исследованиям и изучению технологии радия и редких элементов — В. Г. Хлопина (1890 - 1950 г г.); 16) химика-органика П. П. Шорыгина (1881 - 1939 г г.).

Советская металлургия была представлена рядом выдающихся ученых, начавших свою научную или инженерскую деятельность в дореволюционный период, которые значительную часть своей жизни, уже будучи учеными, провели при советском строе. Кроме упомянутого нами ученого с мировым именем М. А. Павлова, можно назвать еще ряд имен таких ученых, которые приобрели мировую известность, как например, 1) металлург Н. И. Чижевский (1873 - 1952 г г.); 2) металлург и химик А. А. Байков (1870 - 1946 г г.); 3) один из основоположников металлургической науки в России — В. Е. Грум-Гржимайло (1864 - 1928 г г.), посмертно обвинявшийся в принадлежности к Промпартии, брат которого Г. Е. Грум-Гржимайло (1860 - 1930 г г.) был крупным исследователем Средней и Центральной Азии; 4) киевский профессор В. П. Ижевский (1863 - 1926 г г.) — металлург, электрометаллург и металлограф (в металлургии широко известен реактив И — раствор пикриновой кислоты для проявления микроструктуры сплавов). Видными деятелями науки были репрессированные проф. Пильняк и проф. Чарновский.

Большой плеядой блестящих ученых было представлено в России естествознание, и многие из крупных ученых начала двадцатого века и даже конца прошлого столетия стали советскими учеными и наложили отпечаток своей деятельности на дальнейшее развитие науки в СССР.

Вот некоторые из них: 1) микробиолог С. Н. Виноградский (1856 - 1953 г.г.) (исследование круговорота веществ в природе и участие в нем бактерий); 2) бактериолог и эпидемиолог Д. И. Заболотный (1866 - 1929 г г.); 3) ботаник-эколог Б. А. Келлер (1874 - 1945 г г.); 4) ботаник В. Л. Комаров (1869 - 1945 г г.), бывший президентом АН СССР с 1936 г. по 1945г.; 5) физиолог Н. Е. Введенский (1855 - 1922 гг.); 6) микробиолог Н. Ф. Гамалея (1859 - 1949 гг.); 7) микробиолог В. Л. Омелянский (1867 - 1928 гг.); 8) биолог А. Н. Северцев (1866 - 1936 гг.); 9) физиолог А. А. Ухтомский (1875 - 1942 гг.); 10) патофизиолог, открывший сыворотку «долголетия» А. А. Богомолец (1881 - 1946 гг.); 11) один из создателей нейрохирургии Н. А. Бурденко (1876 - 1946 гг.); 12) анатом, препарировавший труп Ленина — В. П. Воробьев (1876 - 1937 гг.).

Очень высоко в России стояли сельскохозяйственные науки, представители которой пользовались большой популярностью в кругах европейских ученых и под влиянием трудов которых формировались ученые Советского Союза. Как и в отношении других ученых, трудившихся в советское время, а научный багаж свой приобретших еще в дореволюционные годы, мы можем назвать только некоторые имена, не претендуя на полноту охвата и правильного учета размера их вклада в сокровищницу русской науки. Несомненно, к виднейшим специалистам в области отечественных сельскохозяйственных наук можно отнести: 1) агрохимика Д. Н. Прянишникова (1876 - 1948 г г.) (физиология растений); 2) животновода и зоотехника М. Ф. Иванова (1871 - 1935 г г.); 3) почвоведа-агронома В. Р. Вильямса (1863 - 1939 г г.), с именем которого связано настойчивое проведение травопольной системы; 4) почвоведа-геоботаника и лесовода Г. Н. Высоцкого (1865 - 1940 г г.); 5) почвоведа-агрохимика, основоположника учения о почвенных коллоидах — К. К. Гедройца (1872 - 1932 г г.); 6) бесследно исчезнувшего в советских концлагерях, брата предпоследнего президен-

та АН СССР (С. И. Вавилова) — генетика, исследователя культурной флоры — Н. И. Вавилова. Безвременно погибли «кулацкие апологеты», видные ученые — Кондратьев и Чаянов.

До сих пор здравствуют многие выдающиеся и крупные ученые, начавшие свою научную и инженерную деятельность в дореволюционный период и получившие звание академиков большей частью уже в советское время, к которому они уже были сложившимися учеными, создавшими многие свои труды, принесшие им прочную репутацию в научном мире страны и отчасти в европейских или даже мировых кругах. В перечне, который мы приводим, не сделано распределение ученых согласно их научному полю деятельности. Нашей задачей является лишь показать богатство научных сил русской науки, доставшихся в наследство науке советской.*)

1) С. Н. Берштейн — математик (р. 1880 г.), 2) В. Г. Фесенков — астроном (р. 1889 г.), 3) Г. А. Тихов — астроном и астрофизик (р. 1875 г.), 4) А. ф. Иоффе — физик (р. 1880 г.) 5) В. Н. Сукачев — ботаник и лесовод (р. 1880 г.), 6) Г. Г. Уразов — химик-неорганик и металлург (р. 1884 г.), 7) А. М. Терпигорев — горняк (р. 1873 г.), 8) А. А. Скочинский — горняк (р. 1874 г.), 9) К. И. Скрябин — гельминтолог (р. 1878 г.), 10) Н. Н. Аничков — патолог (р. 1885 г.), 11) С. Н. Блажко — астроном (р. 1870 г.), 12) К. М. Быков — физиолог (р. 1886 г.), 13) М. В. Кирпичев (р. 1879 г.), 14) О. Б. Лепешинская — биолог (р. 1871 г.), 15) Е. Ф. Лискун — зоотехник (р. 1873 г.), 16) А. И. Некрасов — аэрогидродинамик (р. 1883 г.), 17) Л. А. Орбели — физиолог (р. 1882 г.), 18) Е. Н. Павловский — зоолог и паразитолог (р. 1884 г.), 19) А. В. Палладин — биохимик, президент АН Украинской ССР (р. 1885 г.), 20) В. И. Семенов — математик (р. 1887 г.), 21) А. Д. Сперанский — патофизиолог (р. 1888 г.), 22) Г. Н. Сперанский — педиатр (р. 1873 г.), 23) Ф. В. Токарев — конструктор автоматического оружия (р. 1871 г.), 24) А. Н. Туполев — авиаконструктор (р. 1888 г.), 25) В. П. Филатов — офтальмолог (р. 1875 г.), 26) В. Н. Шапошников — микробиолог (р. 1884 г.), 27) Л. Д. Шевяков — горняк (р. 1889 г.), 28) Ю. А. Шиманский — кораблестроитель (р. 1883 г.), 29) А. В. Шубников — кристаллограф (р. 1887 г.), 30) П. Г. Рубин — металлург, 31) Е. В. Брицке — химик и металлург (р. 1877 г.), 32) Б. Н. Юрьев — аэродинамик (р. 1889 г.),

К перечисленнным нами ученым следует добавить имена тех, кто окончил высшую школу до революции или вскоре после создания советского государства и благодаря этому целиком развивался вне идеологического влияния официальной теории, и которых поэтому можно считать больше русскими, чем советскими учеными. Ныне почти все, кого мы назовем, являются советскими академиками, ведущими учеными советской науки, сделавшими наравне с названными нами ранее учеными старшего поколения очень много для процветания науки в нашей стране. Мы ограничиваем наш список только теми учеными, которые родились в последнем десятилетии прошлого столетия и которым, следовательно, сейчас от 60 до 70 лет. Многие из них в свою очередь воспитали целую плеяду талантливых ученых, имеют учеников, уже ставших профессорами и докторами наук. Прилагаемый далее список содержит, как и все прочие, только часть имен наиболее выдающихся деятелей отечественной науки. Задача его лишь показать, какие богатые научные силы были подготовлены в старой России. Даже если ограничиться только теми именами, которые мы упомянули, то и этого было бы более, чем достаточно, чтобы опровергнуть миф об отсталости

*) Среди перечисленных здравствующих деятелей науки, быть может, названы некоторые, умершие в период 1954 - 58 г г. — А. П.

русской науки и легенду, что развитие науки в нашей стране целиком обязано усилиям советского государства, что наука в СССР создавалась на голом месте.

Даже в такой сравнительно молодой науке и отрасли техники как авиация и аэродинамика имеется немало представителей старшего поколения, как, например, сыгравший крупную роль в развитии ракетного оружия А. А. Благонравов (р. 1894 г.). В качестве примера крупных ученых девятидесятников по рождению можно назвать: геохимика и биохимика А. П. Виноградова (р. 1896 г.), конструктора артиллерийского вооружения В. Г. Грабина (р. 1900 г.), авиаконструктора С. В. Ильюшина (р. 1894 г.), конструктора авиадвигателей В. Я. Климова (р. 1892 г.), физико-химика, специалиста по изотопам А. И. Бродского (р. 1895 г.), химика-органика Б. А. Казанского (р. 1891 г.), работавшего много лет в Англии, невозвращенца П. Л. Капицу (р. 1894 г.), автора трудов по электронной микроскопии А. А. Лебедева (р. 1893 г.), открывшего совместно с Мандельштамом (1879 - 1944 г г.) комбинационное рассеивание света — Г. С. Ландсберга (р. 1890 г.), конструктора авиационных двигателей А. А. Микулина (р 1895 г.), математика и механика (теория упругости) Н. И. Мусхелишвили (р. 1891 г.) — президента Грузинской Академии Наук, нынешнего президента АН СССР — А. Н. Несмеянова (р. 1899 г.), биохимика А. И. Опарина (р. 1894 г.), физико-химика (исследование дисперсных систем) П. А. Ребиндера (р. 1898 г.), теплотехника Б. С. Стечкина (р. 1891 г.), физика (атомная физика, квантовая механика) И. Е. Тамма (р. 1895 г.), физико-химика (молекулярная спектроскопия и фотохимия) А. Н. Теренина (р. 1896 г.), почвоведа И. В. Тюрина (р. 1892 г.), физика (квантовая механика, теория дифракции, распространение радиоволн) В. А. Фока (р. 1898 г.), электрохимика А. Н. Фрумкина (р. 1895 г.), ботаника и селекционера Н. В. Цицына (р. 1898 г.), химика-неорганика И. И. Черняева (р. 1893 г.), астрофизика Г. А. Шайна (р. 1892 г.), геолога Н. С. Штатского (р. 1895 г.), физика и геофизика В. В. Шулейкина (р. 1895 г.), геолога и геохимика Д. И. Щербакова (р. 1893 г.), биохимика В. А. Энгельгардта (р. 1894 г.).

Мы сознательно не касались имен тех ученых, которые эмигрировали за границу или были высланы из Советского Союза. Их жизни и научной деятельности необходимо уделить особое место в истории русской науки. Также особую главу в истории русской науки занимают жертвы советского режима — погибшие в ссылке, в голодные годы, расстрелянные или прекратившие научную деятельность. Много сотен имен охватывает перечень людей науки, прямо или косвенно пострадавших от диктатуры и господства коммунистической идеологии.

Рассматривая развитие русской науки в советские годы, нельзя не отметить, что отношение власти к науке, к отдельным ее отраслям и течениям, к отдельным представителям ученого мира претерпело длительную эволюцию. Неудачей окончился поход против «буржуазной науки». Провалом окончилась попытка создания особой «пролетарской науки». Положение ученых только в последние пятнадцать-двадцать лет перестало быть двусмысленным и опасным. Теперь ученые в Советском Союзе стали привилегированным слоем советского общества, аристократией в социальном отношении и по материальному положению. Далеко не так обстояло дело в годы становления советской власти.

Первые годы проводилась советизация и политизация научного творчества, борьба с идеалистическим воззрением, подавлялось проявление всякой самодеятельности научных кругов. Все специалисты науки и техники были взяты под подозрение. И эту подозрительность прививал не кто иной, как сам Ленин, огульно зачислив во враждебные элементы строя всех специалистов. В марте

1919 года, когда советская власть чему-то должна была уже научиться, Ленин писал в статье «Успехи и трудности советской власти» следующее:

«И затем есть специалисты науки, техники все насквозь проникнутые буржуазным миросозерцанием, есть военные специалисты, которые воспитывались в буржуазных условиях, — и хорошо еще, если в буржуазных, а то в помещичьих, в палочных, в крепостнических. Что касается народного хозяйства, то все агрономы, инженеры, учителя — все они брались из имущего класса: не из воздуха они упали!» (Соч. Ленина, III изд. т. 29, стр. 51).

Огульное отнесение к буржуазии всех специалистов было, разумеется, передержкой и не соответствовало действительности. Даже по очень препарированной статистике выходило, что только 57,1% учащихся дореволюционной высшей школы составляли дети дворянства, духовенства, капиталистов, чиновников (БСЭ-СССР, изд. 1947, стр. 1210). Таким образом, не все были буржуа, признает это и советская статистика.

Следует отметить, что русская профессура в царское время была либерально настроена, «профессора-зубры» были редким явлением. Русские ученые приветствовали всякие прогрессивные и либеральные реформы и участвовали в их проведении. Для русской профессуры, как и для всей русской предреволюционной общественности, была характерна оппозиция к власти и сочувственное или нейтральное отношение к революционному движению. Выступление Ленина, бывшего студента, знавшего профессорский состав и социальное положение студенчества, является поэтому поклёпом доктринёра, потерпевшего неудачу в создании декретного социалистического государства.

Если Февраль встретил полное сочувствие со стороны либеральной профессуры, то Октябрьский переворот встретил сдержанное отношение. Самочинные аресты, эксцессы и убийства, совершавшиеся во время переворота и позднее, во время гражданской войны, когда пострадали и ученые, далекие от политической борьбы, оттолкнули на долгое время значительную часть, если не подавляющее большинство научных деятелей и специалистов в области техники. Многие русские ученые, со значительным весом в науке, нашли невозможным оставаться в Советской Росссии и выехали за границу. Количество покинувших родину было относительно велико, особенно, если учесть, что выезд был крайне затруднителен и грозил тяжелыми последствиями, был связан с риском.

В первые же годы был насильственно выслан за границу ряд ученых, главным образом, философов идеалистического направления (Бердяев, Франк, Лосский, Ильин).

Научные учреждения после Октябрьского переворота были предоставлены на волю судьбы и фактически перестали функционировать.

В конце марта 1918 г. Академия Наук обратилась к правительству с предложением привлечь ученых к исследованию естественных богатств страны. Еще с 1916 г. работала специальная комиссия АН — комиссия по развитию естественных производительных сил России (КЕПС), которую возглавляли крупнейшие ученые страны — академики. Предложение Академии обсуждалось 12 апреля на заседании СНК, которое вынесло постановление о необходимости «пойти навстречу этому предложению» и финансировать «соответственные работы Академии» (см. примечание к ленинскому «наброску плана научно-технических работ», Соч., т. 27, стр. 536). В современной советской печати замалчивается тот факт, что инициатива исходила из ученых кругов, а не со стороны власти.

Партия и правительство долго считали Академию Наук враждебной к вла-

сти организацией, последней цитаделью реакционной буржуазной науки; учреждением, в котором господствовала наука для науки, идеалистическое мировоззрение. Что это было именно так, подтверждает в 1934 г. непременный секретарь АН СССР, академик В. П. Волгин (р. 1879 г.):

«Однако положение Академии в системе советских учреждений продолжало оставаться неопределенным весьма долгое время. Отдельные сдвиги в отдельных учреждениях Академии происходили, но в общем Академия, вплоть до 1929 г., расценивалась, не без основания, советской общественностью как нечто чужеродное, с советской системой не сросшееся» («Научный Ленинград к XVII съезду ВКП(б)», Науч. техн. изд., 1934, стр. 2).

Российской Академии Наук должна была противостоять Коммунистическая Академия, основанная декретом ВЦИК РСФСР 25 июня 1918 г., в городе Москве, под названием «Социалистическая Академия Общественных Наук». Несмотря на всю поддержку и благоволение власти к собственному детищу, вся затея с Комакадемией закончилась провалом. Советской власти ничего не оставалось, как признать, что единственным действительно научным, крупным учреждением, которое способно двигать науку вперед, была и остается старая Российская Академия Наук. Двадцать седьмого июля 1925 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановили признать Академию высшим ученым учреждением Советского Союза с наименованием ее — «Академия Наук СССР».

Вместе с тем, партия ни на минуту не покидала мысли возродить и усилить Комакадемию. В 1930 г. было организовано Ленинградское отделение Комакадемии с целью контроля и идеологической борьбы с влиянием Академии Наук. С оживлением работы Комакадемии ничего не вышло. Часть учреждений и некоторых сотрудников ее передали Академии Наук, которая к тому времени была переведена в Москву и отдана под ведение Совнаркома (постановление ЦИК СССР от 14 декабря 1933 г. и 25 апреля 1934). В 1936 г. Сталин решил окончательно ликвидировать Комакадемию (постановление ЦК и СНК от 8 февраля).

В эти годы Академия Наук была подвергнута широкой реорганизации, в нее принудительным путем влили партийные кадры сотрудников, заставили некоторых коммунистических деятелей зачислить в академики. Тем не менее, остается бесспорным факт, что старый русский научный центр становится центром научной мысли Советского Союза. Субститута ему не нашли.

После небывалых репрессий, которым в начале 30-ых годов подверглись представители старой школы науки и техники (Шахтинский процесс, процесс Промпартии и Промпартии Юга России и др.), и повторной волны террора в период ежовщины, начинается резкий поворот в отношении к представителям науки и техники. Угроза войны с Германией и обострение международной обстановки в конце тридцатых годов заставили коммунистическую власть переменить свое отношение к ним. Постепенно улучшаются социально-правовое положение и материально-бытовые условия жизни ученых и специалистов техники.

Двадцать первого мая создается Всесоюзный комитет высшей школы при СНК СССР, а затем СНК СССР и ЦК ВКП(б) выносят постановление о работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой (23 июня 1936 г.; см. «Высшая Школа — основные постановления, приказы и инструкции», М-ва, 1940, стр. 25-32). В 1937 г. вводится штатно-окладная система для профессорско-преподавательского состава, в результате применения которой заметным образом повышаются заработки работников высшей школы и научно-исследовательских организаций (там же, стр. 224-28). Штатно-окладная система была введена 11 ноября 1937 г., а перед этим, постановлением СНК СССР от 20 марта того

же года, был установлен твердый порядок утверждения в ученых степенях и званиях для научно-педагогических кадров (там же, стр. 191-93), который мало чем отличался от дореволюционного. Было принято две ученых степени: кандидата наук и доктора наук, и три ученых звания: ассистента, доцента и профессора. В Академии Наук СССР и академиях союзных республик принимается звание члена-корреспондента и действительного члена академии или академика. В отраслевых академиях (Академия сельскохозяйственных наук, Академия медицинских наук и т. д.) устанавливается звание члена-корреспондента и действительного члена. В научно-исследовательских институтах применяется звание научного сотрудника (младшего и старшего). В последующие годы никакой новой реформы в этом отношении не производили, но после войны резко подняли оплату труда ученых и преподавателей высшей школы и усиленно практиковали награждение званием лауреата Сталинской премии, с крупными денежными премиями (от 25 тысяч до 200 тысяч рублей).

По высоте оплаты труда академические работники стали на первом месте в стране. При средней ежемесячной оплате рабочих и служащих 700-800 рублей, при зарплате администрации крупных предприятий, как, например, директора Магнитогорского металлургического комбината или директора Уралмаша в 5-6.000 рублей в месяц (персональная ставка, без премиальных), лица с кандидатской степенью получали 2500—3000 руб. в месяц, доктора наук — 6000 рублей. Академики за звание получали 15.000 рублей, не считая оплаты за должность, которая составляла для директора научного института еще 12.000 рублей в месяц. Ведущие академики, руководители институтов и одновременно заведующие кафедрами в высших учебных заведениях, зарабатывали свыше 30.000 рублей в месяц, а президент АН СССР и вице-президенты 50.000 — 60.000 рублей. С учеными СССР, по размерам заработков, могли соперничать только некоторые писатели, чьи произведения неоднократно переиздавались, как Эренбург, Ажаев, Шолохов или удачливые драматурги, чьи пьесы пользовались успехом (Корнейчук), а также переводчики пьес иностранных авторов, которые долго не сходили со сцены советских театров.

Ведущие научные работники также щедро награждались орденами, медалями и званиями героя социалистического труда.

Улучшение социального положения научных деятелей сопровождается облегчением условий для образования и ученой деятельности детей интеллигенции. С 1937 г. социальное происхождение родителей перестало быть препятствием для занятия научной работой. В аспирантуру, наряду с принудительным подбором партийно-комсомольских контингентов, отбираются действительно одаренные юноши и девушки, независимо от социального положения родителей и их прошлого.

В 1938 году созывается первое Всесоюзное совещание работников высшей школы. Доклад от имени правительства делал Молотов, который длинными ссылками на ленинские слова задним числом оправдывал политику репрессий в прошлом. Со специальной речью выступил и Сталин. Характерно, что, говоря о науке, Сталин употреблял термин «передовая наука» и ни разу не упомянул ни о «пролетарской», ни о «буржуазной» науке. Больше всего места в речи было уделено призыву к научному и техническому риску. Сталин дал понять слушателям, что прошло время, когда во всем видели «вредительский акт», что настал период смелого и решительного экспериментирования.

«За процветание науки, той науки, люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки,

все же не хотят быть рабами этих традиций, которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создать новые традиции, новые нормы, новые установки.

Наука знает в своем развитии немало мужественных людей, которые умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки всему» (Речь т. Сталина на приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 г.; «Правда», 19. 5. 1938).

Война, наряду с искусственно вызванным советским шовинизмом, родила искренний русский наднациональный патриотизм. Начало стираться принудительное расчленение науки на русскую, досоветскую и советскую, не связанную с ней. Появился интерес к истории русской науки, к ее достижениям, к старым ученым. Публикуются многочисленные труды, доказывающие плодотворную ученую деятельность людей русской науки, высокий уровень развития научного знания в стране.

Теперь наша молодежь могла сама убедиться на исторических фактах, что советская наука не развивалась в нетях, не была безродной, а лишь стала восприемницей того богатого наследства, которое оставила ей русская наука в трудах, в сложившихся научных школах и в живых ее представителях. Многие учители современного поколения ученых были не только советскими, но, в первую очередь, русскими учеными, носителями живых и плодотворных традиций русской научной мысли, представителями объективного знания.

Расширение связей с внешним миром, неизбежное в атомный век, налаживание долго бывших под запретом контактов с иностранными коллегами, показали обеим сторонам, что никакой специфической советской науки нет, когда дело идет о положительном познании; что есть русская традиционная наука, неразрывная часть науки мировой. Там же, где проявляется специфическая советская форма идеологического учения, там уже дело идет не о науке, а о волюнтаристических измышлениях, о псевдонаучных спекуляциях коммунистического ученого полусвета.

В тех областях знания, где господствует партийная идеология, такое же неблагополучное положение, как и в советской литературе.

Несомненно, что достижения технических и теоретических наук в СССР значительны и что среди ученых имеется неизмеримо больше крупных величин, чем выступающих на литературном поприще писателей. Нельзя отрицать справедливости слов К. Федина, сказанных им на отчетно-выборном собрании московских писателей, которые могут служить послесловием к нашей статье, а именно:

«Но если бы можно было применить некий общий коэффициэнт для соизмерения успехов советской литературы, например, с успехами советской науки, то мы вынуждены были признать, что сейчас ученые оставили далеко позади себя наших писателей» («Литературная газета», 4 января 1958 года).

Р. Плетнев

Закат Европы

«О грустно, грустно мне.
Ложится тьма густая
На дальнем Западе — стране святых
чудес...
Проснися, дремлющий Восток!»
1834 г. А. С. Хомяков

1

Н. ДАНИЛЕВСКИЙ И О. ШПЕНГЛЕР

Мы живем в судьбоносное время, когда особенно остро стоят проблемы жизни, «создается история», и в конвульсиях боли, слез и крови мир рождает новую эпоху. Теперь особенно интересно рассмотреть взгляды двух ученых на всю историю человечества. Пред нами два опыта «теории всеобщей истории»*). Оба автора — естественники: Н. Я. Данилевский — ихтиолог и ботаник; О. Шпенглер — математик, физик и биолог. Но оба они, конечно, философы истории. Н. Данилевский умер в 1885 г., О. Шпенглер — в 1936 г. Первый известен узкому кругу специалистов, другого знала, хотя бы по имени, широкая публика. Первенство, если не глубина, то новизна идей, принадлежит русскому.

В чем же особенность, «новизна взглядов» на историю у этих мыслителей, а, прежде всего, у Данилевского? В школах историю, обычно, представляют так: Древний мир, Средние века, Новая история. По сути всё сводилось преимущественно к истории Греции и Рима, а затем Европы. Считается доказанным некоторый непрестанный прогресс, развитие некоего «Всеобщего Разума», эволюция общей всем цивилизации. Против такого взгляда, со всей силой убежденности, восстал Н. Данилевский. Его книга «Россия и Европа» вышла первым изданием в 1872 г. Это — сравнительное исследование, разбирающее культурно-политические взаимоотношения славянского мира с германо-романским. С самого начала Н. Данилевский проводит мысль, что Европа не только для нас (русских) нечто чуждое, но и враждебное; ее интересы — не только не наши интересы, а наоборот, в большей части совершенно противоположны русским и славянским интересам.

Европа «элементарно враждебна» по отношению к нам. Равновесие политических сил в Европе вредно и гибельно для России, а всякое его нарушение благотворно и полезно, подчеркивает Данилевский.

*) Слова Н. Н. Страхова о труде Данилевского.

Цель России — славянская федерация во главе с Россией. Царьград — будущая ее столица. Греки, румыны и мадьяры volens nolens входят в эту коалицию. Единственно-де возможный союзник в Европе — это Пруссия. Польшу необходимо, по Данилевскому, устранить из Европы, так как она-де предала славянский свой характер — «изменила ему» и славянскому типу вообще. Над всем, над свободой, наукой и религией должна стоять идея «Русско-славянского». — Почему же? Откуда родились эти мессианистические идеи у Данилевского?

Произошли они на основании нового взгляда на судьбу каждого народа и на сущность каждой национальной культуры. Данилевский находит в истории особые группы народов; эти группы представляют собою «культурно-исторические типы», и каждая или каждый тип сам для себя разрабатывает по-своему основы цивилизации.

Таких культурно-исторических типов-групп было в истории десять: Египет, Китай, Индия, Евреи... Последним — одиннадцатым типом культурной истории является тип Славянский (Русские и другие славяне). Каждая цивилизация, по Н. Данилевскому, живет определенное время, а именно пять-шесть столетий. Потом сама по себе угасает, омертвевает, окостеневает и умирает. Египет, Греция, Рим, Индия — все имели свою древнюю, среднюю и новую историю. Время проходит. Народы сходят со сцены, становятся этнографическим материалом, навозом истории. Неразумно говорить о каком-то бесконечном прогрессе. Зоолог знает, что существует старение, слабость и вымирание целых родов и видов животных. Так и в истории: народы рождаются, «достигают различных ступеней развития, стареют, слабеют и умирают». За две тысячи лет, и более, люди не сделались мудрее. Кант не больше, чем Платон или Аристотель. Нет бесконечного развития! Каждая культура создает свою внутренне замкнутую и завершенную, извне закрытую «систему наук». Из других культур принимается лишь то, что соответствует новой группировке. И само знание так напроможда ется из-за специализации, что истинная культура исчезает и ее заменяет техника. Европа создала «аналитически-точные науки», но она не есть человечество. Нет человечества! Как понятие рода, оно есть абстракция. Нация же есть историческая реальность, ибо она — вид. Европа выдыхается. Только России принадлежит будущее на всех полях деятельности, и единственно в ней создается новый синтез — высший, «последний исторический тип».

Таковы взгляды Н. Данилевского на будущее и на роль в нем славянства.

Учение, вытекающее из двухтомного труда О. Шпенглера («Закат Европы») очень сходно со взглядами Н. Я. Данилевского, хотя автор и отрицал свое знакомство с трудом русского ученого и ни разу его не цитирует.

Труд Шпенглера значительно обширней книги Данилевского и ближе к нам по времени. Второй том «Der Untergang des Abendlandes» вышел в 1922 г. Это составляет свыше 1100 страниц — дело всей жизни ученого. В своем изложении Шпенглера я выпущу его теорию сознания и сознавания, учение о Судьбе, Случае и Времени; опущу всё, касающееся истории происхождения языка, религий и прочее. Я приведу весьма сжато лишь его объяснение причин гибели Запада и необходимость прихода новой Русской Культуры.

В предисловии автор говорит, что «его книга содержит «философию Судьбы», а «понять мир — значит быть с ним наравне». Необходимо уразуметь, что явление фактов истории обозначает. Изучение сходных форм всех культурных областей в истории дает ключ к разумению. Существует некое сходство между дифференциальным исчислением и формами государственно-династического принципа Людовика XIV; равно и между формами государственности в Греции и Эвк-

лидовой геометрией; есть нечто общее в пространственной перспективе западноевропейской живописи и подчинении себе пространства железными дорогами и дальнобойным оружием; общее есть между печатью и порохом. Почему индийский человек почти «всё забывал», а египтянин — ничего, бывши прирожденным историком? Почему с приходом античных народов (исключая римлян) совершенно исчезает сеть дорог и система орошения? Греческая же физика, как статика по преимуществу, не знает употребления часов. Почему словно некий инстинкт говорит русским, что Европа — враг «матушки России»? Ответ, по Шпенглеру, один: это все объясняется существованием разных замкнутых в себе культур. Есть разные пластики, живописи, физики и математики. Каждая культура является растением, свойственным своей особой почве, и имеет свое возрастание, цветение и свой плод. В истории существуют циклы развития. Схема «древний, средний и новый век» бесплодна для историка. Египет, Китай, Вавилон или Индия во многом превосходят Античный мир.

Смешно искать некий всеобщий смысл в истории Человечества. По Канту, «история — развитие понятия Свободы»; по Гердеру, «история есть воспитание человеческого рода»; по Гегелю, история — «развитие, саморазвитие Мирового Духа». А между тем, человечество не имеет идеи, говорит Шпенглер, так же, как ее не имеет род бабочек. Человечество — это или понятие из области зоологии, или пустое слово*).

Шпенглер определяет состояние западноевропейской культуры, преимущественно, с 1800 по 2000 год, т. е. делает прогноз. Он стремится указать переломный момент, тот отрезок времени, когда культура превращается в механистическую цивилизацию, пытается открыть *нечто* необходимо присущее комплексу форм всякой культуры в ее социальных, политических и художественных проявлениях. Вот несколько параллелей из двух разных культур, циклы повторений: Троянская война — Крестовые походы, Гомер — Нибелунги, дорический стиль — готика, Афины — Париж, Аристотель — Кант и т. д. Даже совершенно сходные слова — понятия, как Республика, Свобода, Собственность, имеют иное содержание «без внутреннего сродства» во всех культурах. Гибель, «Закат Европы» есть окончание цикла, переход данной Культуры в Цивилизацию. Каждая культура необходимо имеет последний «искусственный период цивилизации», который всегда заканчивается в руках сильных суровых людей империализма. Перед кончиной живой души в каждой культуре наступает «особое духовное расположение». Так в Индии около 500 г. до Р. Х. развивается буддизм, в Греции около 200 г. до Р. Х. — стоицизм, у арабов около 1000 года по Р. Х. — практический фатализм, в Европе приблизительно с 1900 г. — этический социализм. Это «одновременные», в переносном смысле, явления. Каждая культура живет около 1000 лет. В Европе приблизительно с 1900 г. наступает период цивилизации. Под кров одной и той же культуры часто собираются разные народы: к арабской культуре, в ее художественном проявлении, относятся и создания византийско-армянско-мавританские. Если хотите, «одновременно» строятся Александрия, Багдад и Вашингтон.

Что на Западе эпоха Наполеона I (около 1800 г.), то в Китае было в 480—230 гг. до Р.Х. «Время борьбы держав». В Египте этому отвечает 1680—1580 гг. до Р.Х.**)

---

*) Шпенглер и Данилевский здесь насилуют логику и множество фактов, противных их мнению.

**) Не укладывающиеся в его схему «побочные явления» истории, более чем 3000-летней культуры, Шпенглер сознательно опускает.

и т. д. И в Европе, в конце концов, диктатура неминуемо должна победить демократию, «цезаризм восторжествует над деньгами-капиталом». А потом? Потом европейские нации распадутся на аморфные массы, которые сольются в Империю. Это окончательно завершится около 2200 года, когда на Запад проникнут «новые, свежие народы». При начале всякой цивилизации рождаются великие города, и в этих-то трех-четырех мировых городах и решается история, ибо они «всосали ее в себя». В этих городах, вместо народа, возникает бесформенная нерелигиозная интеллигентная текучая масса, а ей нужны борьба за зарплату и зрелища — цирк или стадион нового нашего цикла цивилизации. Слова Сесиля Родса «распространение — это всё» относятся к каждой цивилизации: они руководили римлянами и арабами, как китайцами и немцами. Наступает экспансия-Судьба, нечто бесформенно демоническое. «Как бы сегодняшний социализм, писал Шпенглер в 1921 г., ни возмущался против экспансии-завоевания, в один прекрасный день, волей жестокой Судьбы, он же сделается ее носителем». И китайцы, подобно нам, еще в V столетии мечтали о союзе мира, «союзе народов» — Хохцунг. Ну а кончили борьбой «до истребления государств».

Таковы взгляды Шпенглера. Посмотрим, как он их доказывает и что обещает России. В своем труде Шпенглер употребляет дескрипционный, описательный метод, основанный на интуиции созерцания, пользуется преимущественно сравнением явлений, форм, картин и символов*). Он — творец *морфологии истории* и жизни, т. е. всего, что в себе несет Направление и Судьбу. Иными словами, Шпенглер это — физиогномика истории. «Культуры суть организмы. История — это общее описание. По форме точная ей параллель существует в малой истории человека, животного, дерева или цветка. Расцветет ли культура, исполняется ли ее цель — получается плод, и внезапно культура обмирает, кровь ослабевает, силы слабеют, и она превращается в цивилизацию. Это мы чувствуем в таких словах как «византинизм», «мандаринство» и т. д.

Но и замершая культура, «подобная огромному, уже гнилому, дереву в лесу, может еще столетиями поднимать вверх свои сухие ветви» и глушить или вызывать «псевдоморфозу» у живых форм новой культуры. «Через несколько кратких веков не станет западной культуры; исчезнут немцы, англичане, французы, как в эпоху Юстиниана уже исчезли римляне». Они будут еще жить, будут, может быть, поколения, но «потеряется внутренний облик народа». И угаснет душа Запада, фаустовская душа стремления, как умерла китайская, греческая, магическо-арабская душа Культуры. «Угаснет истинное искусство, ибо оно — язык, выражающий сущность каждой культуры». Западную культуру Шпенглер называет Фаустовской, и ее сущность есть стремление в бесконечность. Особенность ее каждой формы есть ее восхождение ввысь, туда, куда обычный смертный не проникнет. Так создается искусство для эстето-художников, математика для математиков высшего ранга, политика для избранных политиков и т. п. И в политике у Запада все целеустремлено, а цель — Мощь. И тут-де сходятся и Лютер и Папы, Ницше и дарвинисты, социалисты и иезуиты. Нетерпимость — последствие этой особенности нашей культуры Запада. Но пока Культура жива, в ней религиозны каждый стих, каждая колонна, каждая идея: «Сущность всякой Культуры — религия... существо всякой Цивилизации — нерелигиозность». В цивилизации гаснут тогда и великие системы философской мысли, выветривается искусство, а «*пекутся о массах*». Это делала *риторика* в Антике, *проповедь* в Индии, а в Европе — журналистика. Это она требует, чтоб крестьянин обладал тем

*) Огромное влияние на него Гёте Шпенглер подчеркивает и признает.

же взглядом на мир, что и горожанин! В момент особой концентрации сил в городах, выступает раса. «Раса-нация, как Судьба и Время, она нечто решающее, нечто, что люди чувствуют, но определить разумом не могут. Кровь, язык, вера, государство — что решает в формировании народа? — Чувство!.. Народ — это союз людей, которые чувствуют себя единым целым». В истории же «народы вырастают изнутри до величия лишь за счет других народов». История культур знает сословия, культура же имеет сословный характер. Время Цивилизации знает лишь «четвертое сословие» — массу. Не сословие «почитает число», оно аристократично, но масса, а она есть продукт цивилизации.

Массе же нужен не вождь, а диктатор. «Наступает время (писал Шпенглер в 1922 г.) неограниченных возможностей для индивидуума, жаждущего власти. Он делается Судьбой целых наций и цивилизаций». (Сравните Кемаля, Гитлера, Сталина, Франко, Перона и т. д.) «И войны все более превращаются в войны истребления, где цель — не мир, а полное порабощение или истребление». «Жизнь теперь сурова и жестока». Чего же ожидать? «Теперь приходят времена самые тяжелые, о которых знает история доразвившейся Культуры... Последняя раса в силе, последний вождь пройдут через финиш как победители». Исчезает и реакционный и демократический идеализм; вместо *органически живого* — цивилизации, на сцену выходит *механически организованное*. Уже и «партия кое-где превращается в свиту личности». «Сословие имеет инстинкты, партия — программу, а свита — владыку». И «абстрактные идеалы, идеи уже не опровергаются серьезно, ибо они сделались скучны». Нам скучен Руссо и вскоре опротивеет Маркс. И сами большевики-коммунисты ничего нового и культурно-значимого создать не могут. Они тщатся, но всуе. Они могут со временем создать через партию лишь «свою новую аристократию».

Но откуда же придет Новое? Шпенглер, как и Данилевский, говорит ясно: из России. Два представителя русской культуры символизируют для Шпенглера Россию: Толстой и Достоевский. Толстой — это прошлая Россия, а Достоевский — будущая. Толстой ненавидит Европу, в себе он ненавидит ее и себя. Он делается «отцом большевизма». Апокалиптическая душа Достоевского — душа Вселюбви, душа отчаяния и страсти, но и веры. Эта душа уверена в будущем. Она созерцает «святую Русь Будущего». Если Толстой — революционер, то Достоевский — святой. Толстой — «наследник Петра I». От него «проистекает и большевизм». «Последняя последовательность петронизма есть крайнее унижение того, что метафизично, тем, что социально». «Христианству же Достоевского принадлежит следующее тысячелетие». Россия из глубин своих теперь, сейчас, создает как бы третью форму Христианства, «пока еще и без священников». Это тысячелетие впереди, «тысячелетие русской Культуры».

Какая сила заставляет так говорить иноземца, так мыслить, так чувствовать? Конечно, Шпенглера можно критиковать. Можно спросить его: Александр Македонский не строил ли пути-дороги, каналы и города? А был человеком эллинской культуры.

Не родилась ли новая культура, а не цивилизация только, в Соединенных Штатах? Если верно, что мертвая культура не создает великих систем мысли, эпохальных открытий, то какой культуре принадлежал гений А. Эйнштейна? Если еврейской, — она же «давно мертва», если германской, то, по Шпенглеру, и она уже «окостенела». Но не в критике дело, а в разборе и оценке. На великие здания надо глядеть с известного расстояния; на философа — через время. Время покажет, что останется от учения Шпенглера. Но кто изучал его творения,

тому слабые перепевы его, вроде Ортеги-и-Гассета («Восстание масс»), кажутся скучными и пресными.

Сила писательского искусства О. Шпенглера поразительна. Лишь немногие страницы лучших творений Ницше напоминают сжатую до предела и совершенную по отточенности фразу Шпенглера. Исследование же проблемы Времени и Судьбы превосходит всё, до него написанное на эту тему.

Двадцать лет протекло с его смерти, и сколько уже сбылось и сбывается из того, что он предрек и провидел!

2

АНАЛИЗ ПРОРОЧЕСТВ

К вопросу о грядущем тысячелетии русской культуры и торжества новой Империи Духа отношу и рассмотрение трех видов пророчеств о трех возможных путях России и славянства как целого. Очень приблизительно все «пророчества» можно разбить на три категории: 1) необходимо-биологические, 2) этническо-моральные и 3) провиденциально-конфессиональные. По первым, Россия молода, она расцветает, другие народы «гаснут»; по вторым, мы — этнический материал, где христианство выражалось и выразится вполне; по третьим, Воля Провидения избрала русский народ и через все муки проведет его к Царству Духа. Когда Данилевский говорит об II-ом, последнем типе культуры России, он — биолог-пророк. Когда Тютчев видит в русском народе воплощение Христова смирения и победы кротких, он — этнико-моралист. Так и Гоголь сказал, что на данных, «заключенных в сердцах наших», на том, «что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово», что «есть много в коренной природе нашей... близкого закону Христа... есть уже начало братства Христова *в самой нашей славянской природе,* и побратание людей было у нас роднее и кровного братства»... и т. д.

О третьих пророчествах говорить много не приходится. — Такова-де Воля Божия, открытая Им. Однако есть и другие провидения, или вариации этих трех типов пророчествования, и о них следует сказать несколько слов: река русской истории течет, и ей впереди уготованы три рукава. Первый — духовная победа, очищение сердец, восстановление религиозной культуры. Второй — содействие силам Зла, Дьявола — победа мирового коммунизма и... гибель России и ее народов под захлестнувшей ее волной монголов и азиатов: «...И желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен». Третий — победа Зла русскими руками; война всех против всех — гибель почти всего в злой стихии огня. Не малые люди говорили так. Ну, хотя бы профессора Петражицкий и Джая. Каждый по-своему, но суть одна — апокалиптическая. Говорили это люди в 1920 году, когда об атомных и водородных бомбах еще не слышно было. Есть и печатно и письменно зафиксированные пророчества этого рода. Они не основываются на апокалиптических видениях, но *совпадают* с ними. Есть пророчества, утверждающие известную свободу «капель» — «молекул воды» русской истории. Провидение, Судьба, Бог приуготовили три рукава в устье русской исторической реки, но общее движение вперед, к морю, не лишает возможности свободы выбора предначертанных трех рукавов. Куда бросится главный поток, по какому руслу потечет в судьбоносный час исторически данной свободы последнего выбора? А. В. Карташев верит («Воссоздание Святой Руси»), что по первому. Но каждый причастный к рус-

скому народу, каждый русский должен знать о мыслях, вере и знании пророков наших дней, дней Судьбы.

Половодье, разлив... Все захлестывают миллионные массы... «Восстание масс» — половодье мировой истории — перед нашими глазами! Набухают, растут реки; великие исторические Потоки движутся к морю. С высоких гор религии, философии, биологии и истории видно уже, видно море...

Куда потечет основная масса воды русской истории? Это решает всё.

Проф. Н. Арсеньев

А. С. Хомяков

(1804—1860)

ЛИЧНОСТЬ И МИРОСОЗЕРЦАНИЕ

1

А. С. Хомяков и для своих современников, и для нас — великий воспитатель в любви к своему народу и еще больший, может быть, воспитатель в любви к Истине. Обе эти любви у него находятся в полной гармонии, любовь к своему народу — страстная и горячая — подчиняется любви к Божественной Истине, но отнюдь не отменяется ею, а получает от нее всю свою силу, свое напряжение и свое вдохновение. Это делает Хомякова таким близким для нас и теперь, или даже особенно теперь, когда особенно нужен подход к жизни горячий и любвеобильный, горящий вместе с тем и пламенем негодования против неправды и зла, и активной жалостью к нашему порабощенному народу, но вдохновленный при этом с в ы ш е — из Высшего Источника.

2

Хомяков — мужественный мыслитель. Всей жизнью своей он мужественный и трезвенный слуга Истины. И. С. Аксаков говорит о Хомякове как о представителе «мужественного разума и мужественной веры». Эта духовная мужественность и трезвенность — основные черты облика Хомякова[1]). И еще — вера и трепетное сознание служения, посвящения себя Высшему на делание дела Божия. «Верую Церкви» (из письма к И. С. Аксакову; Полн. собр. сочин. т. 8, стр. 342), — в этих словах наметил Хомяков внутренний пафос своей жизни и своего мышления, ту основную стихию, из которой развивается вся его духовная жизнь.

Жизнь помышляется им как служение Истине. Эта жизнь служения и свидетельство об Истине — для него одно. Свидетельство о Церкви возможно только как жизнь в Церкви, только из жизни в Церкви. Нет познания Истины без подвига духовного, нет только теоретического, только внешне-доктринального знания Истины Божией. «Истинно мы знаем только то, в чем мы живем и чем мы

---

[1]) Характерны его слова, обращенные к России:

«О, Русь моя! как муж разумный,
Сурово совесть допросив» . . .

Он хвалит в письме к другу «воздержанность тона при мужестве поступка: она свидетельствует о мужестве не страстном и порывном, но тихом и упорном, т. е. о том, которое всегда нам нужно, а теперь более чем когда-нибудь» . . . (Полн. собр. соч., т. 8, стр. 209).

живем» (из письма к Ю. Ф. Самарину; т. 8, стр. 231). Кто знает Истину только устами и головой, не знает ее совсем и говорит о ней, как чужой о чужом. Подлинное знание об Истине возможно только в Духе Святом, Который есть Дух Истины; только через приобщение к жизни Духа Святого, лишь через духовный рост в Духе, лишь в духовном единении с Церковью, как организмом, напоенным Духом Святым. Лишь изнутри, лишь из силы Духа, которая творит из нас нового человека, — в Теле Христовом, в котором мы все растем «возрастом Божиим». Отсюда — смирение и трепет, с которым мы призваны делать дело Божие.

Хомяков проповедовал не только словом и писаниями, но и жизнью, напряжением жизни. Поэтому особенно ярким комментарием к его богословским трактатам и его статьям могут послужить некоторые интимные места из замечательной переписки его с его друзьями, рисующей нам Хомякова в повседневной жизни. Мы видим по этим письмам, — чрезвычайно богатым содержанием и при этом чрезвычайно естественным, непринужденным, остроумным и часто веселым по тону, — как эта его повседневная жизнь, полная семейной радости и семейных устоев, тихого, энергичного труда — философского, научного, деревенского, полная радения о ближних (ср. заботы о крестьянах; т. 8, стр. 82, 91, 120, 122, 137, 139, 168, 186, 197, 204, 214), любви и боления и радения о своем народе, богатая и интересами чисто практического характера, распространяющимися на самые различные области жизни и труда[2]), а вместе с тем богатая блеском ума и добродушным остроумием, веселым юмором («веселонравие!» — вот что, напр., является решающим при выборе гувернантки для детей — т. 8, стр. 78), как эта жизнь протекает на фоне основного сознания: стояния перед Истиной, трепетно и смиренно.

Это налагает великую ответственность. Письма Хомякова, как и его трактаты, полны духовной энергии, толкающей, трезвящей, будящей силы. Они полны духовного динамизма, но они до глубины трезвенны, в них нет истерики, которой так много в мнимо-профетических произведениях некоторых позднейших представителей русского религиозно-философского писательства. Письма Хомякова стараются пробудить и усилить чувство ответственности духовной, чувство служения в себе и других. «*Всякий стоит на высшей службе*» (из письма к Ю. Ф. Самарину — т. 8, стр. 274).

Хомяков призывает к труду, к самоанализу, к энергии и бодрости духовной, к свободе духа, к мужественной пытливости свободного человека, к честности мысли. Он не боится за Божию истину. Ей не страшна свободная смелость и мужественность мысли. Но эта мысль не только искренняя и мужественна, но и благоговейна и... смиренна. Она останавливается перед безмерным величием Божиим, она не разлагает тайны Божией на силлогизмы. Ибо Хомяков знает и не устает напоминать и свидетельствовать, что «тайник жизни и ее внутренние источники недоступны для науки и принадлежат только любви» (из письма к Ю. Ф. Самарину — т. 8, стр. 229).

Хомяков верит в воспитательное и закаляющее значение труда, особенно тру-

---

[2]) Хомяков интересуется машиностроительством и сельскохозяйственными совершенствованиями, сам придумывает и строит новую паровую молотилку, изобретает ружье нового типа, организует вывоз хлеба в Англию, производит опыты по земледелию, придумывает меры борьбы с пожарами и способы наладить крепкий санный путь, изучает подробно сахароварение и т. д.; особенно же усиленно интересуется медициной, в частности, народной медициной, медициной первой помощи, особенно в связи с борьбой против холеры.

да во имя Божие. Поэтому так и полны его письма свидетельствами об этом труде — всяком труде: научном, мыслительском и богословском, педагогическом, техническом, и физическом также (любовь к деревне, к сельскому хозяйству, к охоте!), которым была так насыщена его недолгая и богатая внутренним содержанием жизнь[3]).

Поэтому он так и строг к себе, так пеняет на свою лень, так тяготится тем, что он называет «тихим сном» или «душеубийственной ленью», так радуется, когда работа идет усердно, упорно и плодотворно. Вот, например, как строго анализирует он свое состояние: «Жизнию своею доволен ли я? Нет; но кажется, что я не совсем так плох и слаб, как был и боялся снова сделаться; но все еще ленив, ленив, и напряжение тяжело. Другое дело у меня хорошо ладится: это уничтожение барщины» (т. 8, стр. 271). Из этого своего собственного духовного опыта, пишет он, например, своему младшему другу-ученику Ю. Ф. Самарину: «Весело мне видеть, как вы остаетесь верным умственному труду и его строгим требованиям»... (т. 8, стр. 243). Хомяков вообще сторонник упорства, органичности, постепенности, постоянства и напряженности в труде и в духовной жизни. От нас требуется, чтобы мы оказались верными — верными работниками, жатва же в руках Божиих. Эта мысль Павла-миссионера является постоянным вдохновением для Хомякова. В незаметности, упорности и верности[4]) совершается подвиг дела Божия; блажен, кто призван к участию в нем! Пусть современники, пусть окружающий мир не признают нашего дела, — оно совершается для будущей жатвы Господней, оно не пропадает даром. «*Мы же должны знать, что никто из нас не доживает до жатвы и что наш духовный и монашеский труд пашни, посева и полотья есть дело не только русское, но и всемирное. Эта мысль одна только может дать силу и постоянство*» (из письма к Ю. Ф. Самарину, начало 1845 г., — т. 8, стр. 241). Поэтому «*не жалейте о подвиге мыслителей, как будто пропавшем даром... Семена, посеянные давным-давно, должны дать плод, и не даром пропадает труд того, кто приближает время спелости*»[5]) (15 сент. 1843 г.—т. 8, стр. 231). «*Те, которые посвятили себя великому всемирному труду христианского воспитания (а вне этого труда мы и значения никакого не имеем), — те прежде всего должны быть терпеливы*» (1 марта 1849 г., т. 8, стр. 266; ср. т. 8, стр. 287).

Терпение в исполнении дела, возложенного Богом!

«Взгляни на ниву: пашни много,
А дня не много впереди, —
Вставай же, раб ленивый Бога,
Господь велит: иди, иди.
Ты куплен дорогой ценою:
Крестом и кровью куплен ты.
Сгибайся ж, пахарь, над браздою!
Борись, борец, до поздней тьмы! —

[3]) Мы знаем также и об его молитвенном подвиге, но не из его писем, а из случайных посторонних свидетельств: Хомяков был целомудренно сдержан относительно всего, что касалось глубокой его личной жизни.

[4]) Ср. «Чувствуется потребность идти вперед неослабно» — т. 8, стр. 272.

[5]) Курсив мой. — Н. А.

Пред словом грозного признанья
Склоняюсь трепетным челом,
А Ты безумного роптанья
Не помяни в суде Твоем!
Иду свершать, в труде и поте,
Удел, назначенный Тобой,
И не сомкну очей в дремоте,
И не ослабну пред борьбой.
Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего».

Так читаем в его знаменитом, особенно интимном, особенно автобиографическом духовно и вместе с тем особенно принципиальном и показательном стихотворении «Труженик» (1858 г.).

А в другом знаменитом стихотворении — по поводу картины Иванова (того же 1858 года) — читаем о незаметном прорастании семян Истины:

«Счастлива мысль, которой не светила
Людской молвы приветная весна, —
Безвременно рядиться не спешила
В листы и цвет ее младая сила,
Но корнем вглубь врывалася она.
И ранними и поздними дождями
Вспоенная, внезапно к небесам
Она взойдет, как ночь темна ветвями;
Как ночь в звездах, осыпана цветами:
Краса земли и будущим векам!»

Поэтому *«сейте где можно и сколько можно; где взойдет, того никто не возьмется сказать»* (из письма Ю. Ф. Самарину, 1855 год, т. 8, стр. 275).

Хомякову предносится великая духовная работа всемирного масштаба. Это — работа в Церкви, через Церковь — работа духовного оплодотворения жизни и мира.

«Нужна новая жизнь, новая наука, нужен новый нравственный переворот, нужна любовь, нужно смирение гордого и ничтожного знания, которое выдает себя за просвещение и само верит своему хвастовству» (т. 8, стр. 72).

В нем живет сознание непосредственной актуальности спасения: «Се ныне время благоприятное, се ныне день спасения». Он — свидетель Истины. Ибо Истина требует свидетельства, Истина требует проповеди, Истина по природе своей требует экспансии, ибо она животворяща, она требует служения и зовет служителей. Безразлично, с этой точки зрения, время «внешнее» глухо ли или благоприятно. Поэтому Хомяков может сказать, что «время политики миновало» (т. 8, стр. 258); хотя он со страстным вниманием и религиозно просветленной любовью и чуткостью следит за всеми фазами жизни своего народа — внутренними и внешними — и за жизнью других народов также. Ибо действие Истины — во времени, но не зависит от времени и политики. Оно органично, касается самых кор-

ней, самых основ жизни. Поэтому Хомяков решается даже сказать: «*Только медленно и едва заметно творящееся полезно и жизненно; все быстрое идет к болезням*» (т. 8, стр. 286). Конечно, с такой формулировкой (опять в одном из писем Хомякова к Самарину) можно спорить, но тенденция ясна: органичное, коренное, глубинное важнее шумихи внешних явлений. Борьба, к которой мы призваны, «не только вековая, но и вечная» — за правду Божию (т. 8, стр. 286). Истинная борьба есть духовная борьба (т. 8, стр. 205). Все наши выводы должны слиться «*в один общий вывод освобожденной жизни*», духовно освобожденной (т. 8, стр. 234).

Но Хомяков не отвергает истории, не думает отвергать истории. Более того, он любит следить за развитием хода истории, отдельных нитей ее и доискиваться смысла их, он ощущает движущуюся в ней энергию, он хочет учиться у истории и других призывает учиться у нее (ср. юмористический рецепт, который он предписывает Ю. Ф. Самарину в письме от 3 окт. 1858 г., т. 8, стр. 284). Раз вся история есть поле свидетельства Истины, осуществление — хотя и скрытых — планов Божиих во взаимодействии с человеческой свободой и через человеческую свободу, раз она есть время и поле для роста Тела Христова, то понятно, что в ней чуются веяния судеб Божиих, слышатся шаги Божии.

«И века прошли чредою,
И Давида Сын, с тех пор,
Тайно правит их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цепь любовной тишины,
Мир живит как дуновенье
Наступающей Весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца» . . .
(1858 г.)

Для Хомякова история согревается и просветляется как время и место животворно-творческого воздействия Вечной Истины, т. е. Воплощенного Слова.

В истории совершается рост Тела Христова, совершается свидетельство, бросаются семена свидетельства. Есть моменты особенно плодотворные — для миссионерства, для бросания семян, для обращения, для покаяния. «Православие на мировом череду» (письмо от 17 марта 1848 г. к А. Н. Попову, т. 8, стр. 169).

Поэтому Хомяков, исходя из Вечной Правды, из вечной не прекращающейся борьбы, которая есть борьба прежде всего внутренняя, духовная, так глубоко и остро актуален, так близок к жизни своего народа. Вечная Правда, сама явившаяся во времени, проповедует покаяние во времени, целит во времени, восстановляет и вновь творит духовно во времени. «Се ныне время благоприятное, се ныне день спасения!» Пора нам опомниться, отложить «самохваление» («Самохваление, противное Богу и чуждое народному духу» — т. 8, стр. 210) и «умственный сон» (т. 8, стр. 219). «*Средства не затемнили бы нам цели, той тихой, строгой, исторической, можно сказать, святой цели, которая была нам ясна в тишине посланного нам испытания, не огневого, сгнетающего — ледяного . . . Страшно подумать, что надобно поворотить и откуда! Какой пропеть канон покаяния, какое нужно*

упорство воли, строгость занятий, жар любви» ... (из письма к Самарину, апрель, 1856 г.). Как сказано в знаменитом его стихотворении к России:

«С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной
Елеем плача исцели» ...

(1854 г.)

Ибо Божья правда не атрофирует любви. Божья правда возжигает безмерно отдающуюся любовь к ближнему, к своему народу, к людям, к миру. Безмерная любовь самоотдания, но в Боге просветленная любовь. Любовь, которая радеет о духовном достоинстве, о духовном лице любимого, о творении в нем новой жизни — из Истины. Ибо Хомяков верит во всепобеждающую, всеобъемлющую силу Истины, она же — Бог, Любовь Божия. Поэтому «и молитве, так сказать, нет пределов» (из письма к И. С. Аксакову — т. 8, стр. 349), она охватывает все стороны жизни.

Жизнь Хомякова и его пример в органическом единстве с его писаниями есть школа духовного благородства и трезвенного подвига. Этот смиренный и лично скромный человек невольно ощутил значение того дара, который был ему дан в его деле устной и письменной проповеди, когда писал в письме к одному из друзей: «*Вы не обвините меня в гордости, если скажу, что я хоть сколько-нибудь возвратил человеческому слову у нас слишком забываемое благородство*» (т. 8, стр. 305). Но про Хомякова, может быть, можем мы сказать и больше. Не к нему ли самому можем мы отчасти отнести содержание молитвы в одном из его стихотворений, «самом личном» из всех им написанных, по его собственному свидетельству?

«Как часто во мне пробуждалась
Душа от ленивого сна,
Просилася людям и братьям
Сказаться словами она.

Как часто, бессильем томимый,
С глубокой и тяжкой тоской
Молил Тебя дать им пророка
С горячей и крепкой душой!

Молил Тебя, в час полуночи,
Пророку дать силу речей,
Чтоб мир оглашал он далеко
Глаголами правды Твоей!
Молил Тебя с плачем и стоном
Во прахе простерт пред Тобой,
Дать миру и уши и сердце
Для слушанья речи святой!»

(1854 г.)

Что эти слова действительно могут быть отнесены отчасти к самому Хомякову, с этим согласится тот, кто знает его писания о Церкви, вытекшие из самых глубин церковной жизни, или, например, его вдохновенное «Послание к сербам». Его слова имеют неписательский тон: на них покоится *печать жизни Духа*.

3

Мы видели двигающую стихию мысли и жизни Хомякова. Остановимся теперь несколько внимательнее на основном содержании его духовного наследства — на тех темах, разработке и проповеди которых он посвятил свое творчество и свою жизнь.

Одна из его тем, уже слегка затронутая нами, особенно животрепещуща именно сегодня. Это — вопрос об отношении народа к Божественной, над-народной Правде. Хомяков — великий противник самопревозношения народного, ему претит, когда народ ставит самого себя во главу угла как некую самодовлеющую величину, как решающий конечный источник и нравственных оценок, и нравственного вдохновения. Для Хомякова это — величайшее кощунство, ослепление безумия, оскорбление святыни. Народ *призван*, все народы *призваны* — для служения Истине. Никто из них да не смеет ставить себя выше Призвавшего или отождествлять свою несовершенную, жалкую человеческую правду, а еще более свой жалкий и безумный человеческий эгоизм, свое жалкое человеческое самовосхваление и самопоклонение с высшей Божественной Правдой.

«Мы — род избранный», говорили
Сиона дети в старину:
«Нам Божьи громы осушили
Морей волнистых глубину.

Для нас Синай оделся в пламя,
Дрожала гор кремнистых грудь,
И дым и огнь, как Божье знамя,
В пустынях нам казали путь.

Нам камень лил воды потоки,
Дождили манну небеса;
Для нас закон, для нас пророки;
В нас Божьей силы чудеса!»

Не терпит Бог людской гордыни;
Не с теми Он, кто говорит:
«Мы соль земли, мы столб святыни,
Мы Божий меч, мы Божий щит!»

Не с теми Он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв и спит умом.

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя,

Живую душу пробудила
Во всех изгибах бытия.

Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиром не творил.

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам;
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, в Господень храм!»
(1851 г.)

Хомяков не выносит национального самодовольства и самохвальства. «Самодовольство и хвастливость (народные) унизительны», пишет он в своей статье «Мнение русского об иностранцах» (т. 1, стр. 44). «Самохваление, противное Богу и чуждое народному духу», пишет он в письме к А. Н. Попову (от 1 января 1854 года — т. 8, стр. 210). Известно его знаменитое стихотворение: «Гордись! тебе льстецы сказали», обращенное к России (1839 г.). Как отчеканенные, с какой полновластной силой звучат эти ответные слова поэта льстецам:

«... Не верь, не слушай, не гордись!
Пусть рек твоих глубоки воды,
Как волны синие морей,
И недра гор алмазов полны,
И хлебом пышен тук степей;

Пусть пред твоим державным блеском
Народы робко клонят взор,
И семь морей немолчным плеском
Тебе поют хвалебный хор;
Пусть далеко грозой кровавой
Твои перуны пронеслись:
Всей этой силой, этой славой,
Всем этим прахом не гордись!

Грозней тебя был Рим великий,
Царь семихолмного хребта,
Железных сил и воли дикой
Осуществленная мечта;
И нестерпим был огнь булата
В руках Алтайских дикарей;
И вся зарылась в груды злата
Царица западных морей.

И что же Рим? И где монголы?
И скрыв в груди предсмертный стон,
Кует бессильные крамолы,
Дрожа над бездной Альбион.

Бесплоден всякий дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка;
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука!..»

(1839 г.)

В наши дни, когда советская власть предприняла великий обман *подмены* патриотизма, чтобы привлечь к себе сердца русской молодежи (ибо коммунизм давно *внутренно* умер в советской России и царит только как внешне наложенное, ненавистное иго), так важно этому *звериному*, зоологическому псевдопатриотизму (в духе «Скифов» Блока), отрицающему всякие моральные основы, противопоставить истинную любовь к своему народу, то истинное патриотическое чувство, которому дорого *нравственное лицо* народа, его духовная и нравственная судьба наряду с его внешним благополучием и благосостоянием, а не только *голая* физическая мощь, лишенная всяких нравственных препон и всякого нравственного вдохновляющего начала. Соблазн поклонения Золотому Тельцу или преимущественному идеалу внешней физической мощи и внешнего благополучия и богатства встречается в истории многих народов, ни один народ в истории не был свободен от искушения поклониться идеалу силы или материальных благ больше, чем идеалу правды, и нередко подпадал под власть этого искушения, но никогда в истории этот соблазн не выступал в такой яркости и наготе, в такой *абсолютной и принципиальной аморальности*, являясь исповеданием и проповедью звериного начала, пафосом отрицания всяких божеских и нравственных начал, как в советской националистической пропаганде. Этому звериному вдохновению противополагается вдохновенный патриотизм Хомякова, религиозно и нравственно укорененный. Народ *не есть* последнее, самое высшее, самое святое, как бы он ни был дорог душе, в самых глубочайших фибрах своих связанной с родным народом. Народ должен признать высший, чем он сам, Источник силы и критерий Правды и *мужественно* служить ему и смиренно склониться перед ним. Народ должен осознать свои недочеты и погрешности перед лицом Высшей Правды и иметь мужество сам осудить себя за них и... нравственно возродиться, очиститься, укрепиться духовно. Хомяков ясно видит великие язвы на нравственном теле родного народа накануне Крымской войны. Многие современники Хомякова, вполне благомыслящие и порядочные, были даже смущены той силой морального возмущения и *скорби, вытекающей из горячей любви*, из самого горячего и настоящего патриотизма, которая нашла выражение в его знаменитых словах[7]):

«... Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов Он судит строго, —
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена:
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

[7]) Из стихотворения «России», написанного в марте 1854 года, через 15 лет после уже цитированного нами одноименного стихотворения.

О недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя волною покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной
Елеем плача исцели...»

Требуется строгое и неподкупное *самопознание* и *покаяние* народное и не эмоциональный только порыв, а строгая, мужественная работа самовоспитания и очищения духовного и творения правды. «Страшно подумать, что надобно поворотить и откуда. Какой пропеть канон покаяния, какое нужно упорство воли, строгость занятий, жар любви...» (из письма к Самарину, апрель, 1856 г.).

Но это — одна сторона его горячего патриотизма. Другая сторона: он считает, что без участия в народной жизни, в национальной культуре бледнеет и тускнеет человек, бледнеет и отмирает его культурно-творческая сила. Народ — не основоположный, решающий источник жизни, не Высшее, но он есть звено в нашем пути к Высшему, есть та среда, то место, которое нам назначено. Без народности культура не имеет своего лица. Общечеловеческое в культуре ищет народных форм, народной среды для своего выражения. Чем глубже и живее связан писатель или художник со своей народной почвой, тем ярче и сильнее может он быть выразителем общечеловеческого, выразителем тех высших ценностей, которые бесконечно выше народов и из которых живут и питаются и отдельные личности и народы.

Народ, народность и наша связанность с нашим народом, наша горячая любовь вот к этому конкретному, живому историческому лицу должны быть поэтому для нас *школою любви*. Ибо мы должны *возрастать в любви* и принять в наше сердце и другие народы, и все общечеловеческие и сверхчеловеческие ценности и святыни.

Истинный патриотизм есть поэтому великая и, по мнению Хомякова, *необходимая* и бесконечно ценная, не отбрасываемая потом, но остающаяся, пребывающая ступень в школе Любви. Но на этой ступени остановиться нельзя, ибо мы призваны к еще высшей цели, к еще высшему достоинству, к еще большей Любви.

4

Высшая, себя забывающая Любовь есть проявление Духа Любви, который есть Дух Божий и Дух Истины. Поэтому только охваченные силою этой Любви, **любви, данной нам свыше**, можем мы прийти к Богу, можем мы познать Бога, можем мы участвовать в божественной жизни, которая есть любовь. Мы подходим здесь к самому центру мировоззрения и проповеди Хомякова, к основному принципу его религиозного и жизненного вдохновения.

«Молюсь... чтобы вы, *укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми,* могли постигнуть, что есть широта и долгота, и глубина, и высота (Божии), и уразуметь всякое разумение превосходящую любовь Христову, дабы

вам исполниться всей полнотою Божией», так пишет апостол Павел в Послании к Ефесянам (гл. 3, ст. 18-19). Этими словами характеризуется и основа миросозерцания Хомякова, которое выросло из этого апостольского опыта, запечатленного в Послании к Ефесянам. Как постичь «широту и долготу, и глубину и высоту» Божии, как прийти к «уразумению всякое разумение превосходящей любви Христовой» и «исполниться всей полнотою Божией»? — Только если мы будем «укоренены и утверждены в любви, вместе со всеми святыми». Только утвержденные в любви друг к другу, только согретые силою любви, можем мы прийти к познанию тайн Божиих. Поэтому любовь есть *необходимая предпосылка* для познания Бога. Вот основоположный камень всех религиозно-философских убеждений Хомякова. Не новое это учение, — оно вдохновляет всю проповедь апостола Павла, а с особой силой звучит оно в этих бесхитростных словах апостола любви: «Как может тот, кто не любит брата своего, которого видит, любить Бога, которого не видит?» (1-ое Послание Иоанна, гл. 4, ст. 20), и в этих словах Христа: «По сему узнают, что вы — Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоанна, 13, 25).

Меняется поэтому весь подход к познанию Высшей Божественной Истины. «Поэтому-то самому всякий человек, любящий истину, обязан испытать свое сердце и исторгнуть из него росток ненависти: иначе истина *не дастся ему*»[8]) — пишет Хомяков (11, 98). Другими словами: Истина открывается только любви, открывается *братьям, соединенным в любви*. И вместе с тем этот Дух Истины, этот Дух Любви, который есть Дух Божий, есть и Дух Свободы («Где Дух Господень, там свобода», пишет апостол Павел). Поэтому любовь эта должна быть соединена со свободой. Истина дается братьям, объединенным в любви и духовной свободе. Солидарность в любви и — духовная свобода; вот предпосылки познания Бога.

Из этого вырастает все учение Хомякова о *Церкви*, это центральное учение Хомякова, ибо Хомяков глубоко убежден, что мы одни, отделенные от общения с братьями, лишенные любви, не можем познавать Истины Божией, той истины, которая есть Любовь.

Все учение Хомякова о Церкви пронизано ощущением и созерцанием действия Духа Божия, согрето ощущением Его близости как Духа Любви и Духа Истины, раскрывающегося только в любви и духовной свободе. Поэтому Дух Божий есть решающий фактор. Он есть то, что дает познание и освящает души и соединяет братьев в любви. Он есть критерий и источник Истины. Он не может быть внешне доказан. Он не нуждается во внешних доказательствах: Он Сам Себя доказывает, Сам Себя открывает в Церкви, как Свет и Жизнь. Познающий Его познает Его *внутренним* знанием истины, ибо это знание есть вместе с тем и жизнь, новая жизнь, жизнь Духа, открывающаяся в братьях, соединенных любовью. Это познание есть вместе с тем и *врастание* в жизнь Духа и преображение силою Духа. Познание Истины охватывает всего человека, если оно есть действительно познание, и изменяет, преображает его. Об этом учил уже Киреевский, близкий друг Хомякова, основатель русской религиозной философии из духа аскетов и мистиков Восточной Церкви, наставников в этой обновленной жизни Духа. Нельзя не ощутить огромного религиозного и нравственного подъема — я сказал бы — *духовности*, проникающей это главное и центральное учение Хомякова.

«Мы знаем», пишет Хомяков в своем знаменитом исповедании веры, «когда падает кто из нас, он падает один; но никто один не спасается. Спасающийся же спасается в Церкви, как член ее, и в единстве со всеми другими ее членами. Ве-

[8]) Курсив мой. — Н. А.

рует ли кто, — он в общении Веры; любит ли — он в общении Любви; молится ли — он в общении Молитвы... Не говори: «Какую молитву уделю живому или усопшему, когда моей молитвы недостаточно и для меня?» Ибо не умеющий молиться, к чему молился бы ты и за себя? Молится же в тебе дух Любви. Также не говори: «К чему моя молитва другому, когда он сам молится и за него ходатайствует Христос?» Когда ты молишься, в тебе молится дух Любви. Не говори: «Суда Божьего уже изменить нельзя», ибо твоя молитва сама в путях Божиих, и Бог ее предвидел. Если ты член Церкви, то молитва твоя необходима для всех ее членов. Если же скажет рука, что ей не нужна кровь остального тела, и она своей крови ему не даст, рука отсохнет. Так и ты Церкви необходим, покуда ты в ней, и если ты отказываешься от общения, то сам погибаешь и не будешь уже членом Церкви... Кровь же Церкви — взаимная молитва, и дыхание ее — славословие Божие» (т. 2, стр. 21, 23).

«Мы молимся потому, что не можем не молиться, и эта молитва всех о каждом и каждого о всех, постоянно испрашиваемая и постоянно даруемая, умоляющая и торжествующая в то же время, всегда во имя Христа нашего Спасителя обращаемая к Его Отцу и Богу, есть как бы кровь, обращающаяся в теле Церкви: она — ее жизнь и выражение ее жизни, она — глагол ее любви, вечное дыхание Духа Божия» (т. 2, стр. 120-121).

Не внешнее только исповедание, не сухая формула составляет, по убеждению Хомякова, сущность христианства, а именно эта жизнь Духа Божия и причастие к ней. Поэтому истинная вера «не есть акт одной познавательной способности, отрешенной от других, но акт всех сил разума, охваченного и плененного до последней его глубины живою истиною откровенного факта. «Вера не только мыслится или чувствуется, но, так сказать, мыслится и чувствуется вместе; словом — она не одно познание, но познание и жизнь» (т. 2, стр. 62). «Посему должно почитать, что исповедание и молитва и дело суть ничто сами по себе, но разве как внешнее проявление внутреннего духа. Поэтому еще неугоден Богу ни молящийся, ни творящий дела, ни исповедающий исповедание Церкви, но тот, кто творит и исповедует и молится по живущему в нем духу Христову» (т. 2, стр. 9).

В этом Духе Божием, в этом причастии к нему — весь смысл и центр внутренней жизни христианина и жизни Церкви. Хомяков поэтому решается даже на такую заостренную формулировку: «Писание есть внешнее, и предание — внешнее, и дело — внешнее; внутреннее же в них есть от Духа Божия... Церковь не доказывает себя ни как Писание, ни как Предание, ни как дело, но свидетельствуется собою, как и Дух Божий, живущий в ней, свидетельствуется собою в Писании» (т. 2, стр. 8). Свидетельство Духа Божия духу нашему, когда мы соединены с братьями в любви или, вернее, духу Церкви, самосвидетельство Его, как бы побеждающая нашу душу жизнь благодати, — вот критерий Истины. Самосвидетельство жизни: животворящий и преображающий нас Дух Истины. Поэтому Истина есть жизнь, а не внешний авторитет.

«Церковь — *авторитет*», сказал Гизо; а один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их при этом... Бедный римлянин! Бедный протестант! Нет: Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а Истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь текущая в его жилах, но живут, поколику он сам живет вселенской жизнью любви и единства, т. е. жизнью Церкви» (т. 2, стр. 54).

Итак, не внешний авторитет, не внешнее принуждение, а покоряющая душу

собственной силой Истина, имеющая в себе источник жизни. Ибо «*в делах веры принужденное единение есть ложь, и принужденное* послушание есть смерть» (т. 2, стр. 193)[9]. Вера не нуждается в мерах насилия, они по существу противоположны ей, недостойны ее, могут ее замарать (ср., например, его «Послание к сербам»). Она, по убеждению Хомякова, как и первых провозвестников христианства, есть захваченность покоряющей душу Любовью Сына Божия, пришедшего в мир и отдавшего Себя за нас.

5

Но изображение положительных взглядов Хомякова на сущность веры, на сущность Церкви, на действие Духа Божия в Церкви соединяется у него в его знаменитых трех трактатах «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях»[10] с полемикой против католицизма (нужно сказать, в ответ на очень пристрастные католические нападки на Православную Церковь) и протестантизма. Следует сказать, полемика блестяща и талантлива, полна богословской и диалектической силы и, при всей решительности и яркости своей, написана в тоне большого духовного благородства (как все, что пишет Хомяков), но она не всегда, далеко не всегда справедлива. Хомяков судит слишком логически и прямолинейно. Его нападки на ряд характерных черт как католического, так и протестантского мировоззрений необычайно метки и сильны. Гораздо больше, при этом, нападает он на католицизм. Но жизнь Католической Церкви, ее христианский опыт, сокровища ее духовной жизни далеко не укладываются в рамки этой полемики, далеко не исчерпываются затронутыми здесь вопросами. Нельзя сложную и богатую жизнь религиозного организма, богатую именно благодатными дарами истинной святости, вытягивать на прокрустовом ложе одной логической формулы — «юридизма, лишенного любви», формулы, которая становится прямо неверной в таком своем безграничном применении. Исполненный горячей любовью к своей Матери-Православной Церкви, великий христианин Хомяков, такой чуткий к духу Христову везде, где он его встречает, становится в пылу увлечения некоторыми основными, блестящими, но далеко не все охватывающими, и потому слишком недостаточными в сравнении с богатством и противоречиями жизни, логическими формулировками, явно односторонним и несправедливым в некоторых своих обобщающих оценках западного христианства (и здесь, в этих обобщающих оценках, он диалектически блестящ, но явно однобок). В связи с этим можно упрекнуть Хомякова в некоторой односторонности и предвзятости и при оценке им западноевропейской культуры.

Полемика его часто и ярка, и остроумна, и глубокомысленно блестяща, но жизнь религиозная больше и сложнее прямолинейно-однобоких логических формулировок. И тем не менее, нельзя не сказать, что блеск его таланта очень велик, огромна его культура, его эрудиция, сила и благородство стиля, дух истинного братолюбия, при силе полемики, и полны великой духовной проникновенности и глубины те, самые для нас ценные, положительные, не чисто полемические части этих богословских брошюр, где он излагает основы христианского — апо-

---

[9]) Курсив Хомякова.

[10]) Вышли на французском языке тремя брошюрами: в 1853 г. в Париже и в 1855 и 1858 гг. в Лейпциге, затем отдельной книгой в Лозанне; по-русски они вышли лишь в 1867 году.

стольского и древнецерковного учения о Церкви Божией, как великом Теле Христовом, призванном возрастать в любви и свободе, силою Духа.

Другое замечание: соответствует ли эта глубоко вдохновенная картина, созерцаемая Хомяковым, той повседневной действительности церковной жизни, окружающей нас (и окружавшей тогда и Хомякова)? Как этот вопрос ни важен, он — не решающий. Недостоинства и погрешности в эмпирическом осуществлении не исключают призвания. Грехи и заблуждения отдельных (пусть весьма многочисленных — и среди мирян и среди духовенства) членов Церкви не уменьшают святости Духа Истины, призывающего нас к святости и к Истине и одухотворяющего — по глубокому убеждению Хомякова — внутреннейшую жизнь Церкви и являющегося в ее святых, ее таинствах, во вверенном ей Слове Божием и в идущем от времени апостолов непрерывном (хотя и часто затемняемом слабостями людей) потоке Божественной Жизни.

Тем более с точки зрения Хомякова были бы предосудительны и смутительны те нередко человеконенавистнические страсти, что раздирают единство жизни Церковной даже в недрах самой Православной Церкви — в наши времена даже больше, чем в его время.

Все время вспоминается его увещание: если мы любим Истину и хотим служить ей, хотим защищать ее и проповедовать ее, то прежде всего надо «испытать свое сердце и исторгнуть из него росток ненависти», ибо «иначе Истина не дастся нам» (т. 2, стр. 98). Истина дается только тем, кто не исполнен духа вражды и ненависти. Иначе мы представляем не ту Истину, о которой мы говорим устами, а свою вражду и слепоту, Истина же отходит от нас. Нужно быть смиренным и трепетным служителем Истины. Это очень чувствовал Хомяков.

Мужественность и смелость обличения, прежде всего, самообличения, и горячая любовь — вот что характерно для Хомякова, даже для полемики Хомякова.

6

Встреча Востока с Западом, и притом творческая встреча, — одна из основоположных черт великого русского культурного синтеза XIX века. Одним из поворотных пунктов решающего значения является 1812 год. Он с необычайной силой пробудил в русском образованном слое сознание родины. Оно никогда в образованном руководящем слое не умирало, но носило более характер внешнеполитического, военного патриотизма. Теперь же жизнь нации была потрясена до самых ее основ, столица России — Москва была уничтожена, Россия была на краю гибели и — была спасена, казалось, чудом. Весь народ, от царя до последнего крестьянина, был охвачен порывом огромного патриотизма; образованный класс, особенно те его представители, что геройски сражались на полях битвы, был вдвинут в огромный контекст общенародного подъема, что не могло не отразиться, и притом в сильнейшей степени, на культурном самосознании этого образованного класса. Московское общество после 1812 года было особенно сильно захвачено этими настроениями и переживаниями, они не могли не оплодотворить самым решающим образом культурную жизнь и культурное творчество страны в лице ее образованного слоя, особенно молодого поколения. Здесь, повторяю, один из главных вдохновляющих источников культурного, при этом *творческого*, синтеза XIX века.

Молодой Хомяков умственно сложился и вырос в этой атмосфере. Западное не было отринуто, напротив того: благодаря длительному пребыванию многочи-

сленных молодых русских офицеров, представителей его культурного класса, в Западной Европе, особенно во время кампаний 1813 и 1814 годов (время большого духовного и культурного перелома и подъема в самой Европе), знание Западной Европы, особенно германской и французской культуры, еще усилилось — из первоисточников, из непосредственного знакомства с ее представителями. Но это была духовно в значительной степени уже другая Европа — не Европа XVIII века. Она сама была охвачена порывом культурного обновления, порывом какой-то духовной юности, духовной весны, что особенно выражалось в немецком (и английском) романтизме, в новом подходе к истории, в новом переживании истории как одного великого органического целого, одного живого потока, где решающими являются не кабинетные только постановления правящих кругов, договоры и трактаты, а именно живой поток жизни народной. Пробудилась любовь к народной старине, к стихии бессознательной или иррациональной в народной жизни, к старым преданиям, легендам, обычаям, сказкам, песням, к тому великому, живому, органическому целому, на лоне которого, черпая из него свою силу и вдохновенье, только и может существовать в истинном смысле слова национальная культура, сознательным носителем и выразителем которой является культурный класс страны, но именно поскольку он связан со стихией общенародной жизни. Это расширяло и углубляло взгляд на историю, раскрывало новые горизонты. Это был *органический* подход к жизни народов, вдохновивший новую историографию, новую филологию, новую науку о древностях и преданиях народных — фольклористику, родившиеся из этого органически романтического миросозерцания. Но и весь природный мир, окружающий нас, не только мир истории, перерождался в глазах этого нового восприятия действительности, становился местом приложения и действия живых сил, проникающих недра от самых его глубин до его вершины — человека. Органическое мировоззрение, романтическая натурфилософия (особенно философия Шеллинга), как они одухотворяли картину всего существующего вокруг нас, как в глазах этой философии жизнь становилась значительнее, интереснее, насущнее, живее, и как могла эта философия увлекать и вдохновлять лучших из молодежи, тоже чувствовавших себя охваченными этим мощным жизненным подъемом и с радостью искавших и находивших в этой философии (философии новой юности Европы!) его осмысление! Эти настроения широко захватили Москву 20-х годов, в которой рос и развивался умственно и духовно юноша Хомяков.

Москва 20, 30 40 годов, и вообще культура этой старой Москвы XIX века с ее семейными преданиями, с ее встречей Запада и Востока, с ее высокой эстетической, исторической и философской образованностью, с ее повышенной религиозной жизнью, с ее своеобразным бытом и укладом жизни, с небольшими старомодными особняками ее переулков! Эти особняки, по большей части, одноэтажные с мезонином, окрашены в светло-зеленый, или белый, или голубоватый, или светло-розоватый цвет. Фасад их, выходящий на улицу, — всего в семь или девять окон, зато они тянутся глубоко внутрь в глубину двора. За домом довольно большой сад, заросший сиренью. По двору разбросаны хозяйственные пристройки; вдоль деревянной кладки для пешеходов, тянущейся по краю двора, стоит несколько высоких серебристых тополей. Ранней весной весь двор усыпан этими остро и живительно благоухающими почками тополей, шуршащими под ногами. В мае в сирени поют с вечера до утра соловьи. Внутри эти особняки оказываются гораздо более поместительными, чем кажется с улицы. Две белые деревянные арки отделяют переднюю от залы. В гостиной старинные портреты предков, родственников и друзей семьи, нередко работы Кипренского, Левицкого, Борови-

ковского, Тропинина; бархатные щиты со вделанными в них семейными миниатюрами, старая бронза, старинная мебель александровской эпохи, старинные часы «Ампир»... В этих домах замечательные библиотеки: старинные французские издания XVII и XVIII веков в красных или коричневых кожаных с золотыми обрезами переплетах; здесь — великие французские классики времен Людовика XIV — и Корнель, и Расин, и Мольер, и Паскаль; особенно хорошо представлены старые французские религиозные писатели — Боссюэ, Фенелон, Бурдалу, Массильон, г-жа де Гийон; французские мемуаристы за три века: Mémoires du Duc de Sully, Mémoires du Duc de St. Simon, Mémoires de la Duchesse d'Abrantès, и другие. Среди английских книг имеются очаровательные издания романтических поэтов начала XIX века — четыре маленьких книжки первого издания Байроновского «Чайльд Гарольда» с урнами, жертвенниками, полуразрушенными колоннами, полупотухшими факелами и венками в виде виньеток; первое издание фантастической восточной поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Имеются и немецкие классики и романтики, нередко в первых изданиях конца XVIII или начала XIX века, в картонных томиках — синих, зеленых, малиновых с наклеенными на них вырезанным из бумаги белым кружевным узором: Виланд, отдельные творения Гёте, Шиллера, позднее романтики — Тик, Вакенродер, Шлегель. Здесь же в темных переплетах великие немецкие философы — особенно Гегель и Шеллинг, представители мистической религиозной мысли — Якоб Бёме в переплетах белой свиной кожи, Ангелус Силезиус, французские переводы творений св. Терезы Испанской и Juan de la Cruz (St. Jean de la Croix). Далее книги по русской литературе, альбомы старых путешествий, латинские и греческие классики, итальянские поэты, французские, немецкие и английские авторы середины XIX века; историки русские и иностранные; в некоторых домах — творения Святых Отцов Восточной церкви. По стенам, между книжными шкапами, старые гравюры, акварели — пейзажи Италии начала XIX века. Из окон дома видна соседняя церковь, в глубине переулка, XVII или XVIII века, с маленькой отдельной колоколенкой шатрового типа, полувросшая в землю. Из этой церкви доносится звон колокола в самые различные часы дня — то благовест, то воскресный радостный трезвон, то мерный удар колокола по покойнику, то заунывные звоны Великого Поста, то сливающаяся с перезвоном других колоколов — соседних, близких, дальних церквей — радостная, волнующая симфония пасхальной заутрени.

Невидимые нити соединяют жизнь семьи, жизнь дома с литургической жизнью Церкви: родители вместе с детьми ходят к службам, вместе с ними говеют и причащаются. Уже намечается или, вернее, уже осуществляется в этих патриархально-старозаветных и религиозных, и вместе с тем широко европейски образованных семьях, захваченных и движением мысли и движением современной литературы, своей и иностранной, тот творческий, культурный синтез, о котором мы говорили. И вместе с тем, в недрах этих патриархальных, глубоко христиански настроенных семей совершалось то ежедневное, невидимое духовное воздействие родителей на детей, то невидимое, ежедневное излучение любви матери на ребенка, то руководство совестью на путях к осуществлению Правды, о котором пишет сам Хомяков в следующих словах: «Что до меня касается, то я знаю, что, во сколько я могу быть полезен, ей (т. е. своей матери) обязан я и своим направлением, и своей неуклончивостью в этом направлении... Счастлив тот, у которого была такая мать и наставница в детстве, и в то же время, какой урок смирения дает такое убеждение. Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему» (письмо к М. С. Мухановой от 10 сентября 1857 г. — т. 8, стр. 405).

Это — живой пример того, что можно назвать *«динамической традицией»* в тишине совершающегося акта творческого духовного воздействия на душу ребенка и юноши и, в связи с этим, творческого роста души. Излюбленная идея Хомякова о духовном динамическом преемстве неразрывным образом связана с его собственным духовным опытом и, прежде всего, с опытом его детства и юношеских лет — с творческой традицией в недрах христиански верующей и глубоко культурной семьи.

В мезонинах этих домов, носителей своеобразной «культуры московских переулков», часто находились комнаты сыновей дома. Сюда к ним стекались друзья и товарищи, охваченные чарующим вином романтизма и юности, и вместе с тем остро пробудившимися умственными, культурно-политическими, культурно-национальными и религиозными интересами и искажениями. Здесь происходили оживленнейшие дебаты, иногда ожесточенные споры. Слова Пушкина

«Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло . . .»

передают настроения этой молодежи.

Центром такого кружка молодежи, кружка, к которому принадлежали и оба брата Хомяковы, был, как известно, изумительный юноша, исполненный жизни и необычайного очарования, поэт и романтик Дмитрий Веневитинов, умерший 21 года от роду (род. 14 сент. 1805 г., ум. 15 марта 1827 г.), бывший на год с небольшим моложе А. С. Хомякова. О московских кружках — и Веневитинова и Станкевича и позднейших — писано довольно[11]). Хочу здесь остановиться лишь на том факте, что эти кружки были *мощной лабораторией* в выработке миросозерцания, что здесь, между прочим, осуществлялся этот столь характерный для всей великой русской культуры XIX века синтез между своими и чужими, между Западом и Востоком, что здесь, на этих собраниях друзей и 20 и 30 годов, но и 40 и 50 годов, когда Хомяков был уже зрелым мужем и вместе с тем вдохновляющим центром таких встреч (особенно вдохновляющим для молодежи), — ставились со всей остротой проблемы философские и религиозные, проблемы взаимоотношений Запада и Востока, проблемы национальных судеб и призвания России и многие другие. И еще одно хочется сказать: здесь, в этих совместных исканиях Истины, в этом добросовестном стоянии молодых душ перед величайшими, решающими проблемами жизни, веры, и истории, и национального самосознания, проблемами призвания человека и народа и всех народов вообще и конечного смысла истории и бытия всего мира, в этих горячих умственных схватках и, вместе с тем, в стараниях понять, оценить и не исказить мысль собеседника, не только выковывалась любовь к Истине, и мужество, и смелость мысли, и стремление к объективности; нет, еще большее иногда, по-видимому, ощущалось этими юношами: они расходились обогащенными не только умственно, но и духовно, не только потому, что устанавливалось взаимодействие с мыслями других и плодотворный обмен мыслей, но, в конечном, глубинном смысле, оттого, что они все старались стать пред лицо Истины, и это приподымало их над их собственным уровнем. Не сумма знаний и убеждений собравшихся лиц, а их убеждения и

[11]) См. мою статью о Московских кружках, являющуюся главой моей книги «Из русской культурной и творческой традиции».

знания плюс предстояние пред лицом Истины, некое воздействие самой Истины на ищущих ее, некое присутствие самой Истины, как того, что больше всех их исканий и формулировок. Идея «соборности», которая такую огромную роль играет в религиозных воззрениях Хомякова, — соединение свободы личности с солидарностью любви в смиренном и свободном предстоянии перед Истиной, — не зародилась в этих кружках молодежи, но они явились в духовном опыте его жизни как бы неким отдаленным, неадекватным и робким указанием на нее. А осуществление ее Хомяков нашел в действии Духа Божия на братьев, любовью объединенных в великое Тело Христово, Церковь.

В этих беседах и кружках, особенно в беседах Хомякова, уже зрелого мужа, с молодежью, проявился и его высокий педагогический дар, его педагогическое призвание, не потерявшее свое действие и поныне. В своих чрезвычайно ценных воспоминаниях о Хомякове его друг, А. И. Кошелев, знавший его в течение 37 лет, так характеризует эту сторону его деятельности: «Не могу не упомянуть о редкой особенности Хомякова привлекать к себе и привязывать и стариков, и сверстников своих, и молодежь. Он становился средоточием везде, где находился, — и в Москве, и в каждой гостиной, куда он приезжал. Этим он был обязан, конечно, своему обширному, глубокому и своеобразному уму и своей всегда живой и завлекательной речи, но еще более кротости и безобидности своей беседы. Молодежь, особенно «свирепая», как он ее называл, расположенная к тому, что впоследствии было названо нигилизмом, была предметом его особенной заботливости. Он любил беседовать с этими юношами, которые были к нему чрезвычайно хорошо расположены, и он на них действовал благодетельнее всяких проповедей и других внушений».

«Да, — заключает Кошелев, — жизнь этого человека была постоянным подвигом, который достойно оценится разве потомством». Хомяков сам высоко ценил силу непосредственного устного слова. «Когда случалось его упрекать, — говорит Кошелев, — в том, что он слишком много говорит, то он отвечал: «изустное слово плодотворнее письменного; оно живит слушающего и еще более говорящего; чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова, произнесенные и слышанные, коренистее слов, писанных и читанных»[12]).

7

Хомяков, конечно, как всякий исторический деятель, как всякий мыслитель и писатель, принадлежит к своему времени (но не только своему времени! — мы это в достаточной мере видели) и к его специфической обстановке, к его специфическим настроениям и заданиям, наряду с проблемами более общего характера, далеко вырастающими за пределы данной эпохи. Эта связанность с определенной эпохой, с определенной средой дает жизненность и яркость, но вместе с тем и подчас некоторую односторонность в постановке и разрешении ряда проблем. Поворот к родному и национальному, обретение или яркое осознание заново народной святыни (для Хомякова эта народная святыня в том состоит, что народ, явление временное, призван стать носителем святыни сверхвременной, бесконечно высшей, чем он сам, хотя часто, конечно, оказывается он недостойным своей святыни), — это осознание заново религиозно-нравственного призвания сво-

[12]) «Воспоминания А. И. Кошелева о Хомякове». См. «Сочинения Хомякова», том 8, Письма. Москва, 1904 г., стр. 125 и 126.

его народа соединяется подчас у Хомякова с недооценкой или слишком строгой оценкой духовных ценностей и духовных достижений у народов Запада. Соединялось оно вместе с тем с некоторой, подчас — сказали бы мы — даже наивной, хотя и трогательной, идеализацией нравственно-общественных основ жизни славянства. В этой идеализации и в этой однобокости Хомяков является «славянофилом» в более узком смысле слова, в каком им являются Аксаковы и другие. Но эта крайность, это увлечение понятны как естественная нравственная реакция против столь распространенного в по-петровской России игнорирования образованным классом своего собственного народа и его исторического и религиозного достояния. Здесь звучат у Хомякова, как и у прочих славянофилов, ноты *горячей и оскорбленной любви*. Мы видели уже, как эти односторонности у него преодолеваются признанием безусловного высшего критерия — Правды Божественной, которой его народ, как и все народы, призван подчиняться и служить и которая призвана судить *все народы*, как высшая Цель и Смысл всякого существования.

Дадим здесь некоторые факты из биографии Хомякова.

Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года в Москве на Ордынке. Отец его, Степан Александрович, был человек большого образования и составил в с. Богучарово превосходную библиотеку, особенно французских авторов XVIII века. Тон в семье задавала мать Мария Алексеевна, рожденная Киреевская, которая спасла семью от разорения (отец очень расстроил хозяйственные дела семьи), была необычайно энергична, умна, сильна духом. Сын сравнивал ее с суворовскими солдатами, «с их силой неисчерпаемой и неукротимой». Она же руководила и воспитанием детей и оставила в их душе неизгладимый след. Она была очень высоконравственного уровня, глубоко религиозна. Она научила сына с ранних лет «всем сердцем участвовать в молитве о единении Церквей». Однажды она призвала своих уже подрастающих сыновей и взяла с них торжественное обещание сохранить целомудрие до вступления их в брак; того из них, кто не сдержит слова, она грозила лишить своего благословения. Но сыновья все сдержали это слово. Наполеоновские войны, пожар Москвы в 1812 году и кампания 1813—1815 гг. произвели огромное впечатление на Алексея и его брата Федора. Они собирались сражаться с Наполеоном. Поэтому они были разочарованы, узнав о сражении под Ватерлоо. «С кем мы пойдем сражаться?» — говорил Федор. — «Я подыму славян», — отвечал одиннадцатилетний Алексей. Мальчики усиленно учились дома, живя с начала 1815 года в Петербурге, под руководством французского аббата-эмигранта abbé Bouvin, большого знатока латыни. Алексей 14 лет читал в подлиннике «Германию» Тацита и старался переводить оды Горация и отрывки из Виргилия. Он изучал одновременно греческий язык у своего гувернера Арбэ, греческого патриота, агента Общества Филэллинов. Преподавателем русской литературы был драматург Жандр, друг Грибоедова. Уже рано Алексей стал интересоваться богословскими вопросами, любил спорить. Читая однажды одну папскую буллу, он заметил в ней орфографическую ошибку и спросил бедного abbé Bouvin: как же это Папа непогрешим, если он делает орфографические ошибки. После двух лет, проведенных в Петербурге, Хомяковы вернулись в Москву. Алексей закончил свое среднее образование под руководством профессоров, затем поступил в Московский университет и окончил его со степенью кандидата математических наук. Но мечты его школьного возраста его не покидали. В один зимний вечер 1821 года он решил бежать из дома, чтобы сражаться за греков. Он запасся 30 рублями, ножом, который он спрятал в сани, и подложным паспортом (который ему доставил филэллин Арбэ). Но верный дядька Артемий

следил за своим барчуком и сразу после бегства сообщил отцу в Английский Клуб, что уже полночь, а «ребенка все нет». Опросили старшего брата Федора, бросились искать беглеца и нашли его уже за Серпуховской заставой. Алексей Степанович заканчивал свои университетские годы с очень солидным научным багажом: у него были серьезные познания в области точных наук, истории и литературы. Кроме древних языков, он хорошо знал немецкий, свободно писал и говорил по-английски и по-французски. Одновременно, вместе со своими друзьями и сверстниками из кружка Веневитинова («Общества Любомудрия», как они себя называли), Хомяков с увлечением занимался философией, особенно романтической философией Шеллинга и близких к нему мыслителей, хотя основы его религиозного миросозерцания определились уже с ранних лет. В 1827 году стал издаваться кружком молодых людей «Московский Вестник», насыщенный статьями по философии, истории культуры и литературы, где Хомяков стал печатать свои первые стихи ярко романтической окраски. Но Хомяков еще не был уверен, что его призвание — в умственной деятельности. Уже весной 1822 года 18-летний Алексей, по совету отца, поступает в Астраханский кирасирский полк в Ново-Архангельске, а с осени 1822 года переходит в Кавалергардский полк. Молодой офицер встречается с будущими декабристами. Он с ними разделяет горячность их национального чувства, но всякое насильственное внедрение западных форм правления, которыми увлекались будущие декабристы, и особенно всякая идея насильственного военного переворота ему глубоко неприемлемы, и он полемизирует с ними. По семейным преданиям он вел в полку аскетическую жизнь: спал на голых досках, вместо подушки клал себе под голову огромный лексикон. Через два года (в 1824 г.) он выходит в отставку, но поступает опять на военную службу в 1828 году, когда Николай Павлович призывал русских людей взяться за оружие «на защиту Святой Православной Церкви и Отечества». Хомяков отличился в битве под Шумлой. Характерно, что при преследовании бегущего неприятеля он дважды заносил руку с палашом для удара, но не мог решиться ударить бегущего (ср. его позднейшее стихотворение „Rittersрruch — Richterspruch"). В январе 1830 года после заключения мира Хомяков окончательно покидает военную службу и возвращается в Москву, деля отныне свое время между Москвой и деревней. Но еще до участия своего в войне в 1825—1826 гг. молодой Хомяков провел 18 месяцев в Париже, занимаясь особенно литературой и живописью и посещая французские театры. В конце 1826 года Хомяков покинул Париж и вернулся в Россию через Северную Италию (Милан, Изола Бэлла), Швейцарию и славянские страны Австрии. Это путешествие по славянским странам оставило в нем неизгладимое впечатление; он «был принят», — пишет он впоследствии, — «в славянских землях, как любимый родственник, посещающий свою семью» («Сочинения», т. 1, стр. 97). Вернувшись в Россию, Хомяков пишет ряд стихотворений. С большим успехом ставится на сцене написанная им еще в Париже лирическая трагедия «Ермак», а в 1832 году он заканчивает другую трагедию «Димитрий Самозванец» с большим уже, по сравнению с первой драмой, развитием и характеров и драматического действия. Но призвание Хомякова не лежало в этой области — это он вскоре понял. Он обладал двумя великими дарами — даром яркости, горячности и мужественности мысли, горения мысли, и несравненным даром живого слова, будящего, покоряющего умы и сердца. Эти дары до известной степени предопределили дальнейший путь деятельности Хомякова.

5 июля 1836 года Хомяков женится на Екатерине Михайловне Языковой, сестре поэта Языкова. Он был необыкновенно счастлив в семейной жизни. Жена была «солнцем» его жизни. Я нарочно более подробно остановился на этом пер-

вом, формационном периоде его жизни, когда в значительной степени выработался его характер и сложились его убеждения, чтобы в самых кратких чертах добавить несколько фактов, касающихся второй половины его жизни.

Говоря о многосторонности его личности и его интересов, мы вкратце уже касались разных сторон его напряженной деятельности (хотя он постоянно упрекает себя в лени). Он — мыслитель, он — историк-исследователь, он — глубоко верующий человек, вся жизнь и все убеждения и все мысли которого получают окраску и решающее вдохновение из его *религиозного опыта,* сильного и живого. Он — превосходный и страстный сельский хозяин, он — поборник и подготовитель крестьянской реформы. Он — глубоко русский человек и вместе с тем глубоко и органически связан с культурой европейского Запада. Большое впечатление производит на него путешествие в Англию в 1847 году. В 1852 году умирает его жена, это для него — огромное нравственное потрясение; жизнь его не останавливается, зато она во внутренних истоках своих переходит на более высокий план; внешне продолжается кипучая умственная, общественная, литературная, педагогическая жизнь. Алексей Степанович умирает еще во цвете лет — 22 сентября 1860 года от неожиданного острого заболевания холерой. Когда ему накануне кончины стало вдруг лучше и сосед его Муромцев сказал ему в ободрение: «Смотрите, какой хороший у вас стал вид, как глаза у вас посветлели», — Хомяков ответил: «А завтра как посветлеют!». Его жизнь есть редко встречающееся проявление необычайного и последовательного посвящения себя и своих сил единой высшей цели — проповеди и словом и делами Божественной Правды, которой он всем существом своим служил.

В заключение нашего очерка еще раз кратко остановимся на основных чертах духовного наследия Хомякова, на том, чем он ценен и важен для нас, может быть, особенно в эти дни духовного и общественно-политического кризиса и духовной борьбы, в эти дни неслыханного, небывалого в истории порабощения России силами Зла, *принципиально отвергающими и подавляющими всякое нравственное начало,* всякое малейшее проявление человеческой свободы, и пытающимися соблазнить и развратить душу народа.

В эти дни Хомяков особенно призывает нас к неустанному подвигу духовному, личному и народному. Есть тон *духовного героизма,* но сдержанный, скромный, без ложного пафоса, во всей его личности и всей его проповеди. Характерны его слова в письме к А. Н. Попову (от 1 января 1854 г.): «Более же всего я хвалю (извините за гордое Я, но ведь оно всегда скрывается во всяком мнении) воздержность тона при мужестве поступка; он свидетельствует о мужестве не страстном и порывном, но тихом и упорном, т. е. о том, которое всегда нужно, а теперь более, чем когда-нибудь, и нам более, чем кому-нибудь» ... (т. 8, стр. 209; ср. письмо к Ивану Аксакову — т. 8, стр. 367).

Но этот героизм и подвиг должен питаться и вдохновляться из высших сфер, из помощи свыше, т. е. из божественной действительности и из нашего свободного ответа на ее призыв. А это требует строгого нравственного самоанализа и пересмотра нашего пути, личного и общенародного, в свете Правды Божией, и свободного подчинения нашего этой Правде Божией. Требуется строгий суд над собой, покаяние и возрожденная нравственная жизнь. Ибо — что характерно и основоположно для Хомякова — *над* условной «правдой» народной, над себялюбивыми интересами, личными и народными, ставит он *Правду Божию.* Она — решающая инстанция, решающий критерий. *Без нее и против нее не имеют никакой цены все земные блага.*

Высшая цель истории, согласно Хомякову, свободное объединение народов,

человечества во единый великий организм любви и свободы, руководимый Духом Божиим, растущий свободно «возрастом Христовым» под единой Главою — той воплощенной Любовью, которая отдала Себя за нас; великий организм, перерастающий рамки земного существования.

Трезвенность Хомякова есть, однако, вместе с тем и *захваченность*. Он сам проникнут «*тем жаром и любовью к Истине*[13]), которые одни только могут оплодотворить жизнь» (первое дошедшее до нас письмо его к Ивану Аксакову — т. 8, стр. 349). Эта любовь к Истине есть вместе с тем и горячая любовь к людям, ко всем народам, и прежде всего, —*страстная любовь к своему народу*. Но любовь эта должна быть просветлена служением тому, что выше всего: Правде Божией.

---

[13]) Курсив мой. — Н. А.

С. Левицкий

По ту сторону славянофильства и западничества

Спор славянофилов и западников принято считать теперь отошедшим бесповоротно в область исторического прошлого. Проблема эта, так говорят многие, более не актуальна. Она решена бесповоротно самой историей, и притом, как будто в пользу западников. Любопытно, что такого мнения придерживаются как большевики, которые Белинского и Герцена считают своими предшественниками, так и либеральная интеллигенция, для которой Белинский и Герцен являются апостолами свободы, попранной коммунистической диктатурой.

С культурно-исторической точки зрения несомненно, что марксизм есть одно из западных учений, и первые русские марксисты (особенно Плеханов) были разновидностью русских «западников». Большевистская революция началась под знаменем Интернационала и сопровождалась гонениями на всякий русский патриотизм.

Правда, современный большевизм сталинской и послесталинской формации имеет ярко выраженную антизападническую окраску. Многими — особенно иностранцами, высказывается мысль о «восточной» — ибо деспотической — природе большевизма. Вынужденная ставка Сталина на силы русского патриотизма стала теперь казаться неотъемлемой частью большевистского кредо, и именно этим лицевым фасадом патриотизма соблазняются многие из «малых сих».

Некоторые иностранные «руссоведы» считают поэтому скорее славянофильство, а не западничество — предшественниками большевиков. Это относится особенно к тем западным историкам, которые поверили в легенду о «вековом русском империализме», как главном источнике всех мировых зол. Предшественниками большевизма они считают скорее Николая Первого, чем гонимого им Герцена.

Это, конечно, чудовищное искажение истины, и всякий видавший виды русский знает, что самый реакционный царь предпочтительнее «улыбающегося» Хрущева. Но — будем до конца справедливы. Квасной русский патриотизм, составлявший всегда лишь внешнюю шелуху славянофильства, — ближе по духу большевикам, чем гуманные западники стиля Грановского. Не будет, поэтому, преувеличением сказать, что большевизм явился трагическим синтезом худших сторон западничества (марксизм) и — в меньшей степени — славянофильства (мечты о царстве русском от Ганга до Дуная).

По существу, спор славянофилов и западников гораздо шире того этапа его, который, под общепринятым теперь заголовком, вошел в историю русской общественно-политической мысли. В споре между старообрядцами и Никоном, между Карамзиным и Сперанским — мы имеем исторические прецеденты, ту эмоцио-

нальную подпочву, из которой затем развился до степени сознательности этот исторический спор.

Мало того, спор славянофилов и западников, по справедливому замечанию Розанова, имеет не узконациональное только, а всемирно-историческое значение. В своей сущности — это спор между духовной культурой и механической цивилизацией, между религиозным миропониманием — и «секуляризмом».

Против внешней оболочки славянофильского учения сказала свое опровергающее слово сама история. В святой Руси, оплоте православия, произошла безбожная революция, и установилась на обозримый период истории жесточайшая в мире атеистическая деспотия. Запад же (за временным вычетом Германии и Италии) устоял против демонов тоталитаризма, и церковь на Западе, далеко не занимая соответствующего ее достоинству положения, всё же занимает почетное место и даже укрепила свои позиции. Россия стала, по худшим предчувствиям Соловьева — «Россией Ксеркса», а не Христа.

Этот оборот исторических судеб нанес славянофильству смертельную рану. Если до революции можно было быть славянофилом, хотя бы с приставкой «нео», то теперь защищать славянофильские позиции, в их исторически сложившемся оформлении, — было бы слепым анахронизмом.

И, тем не менее, если взглянуть на славянофильство суб специе этернитатис, если откинуть от него иллюзии национального самолюбия, — в нем позволительно будет видеть большее, чем только культурное старообрядчество.

Призыв к созданию религиозной культуры, к «оцерковлению общества», — был тем новым словом, которое суждено было сказать ранним славянофилам. Религия, после Средних Веков, оставалась долгое время в оппозиции к культуре, или ставила себя вне культуры. В худших же своих вариантах, церковь посягала на власть над земным царством или унижала себя до роли служанки государства. Поэтому идея освятить религией культурное творчество и самую культуру возвысить до религиозности, — эта идея религиозного гуманизма указывает на единственно истинный путь к разрешению проблемы «религия и культура».

Поскольку же в середине прошлого века на Западе стал воцаряться культ секуляризма, культ светской цивилизации — в противоположность культуре религиозной — славянофильство справедливо подняло свой голос против этого секуляризма, хотя оно ошибочно видело в нем главную сущность европейской цивилизации. В наше время лучшие представители западной культуры осуждают тот радикальный секуляризм, из которого вырос атеизм, материализм и тоталитарный социализм — как раз те самые «идолы», против которых, во имя религиозных идеалов, ополчались славянофилы. В свою очередь, крайние западники, поклоняясь этим ложным секулярным богам, работали скорее на разрушение, чем на воссоздание тех ценностей, на которых зиждилась сама европейская культура. Об этой «антиевропейскости» западников хорошо говорил в свое время Достоевский на страницах «Дневника писателя».

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что в середине XIX века самое глубинное существо спора затемнялось политическими и национальными страстями и что, с исторической точки зрения, наша концепция спора славянофилов и западников неточна. Тем не менее, по существу, суб специе этернитатис, она верна. Все, в сущности, споры затемняются обычно разжиганием страстей, и только с перспективы будущего можно увидеть истинные очертания прошлого.

Как славянофилы, так и западники ошибались в том, что дело шло здесь о споре между «Россией» и «Европой». На самом деле, современная цивилизация, родиной которой была преимущественно Европа, приобрела всемирное значение

и распространение, — и в тщетном сопротивлении этой истине заключалась безнадежность славянофильской позиции, в ее исторически сложившихся формулировках. В свою очередь, ошибка западников была вовсе не в том, что они утверждали единство человеческой цивилизации.

Их ошибка была в том, что они подрывали условия возможности этого единства, что в своей оппозиции исторической церкви они соскользнули в оппозицию самому христианству и христианской цивилизации, расчищая этим почву для одержимости ложными идолами секуляризма, которые выступили на авансцену истории уже в XX веке.

В настоящее время в элите европейской мысли все явственнее слышатся голоса, предостерегающие против поклонения идолам секуляризма и призывающие к религиозному осмыслению жизни и культуры. То движение, которое начало у нас получать распространение в начале века под именем «Русского религиозно-философского Ренессанса», проявилось после первой мировой войны и на Западе, в менее ярких, но, может быть, более строгих формах. Вспомним обновление протестантского богословия у Карла Барта и его последователей, или распространение современного неотомизма. Правда, сами славянофилы менее всего были «обновленцами». Наоборот, они звали к восстановлению чистоты веры, они были консерваторами как в политическом, так и в культурном смысле. Они были людьми патриархального уклада, профетизм менее всего был свойствен их религиозной психологии. Но они явились предтечами движения религиозного обновления. Без их апологии религиозной культуры вряд ли мог появиться в России Религиозно-философский Ренессанс. Недаром реабилитация славянофилов была совершена представителями ренессанса (работы Бердяева о Хомякове, Гершензона о Киреевском).

Нет сомнения, что в славянофильском движении большую роль играл национальный момент. Утверждение православия было в то время неотделимо от утверждения русскости, — и недаром проф. Зеньковский говорит, что славянофильство должно было бы именоваться «православным руссизмом».

В свое время русский мессианизм был — если не вызван, то подстегиваем той смесью презрения, ненависти и страха, с которыми слишком многие на Западе относились к России. Славянофилы, сами ценившие великое культурное наследие Европы, были, тем не менее, в обиде на Запад за недооценку ими русского национального гения. В них говорило чувство оскорбленного достоинства великого народа, чьи дары, в силу исторических условий, не проявились вовне в достаточной мере в их эпоху. В своей защите великих достоинств русского народа и в своем указании на его лучшие характерные черты (дух братства, душевность) они были, конечно, правы. Славянофильство было исторически неизбежным явлением, оно было естественной и оправданной реакцией на загипнотизированность научно-культурным превосходством Запада, на слепоту многих русских к великому культурному потенциалу, хранившемуся в русском народе.

Но в наше время, более чем сто лет спустя, исчезли предпосылки для взгляда «сверху вниз» на Россию со стороны Запада. Русский национальный гений проявил себя с внушительной силой почти во всех областях научного и культурного творчества. Величие русской культуры в настоящее время не нуждается в доказательствах, — оно явило себя миру с неотразимой убедительностью.

Однако, разрушились и многие мечтания славянофилов — религия не только потеряла господствующее положение, но стала гонимой, и основные религиозные понятия выкорчевываются с корнем из душевно-культурного обихода.

Все это дает повод для радикальной переоценки ценностей русского мессиа-

низма. Торжество православия, если оно когда-нибудь наступит, будет иметь мало общего с мечтой о православном царстве. Слишком тесному сближению (официального) православия с пафосом Империи вряд ли будет суждено когда-либо обновиться. С другой стороны, национальный протест, составлявший одну из движущих сил славянофильства, уже вряд ли получит новый толчок, — именно в силу того, что русским не нужно больше доказывать своей культурной полноценности. Мессианизм всегда питался противоречием между бедственным и униженным состоянием нации и его притязаниями (законными или незаконными) на свою великую историческую роль. Русский народ в середине XX века не может жаловаться на непризнание его великих даров, заслуг и достоинств. Над русским народом тяготеет теперь нечто совсем иное — диктатура коммунистической партии и созданой ею шигалевщины. Это — внутренняя, а не внешняя диктатура, и оскорбляется здесь не национальное, а человеческое достоинство.

Поэтому в наше время мессианизм, в котором всегда имеется привкус национальной гордыни, имеет шансы быть замененным миссионизмом, одушевляющей силой которого является не гордыня, а достоинство. Ибо русский человек, наиболее человечный из всех народов мира, не может быть вполне русским человеком, если он не может полноценно проявлять свою человечность*).

Русскому человеку не надо более вести борьбы за утверждение своего национального достоинства как такового. Тем более настоятельна для него нужда в обретении такой формы правления, которая гарантировала бы ему свободу и человечность.

По-прежнему русским есть чему поучиться на Западе, но и Западу есть чему поучиться у России. Разнокачественность России и Запада не приходится теперь уже толковать в односторонних и одномерных категориях «прогресса» и «реакции». Противопоставление России и Запада не должно теперь быть антагонистическим. Это противопоставление может — и должно быть — взаимодополняющим. Это и значит, что мы становимся теперь «по ту сторону славянофильства и западничества».

Славянофильство, освобожденное от ложной идеализации прошлого и от рессентимента по отношению к Западу, и западничество, освобожденное от уже изжитых или изживаемых Западом идолов материальной цивилизации и от атеизма, могли бы дать в наше время гармонический синтез.

Естественно при этом возникает вопрос: что же останется в таком случае от славянофильства? И ответ может быть только один: славянофильство, в его исторически сложившейся форме — невозвратимо и неприемлемо, как невозвратимо прошлое. В горниле исторических испытаний славянофильство не выдержало испытания времени. Оно сгорело. Но не сгорел тот драгоценный алмаз истины, который заключался в его сердцевине — утверждение религиозной, православной культуры. Только утверждение это становится теперь более задачей будущего, нежели святыней прошлого.

В свою очередь, западничество, в его исторически сложившейся форме, также принадлежит прошлому. Но и оно сохранило свой алмаз — утверждение гуманизма, лучшие исторически культурные образцы которого были явлены все-таки на Западе.

Соединение религиозного пафоса славянофилов и гуманизма западничества может дать новый синтез, в исканиии путей которого заключается главная куль-

*) Недаром Кейзерлинг говорил, что русский народ сохранил «непосредственное отношение к душе ближнего».

турная задача России, — если ей суждено будет освободиться от ярма безбожной диктатуры.

Свободная духовная встреча России и Запада — опять-таки, если ей суждено будет осуществиться, — на этот раз может произойти без искажающих примесей сознания мнимого превосходства со стороны Запада и без рессентимента и ложного мессианизма со стороны России. Правда славянофильства и правда западничества могли бы теперь быть признаны без тех извращений религиозно-нравственного сознания, которыми изобиловала история обоих течений в XIX веке.

Водораздел между секуляризмом и религиозностью, между культурой и цивилизацией проходит теперь не по границам континентов, а внутри каждой страны, в душе каждого человека. Применительно к нашей теме можно сказать, что мы стали «по ту сторону славянофильства и западничества». Тут все переменилось: славянофилам прошлого века, воскресни они, пришлось бы бежать в Европу от «богоносцев», а вчерашние западники — марксисты стали бы ненавистниками Запада.

Вопрос, обращенный Соловьевым к России: «Каким Ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа», теперь особенно актуален, хотя современные Ксерксы и считают, что вопрос этот решен историей бесповоротно в их пользу.

Владимир Соловьев в своих «Чтениях о богочеловечестве» замечал, что соблазн Запада — «безбожный человек», соблазн же Востока — «бесчеловечное божество». Но безбожие все более преодолевается на Западе, и большинство ведущих современных умов Запада, — Тойнби, Юнг, Ясперс, не говоря уже о влиятельных богословах Тидлихе, Маритене, Нибуре, — продолжают дело реабилитации не только христианства, но и христианской культуры. Бесчеловечное же божество Востока — в данном случае воинствующий марксизм-ленинизм, — пожравшее столько своих собственных детей, все более теряет свою былую притягательную силу, и даже в советской литературе, особенно «молодой», все явственнее раздаются голоса, зовущие к реабилитации христианских ценностей веры, надежды и любви, хотя и во внехристианском одеянии.

В период, когда коммунизм достигает высшей точки своей внешней мощи, изнутри подрываются источники его внутренней крепости.

К нашей эпохе обращен «духом времени» призыв: сотрудничество и солидарность — или гибель. Поймет ли наше время, что только в союзе с Вечностью оно может исполнить свою миссию, или «исчезнет мир, и Бог его забудет» — покажет неотвратимое будущее.

Библиография

Облик великого поэта

С. Л. Франк широко известен как автор глубоких и оригинальных философских исследований, но лишь немногие знают, что его перу принадлежат также работы мировоззренческого и литературно-исследовательского характера. К первым относится его ценнейшая книга «Крушение кумиров» — радикальная «переоценка ценностей» в свете опыта революции и распада царской России, ко вторым — его многочисленные этюды об отдельных писателях и произведениях. Написанные С. Л. Франком в разное время, его этюды о Пушкине были собраны семьей покойного философа и вышли отдельной книгой.

Ничто в творчестве покойного С. Л. Франка неотделимо от его основной философской интуиции — метафизики всеединства как сверхрациональной реальности. Над миром, его трагической разделенностью и обреченностью на несовершенство продолжает звучать «музыка сфер», тот совершенный «мир идей», который был явлен человеческой мысли в гениальном философском прозрении Платона и восполнен и завершен в христианском откровении о Богочеловеке. Идеальная первооснова мира добровольно вышла из своего статического покоя, чтобы ценой любви и жертвы снять, искупить, оправдать трагическое несовершенство смертного человека. Но, в отличие от наивной веры платонизма, что знание добра ведет к его осуществлению в жизни, христианское благовестие о спасении идеал-реалистично. Мир спасен лишь в потенции, в меру своего добровольного приближения к Богу, и в этом — вся глубина человеческой свободы. В этом смысле христианство — длящаяся трагедия. Выход дан только в творчестве — в творчестве молитвы, в творчестве добра, в творчестве культурного преображения мира.

Достаточно хорошо известна мысль, что «на призыв Петра образоваться, Россия через сто лет ответила явлением Пушкина». Увы, ответ на европеизацию России был дан, конечно, не только Пушкиным. Были и шестидесятые годы, были Добролюбов и Чернышевский, были «сапоги выше Шекспира», было знаменитое письмо Белинского Тургеневу. Назойливо, в отрыве не только от всех других вопросов культуры, но даже от самой жизни, звучала тема просвещенчества и скорби о «меньшей братии». Брошенная в море европейского секуляризма религиозная и культурная мысль России шла, подчас, изломанными утопическими путями. Но синтез был достигнут, и он остался как норма, как завет. В этом заслуга солнца нашей светской культуры, «певца империи и свободы» — Пушкина.

Вся исключительность Пушкина на фоне русского XIX века приводит к тому, что С. Л. Франк обращает особое внимание на две темы — на вопросы о религиозности Пушкина и о характере его политического мировоззрения. Коснуться этих тем, значит вступить в борьбу с партийными пушкиноведами, которые немало потрудились над тем, чтобы стилизовать Пушкина под вольнодумца и заклятого врага самодержавия.

Достаточно хорошо известно, что в мо-

С. Л. Франк. Этюды о Пушкине, Мюнхен, 1957 г.

лодости Пушкин, сын своего века, был под влиянием французского вольнодумства и безбожия. Но впоследствии, особенно в тридцатые годы, мы видим в Пушкине растущее религиозное чувство, отразившееся в ряде знаменитых стихотворений, в его прозаическом творчестве, в его дневниках и письмах. В отличие от Гершензона С. Л. Франк ставит в своем этюде вопрос не о религиозном духе и тематике в творчестве Пушкина, а о самой сущности религиозного мировоззрения поэта, как оно отразилось в его произведениях. В своем исследовании «Мудрость Пушкина», которое С. Л. Франк расценивает как «образец невыносимой искусственности», Гершензон не поставил вопроса об эволюции и развитии религиозных взглядов поэта и ограничился неполным анализом религиозных образов в его творчестве. Это привело Гершензона к произвольному и упрощенному пониманию религиозности Пушкина как чего-то первобытно-элементарного — в своем религиозном мировоззрении Пушкин, если верить Гершензону, не пошел далее «трепета перед таинственным» и, в этом смысле, он сродни иранским охотникам, вера которых ограничивалась самым общим деизмом. С. Л. Франк в своем этюде «Религиозность Пушкина», которым открывается сборник, опровергает это утверждение Гершензона. Проблема веры и неверия интересовала Пушкина, прежде всего, как интеллектуальная проблема. С. Л. Франк отмечает, что Пушкин как в молодости, так и в зрелом возрасте, расценивал атеизм как примитивную установку ума, склонного идти по линии наименьшего сопротивления. В известном письме из Одессы, написанном в 1824 г., письме, на которое любят ссылаться те, кто стремится изобразить Пушкина атеистом, поэт пишет, что его «учитель афеизма», англичанин Гетчинсон, «единственный умный афей, которого я еще встретил». В 1828 г. Пушкин пишет: «Не допускать существования Бога, значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге». Но, разумеется, интеллектуальное признание необходимости бытия Божия не есть еще живая религиозная вера, дыхание которой чувствуется в творчестве великого поэта. Анализируя различные формы проявления религиозности Пушкина в его произведениях, С. Л. Франк находит основу пушкинской религиозности в восприятии поэтом художественного творчества как служения Богу. Сама поэзия есть молитва («мы рождены... для звуков сладких и молитв»), нашедшая совершенную форму художественного выражения. Трагедия не может быть всесильной, если сердце не утратило способности касания «мирам иным», если в человеке жив дух подвига и жертвы. Слова «Божество» и «божественный», по мысли С. Л. Франка, не являются для Пушкина поэтической метафорой: они свидетельствуют о религиозном реализме поэта. Совершенство Творца почило на творении и отразилось в нем — в грозном дыхании бури, в величии кавказских гор, в красоте женского лика...

Можно еще добавить: религиозности Пушкина присуща надежда («...и с Богом он снова отправился в путь»). Трагедия не всесильна, ад не царствует вечно, хотя тень его и лежит над миром. Поэтому поэт и может сказать: «печаль моя светла». Истинная вера немыслима без надежды, она движется и согревается ею, по слову французского поэта Шарля Пеги: «Маленькая девочка Надежда... Кажется, что ее ведут за руки ее большие сестры — Вера и Любовь — но, в действительности, она ведет их...»

Очень тщательно разбирает С. Л. Франк вопрос о политическом миросозерцании Пушкина и приходит к выводу, что Пушкин проявил себя как политический радикал только в период кишиневской ссылки. С годами в Пушкине все более крепнет государственное сознание, которое к 1830 году приобретает ясную форму умеренного консерватизма. Пушкин до конца своих дней остался верен требованию свободы культурного развития, и только в этом смысле его можно причислить к либералам. Для поэта были очевидны недостатки самодержавия, но власть бунтующей толпы, торжество грубой силы над принципами права и порядка были ему просто ненавистны. С. Л. Франк приводит слова Пушкина (по воспоминаниям А. О. Смирновой): «Разумная воля единиц или меньшинства управляет человечеством. В сущно-

сти, неравенство есть закон природы» и мысли поэта о демократии: «С изумлением увидел демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все, возвышающее душу человеческую, подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству, большинство, нагло притесняющее общество...»

Эти слова «умнейшего человека России», в достоверности которых нет оснований сомневаться, написаны задолго до Леонтьева («о треклятый прогресс! о подлое равенство!»), до Бердяева и Ортега-и-Гассета. Значение этих слов сейчас, несомненно, еще более актуально, чем тогда, когда они были произнесены...

Заканчивая этот краткий обзор книги С. Л. Франка, хочется выразить благодарность семье покойного философа, которая собрала «Этюды» в отдельную книгу и переиздала их. Неизбежный недостаток таких изданий — наличие некоторых повторений, объясняющихся тем, что этюды были написаны в различное время и появлялись отдельно — не снижает ценности книги, которой суждено войти в обширную, но не однородную, а подчас и тенденциозную, литературу о Пушкине.

К. Фотиев

„Марьянка"

Мне как-то давненько не доводилось читать Леонида Зурова. Правда, последняя его книга вышла чуть ли не двадцать лет тому назад. Поэтому новая, хорошо изданная книга его рассказов, частично уже появлявшихся в печати, доставила мне особое удовольствие уже самым фактом выхода русской печатной книги в наше столь скудное на издания время.

По мере чтения удовольствие мое, всё усиливаясь, стало настоящей радостью: передо мною находилась очень добротная, целостная, несмотря на большое разнообразие содержания рассказов, книга, написанная к тому же совершенно особым, я сказал бы, иконописным языком, прозрачным, как северная природа, в которой происходят почти все рассказанные Зуровым события, и исполненным той благодати, которая чарует нас в картинах Васнецова, Нестерова или Рериха.

Все рассказы, собранные в книге, както особо рельефно выявляют облик их автора и живо воссоздают атмосферу озерного Новгородско-Псковского края, сохранившего до последних лет перед революцией, а отчасти, видимо, и позже (ряд рассказов происходит уже во времена господства в остальной России новых ее хозяев) свой исконный, кондовый характер. Здесь люди поступают проще и решительнее, перенося и горе свое по-особенному, затаеннее, но, вероятно, и глубже, чем там, где оно сразу переходит во внешнее свое, видимое простым глазом преображение.

Особо характерным является «сказ», как, пожалуй, правильнее всего назвать рассказ «Обитель», о Печерском монастыре, который автору «с артелью мастеров каменного дела» довелось в 1935 г. реставрировать. Повествуя об этом монастыре, видавшем князя Курбского, царя Ивана Васильевича, осаду Батория, венгерские пушки и самого Петра, «захватившего себе на дорогу в Европу в 1697 г. в монастыре муки и псковских ржаных сухарей», Зурову удается дать почувствовать читателю всю глубину его слов, когда он пишет: «от ветра, грусти, любви, от приливающих чувств влажными становились глаза, и все было для меня родным и понятным, словно сердце всегда жило здесь, и я со всеми отошедшими жил по-сыновьи».

Как хороши строки автора о монастыр-

Леонид Зуров. Марьянка, Париж, 1958 г.

ском колокольном звоне: «Вот ударил часовой колокол — какая древность, какой великой торжественности и печали падает звук и, падая, не умирает, а медленно стекает с колокольных краев, мягко расходясь, заполняя закрытый крепостными стенами овраг. Потом мелкие колокола неторопливо бьют перечасие... Как незыблем ночной воздух, как таинственно и чудно на монастырских полях»...

Свою близость к земле, к родным краям Зуров с большой силой выразил и в другом рассказе — «Дозор», волнующем, хватающем за сердце. В сдержанных словах передает Зуров драму владельцев усадьбы, вынужденных после войны, чтобы избежать насилия и возможной смерти, покинуть насиженные поколениями места. Расположенные к хозяевам мужики предупреждают их о предстоящем налете, о котором толковали уже в волости, о неизбежном погроме, решенном мужиками под влиянием покинувших армию дезертиров. Сын владельца, сам только что вернувшийся с фронта, обходя в последний раз в ожидании грозного часа сад и тщетно задавая себе вопрос: «За что?» — «чувствовал радость бревенчатых стен, что хорошо держат принесенное с дровами тепло, согретую снегом крышу, благословение висящих образов, благость несущего хлеб стола, чистоту первозданного неба, прелесть окружающих дом яблонь...» К ночи, когда все вымерло, по подлесному пути, по бездорожью тронулась семья, как тати, в путь.

Как крепка вера в «исцеляющую силу полей» крестьян, возвращающихся с войны в рассказе Зурова «Встреча». Но тяга их домой, на родные места, наталкивается на недоверие тех, которые оставались дома и даже не узнают возвращающихся. Так, баба из деревни, встреченная солдатом, недоуменно его спрашивает: «Ведь ты же молодым на войну пошел?» и, на ответ его: «Молодым», со вздохом говорит: «Большим стариком ты сделался».

Зуров хорошо знает крестьян, умеет подмечать их навыки и особенности. Как картинно повествует он, например, о том, как бабы внимали у ворот вечерним песням казаков: «вольно по-бабьи, распустив себя, чтобы лучше слушать, не упуская мужских голосов, слушая всем своим телом...» Как искренне написан рассказ «Марьянка», по которому названа книга, печальная и короткая повесть о большой любви крестьянской девушки, оборванной неожиданной смертью сброшенного конем шляхтича. Как волнует судьба вольноопределяющегося Кожухова — «Павловский парк», — зря собою пожертвовавшего на подступах к Нарве, откуда напирали большевики. Сердечно написан и короткий рассказ «Партизанская могила». Зуров в нем высказывает свое убеждение, что ненависть, порожденная «осужденными народом страшными годами», пройдет, а любовь и печаль на веки останутся.

Рассказ «Гуси-лебеди»: Зуров был свидетелем, как летевшая было на Юг стая гусей, испуганная каким-то неожиданным шумом, смешалась и потеряла свой строй. Тогда, видя их беду, сероглазая, с не сошедшим еще летним загаром крестьянка, в суконной расстегнутой солдатской куртке и мужских сапогах, с помолодевшим внутренней доброй крестьянской красотой, словно изнутри осветившимся лицом, подняла голову к гусям и стала скороговоркой повторять: «Гуси-лебеди, путь-дороженька — шелковый пояс!» И, как бы вняв ее словам, гуси выровнялись и снова с радостным криком полетели своим «греческим, священным углом...» Желанием крикнуть такой, от предков унаследованный призыв-заклинание, способный возродить «неведомое счастье над русскими полями», полна душа Зурова, насыщенная воспоминаниями о «широко открытой ветрам русской бедности», о просторах, которые, как он сам говорит, ему, вероятно, не суждено больше никогда снова увидеть.

Александр Шик

Три книги о борьбе за свободу

К концу Второй мировой войны сотни тысяч русских людей стояли с оружием в руках на стороне немцев.

Как это могло случиться и что побудило их к этому?

Наверно никогда не удастся установить точно, где и когда на всем протяжении восточного фронта первые русские люди вступили в ряды немцев, как и не установить, когда и кем были формированы первые русские части. Это был акт, вытекавший, с одной стороны, из тяжелого положения немцев и необходимости укрепить расшатанный фронт, с другой стороны — из надежды русских людей найти честную помощь у немцев в борьбе за освобождение России от коммунизма.

Гитлер своей преступной политикой и методами сделал всё, чтобы оттолкнуть естественных союзников, вместо того, чтобы оказать им помощь и поддержку.

Но среди самодовольных и переоценивающих себя немцев были и одиночки, которые с открытой душой шли навстречу русским, понимая их чаяния и честно стараясь поддержать их стремления.

Были немцы, которые безбоязненно боролись за русские интересы, всячески содействуя созданию русской армии, единственной целью которой было свержение советской системы.

Первое формирование русских антибольшевистских частей происходило на восточном фронте, неофициально, по личной инициативе немецких военных и втайне от немецкого Верховного Командования.

Вспоминая о преданных друзьях, нельзя не упомянуть и графа Штауфенберга, ревностного сторонника русского дела, казненного после покушения на Гитлера в июле 1944 года.

И когда, наконец, началось официальное формирование армии Власова и было создано главуправление казачьих войск — предвестники роковой развязки уже стояли у порога истории.

Тысячи русских людей пошли на мученическую смерть во имя свободы. Немцы же, помимо поражения на всех фронтах, потеряли, благодаря своей безрассудности и ненасытности, драгоценного союзника в борьбе против большевизма.

Победители — западные державы-союзники — в свою очередь вселили недоверие в сердца русских людей к западу, выдав на расправу большевикам борцов за свободу.

Да не будут же эти страшные годы смертей и мук пережитыми напрасно! Да послужат они семенами большого понимания, человеколюбия и человечности для настоящего и будущих поколений.

Три автора — три книги. И в каждой из них речь идет о казаках, их геройстве и любви к родине и о том неслыханном обмане, жертвой которого стали сыны великой России.

Первый автор — первая книга.

Трагедия на Драве
Свобода, которую предали

Иосиф Мацкевич — писатель из польской эмиграции рассказывает о великой трагедии, о борьбе за свободу, кончившейся гибелью храбрых на Драве. Мацкевич рассказывает о том, как «христианский» Запад предал в руки советским палачам свободных сынов великой страны.

Автор рисует полную контрастов и местами апокалиптическую картину событий. Язык Мацкевича богат, он находит своеобразные сравнения:

... и проволока ржавела, как желтеют осенью сорные травы.

Вот один из контрастов: ... Катенька, лошадь кавказского генерала, получила приз на скачках, устроенных англичанами. Это было в те дни, когда в Москве вешали генералов, участников освободительной борьбы...

Мацкевич подчеркивает парадоксальность явления Второй мировой войны, в которой «капиталистический» Запад стал союзником большевизма.

И далее — среди массовых перемещений единственным добровольным пере

Josef Mackiewicz. „Tragödie an der Draua“ oder „Die verratene Freiheit“. Bergstadt Verlag, Wilh. Gottl. Korn, München 1957.

движением было бегство целых народностей от большевизма.

Судьба казачьей семьи Кольцовых, описанная на страницах романа, является иллюстрацией сказанному.

Митя, сын старика Кольцова, поступает в кадетский корпус. Революция 1917 года. Эвакуация школы в Одессу. Голод, тиф. 1920 год. Школу отправляют в Румынию. Но румыны отказываются принять беженцев, и детей-кадет гонят обратно на ту сторону — к большевикам. Митя попадает в шайку беспризорных. Облава. Его отсылают в лагерь для несовершеннолетних. И вот Мите 21 год. Он стал агрономом. Но жизнь за эти годы переменилась. Она стала серой и бесцветной, точно покрытой плесенью. Страх владеет всеми. Страх и мысль: выжить! во что бы то ни стало — выжить!

Митя стал человеком нового типа: без предрассудков, без пережитков старого. Но об одном он старается не думать — о семье. В числе социально опасных элементов арестовывают и Митю как бывшего беспризорного. После его выхода на свободу за ним ведется наблюдение. Ведь невинно осужденный всегда может обернуться врагом. Но Митя начеку. Он запретил себе не только громко высказывать свои мысли, но и иметь их.

И вот Митю опять постигает беда. Услыхав о Павлике Морозове, он не в силах сдержать своего возмущения. На него доносят, и его приговаривают к 15 годам концлагерей. Жена добивается развода. И снова годы голода, холода, непосильной работы и издевательств.

Мать и сестра Мити погибли во время гражданской войны. Их сожгли живьем в хате. Старик Кольцов, сжимая кулаки, беззвучно шепчет: «Доживу до иных, до лучших времен!» (Его убивают впоследствии ударом приклада по голове во время насильственной выдачи англичанами казаков).

Война 1941 года. Ее ждут как освобождения. «Если антибольшевизм 1917 года, — пишет автор, — был представлен интеллигенцией, то освободительное движение 1941/44 годов было движением масс. И оно увенчалось бы успехом, большевистская власть была бы свергнута, если бы Гитлер своими методами и своей эгоистичной политикой не сорвал его». Так, например, поведение гауляйтера Коха на Украине граничило с провокацией в пользу большевиков.

Митю реабилитируют. «Митя, — говорит старик Кольцов, при встрече с сыном, — слышишь ли ты музыку?»

Далеко, далеко, с запада, из-за Донца, прерываемый воем ветра, доносился грохот орудий...

Так оно началось. Поднялись казаки Терека, Дона, Кубани, поднялись черкесы, карачайцы, балкары, осетины, дагестанцы, кабардинцы, ингуши, чеченцы, азербайджанцы и грузины. Поднялись народы для крестового похода против врага Родины — против большевизма.

Их кормили туманными обещаниями, их обнадеживали, — но проходило время, и рушились надежды. Вместо крестового похода против большевизма россиян посылали сражаться на разных фронтах Запада.

Но вот началось отступление немецкой армии. Вместе с ней потянулся на запад поток людей, не желающих вновь попасть под коммунистическое иго.

Немецкий фронт разваливается все более и более. И вот, «без пяти двенадцать», Гиммлер решается пересмотреть свой взгляд на «унтерменша».

Начинается активизация Власовского движения. 31 марта 1944 года подписывается разрешение на создание главуправления казачьих войск.

Май 1945 г. Дни великой скорби и неслыханного предательства.

И тут автор в правдивых простых словах вновь развертывает перед нами трагедию русских людей и историю величайшего обмана, при воспоминании о котором содрогается душа и должны краснеть от стыда ее зачинщики.

Это самые сильные, самые захватывающие места в книге Мацкевича. Картина, воистину, апокалиптическая. На этих страницах книги Мацкевич воздвиг памятник убиенным и погибшим, принесшим себя в жертву высшему идеалу человечества — *свободе*.

Дальнейшая судьба Мити, Дмитрия Александровича, которому удалось избегнуть выдачи и спастись бегством, проста. Вспомнив о своих знаниях агронома, он обосновывается во Франкфурте и

становится садовником. Сидя в кругу друзей, он вспоминает пережитое. Старый, весь в морщинах, казак рассуждает: «Не люди виноваты, виновата система. В этом, друзья мои, вся моя философия!»

Второй автор — вторая книга.

Они искали свободу

Двингер — хороший рассказчик. Он любит Россию, в его словах — несомненная искренность, хотя местами, как и в большинстве его книг, чувствуются некоторая нарочитость и рутина, известная сентиментальность и романтическая прикраска.

Первые годы Второй мировой войны. Немецкие части стоят на Кубани. Автор ведет нас по пути кубанских казаков и атамана Кулакова, от полных светлой надежды дней до трагического конца.

Они искали свободу, а их встретила смерть. Они решили сами лишить себя жизни, чтобы не потерять ее на закабаленной родине, они предпочли смерть репатриации.

Атаман Кулаков, долгие годы скрывавшийся от коммунистической власти в балке, решается после прихода немцев покинуть ее. Настал долгожданный час борьбы за освобождение родины. Трогательно его свидание после долгих лет с конем. Это уже не тот Мазепа, на котором он мчался когда-то в бой, но все же это отпрыск того же славного рода. Рядом с Кулаковым — Акулина, верная и преданная до последнего часа жена.

Вот Кравчуновский, молодой русский доброволец в немецкой части. Ради спасения горячо любимой жены Нины он поддается угрозам коммунистов-партизан. Его мучает совесть, раздирают сомнения, он не способен на предательство — и дает свое согласие партизанам добыть оружие только с целью выиграть время. Но случайность губит его, и чистосердечное признание уже не может его спасти.

Вот что говорит Кравчуновский немцам (и не говорили ли это в его лице тысячи и тысячи?) ... Вы хотите использовать нас для своих целей, но вы не хотите нам дать того, за что, единственно, мы пошли за вами ...»

И не прав ли он стократ, когда признается немцу Нетолинскому, пришедшему уговорить его бежать из тюрьмы: «Я не могу так пойти с вами, я познал вашу преданность и дружбу, но мне нужна и ваша справедливость».

Напрасно стараются его спасти Нетолинский и другие немецкие друзья. Дело Кравчуновского, казавшееся вначале легко разрешимым недоразумением, попав в неумолимую машину бюрократизма, обернулось смертным приговором.

Но не только во имя спасения Кравчуновского борются его друзья, пишут они прошение за прошением. Они борются и во имя сохранения собственной веры в справедливость и человечность.

Вот немцы: старый полковник Вагнер. Он говорил: «... Мы не ведем войну против России, но против большевизма. Россия непобедима — большевизм победим».

Так говорил и думал полковник Вагнер. Но как больно и горько пришлось ему и многим другим впоследствии разочароваться. Перед их глазами все больше и шире раскрывалась пропасть, в которую неудержимо катилась их родина, увлекая за собой в своем падении и близких сердцу Вагнера доверившихся ему казаков.

На стороне русских людей стоят и Нетолинский, друг Кравчуновского, старший лейтенант Франкенштейн и старый «отец» Гезель, заведующий хозотделом. Гезель, как и Вагнер, исполнен пониманием несчастья русских и честным желанием помочь, но бездушная, безумная политика Гитлера связывает им руки.

Гезель всячески старается увернуться от многочисленных суровых распоряжений и требований своего начальства и облегчить жизнь людей на вверенном ему участке. Ему помогает старый еврей, в уста которого автор вкладывает слова вечной мудрости и человеколюбия.

Набожный старик кончает свою молитву рыдающим воплем: ... «За все наши прегрешения, о Бог прощения, прости нас!»

Этого еврея и всю его семью спасают

Edwin Erich Dwinger. „Sie suchten die Freiheit". Pilgram Verlag, Salzburg.

и скрывают при отступлении Гезель и его друзья.

Но автор показывает нам и других немцев. Они, — представители «херренфолька». Своим бахвальством и наглым поведением, пренебрежением к другим людям, жестокостью ко всем, кто осмеливается придерживаться других взглядов, они вызывают не только злобу и возмущение, но, больше того, презрение.

Из станицы на Кубани, через Тамань и Перекоп, кубанцы попадают в Югославию и, наконец, в Италию. Потрясающи сцены мести и расправы, боев с партизанами. Удивительно сильно дана последняя битва Кулакова, поспешившего на помощь Паннвицу. Это — лебединая песня конницы, бросившейся со страстным воодушевлением в бой против врага, вооруженного всеми средствами механизации современной войны.

Последний этап. Лиенц, долина смерти. О ней все сказано двумя скупыми словами: «Замолкли песни». Кулакова требуют на допрос к англичанам. Он молвит вещие слова: «... Пройдет время, и вы прозреете ...»

Настал последний час. Ползут по улицам советские танки. Толпа обреченных — репатриированных — тянется по дороге — на родину, где их ждут неволя, беспощадность, смерть! Среди них Паннвиц, оставшийся верным своим любимым казакам — до конца.

Кулаков и его офицеры кончают самоубийством.

Как сказал немецкий унтер-офицер Нетолинский:

«... Мы не смеем поднять головы, пока не исчезнет последнее из учреждений насилия. До тех пор нам должно быть стыдно, стыдно, стыдно — за себя и за других! ..»

И, наконец, третий автор и третья книга.

«Дорога в вечность»

Не вчера ли это было?

1943 год. Новочеркаск. Ростов-на-Дону. Сталинград. Переживаешь снова памятные дни ожесточенных битв, за ходом которых следили с волнением и русские и немцы. Ведь поражение немцев под Сталинградом, гибель шестой немецкой армии означали для тех, кто с надеждой на победу и лучшее будущее Родины дрались плечом к плечу с немцами, — возврат ненавистного режима, расправу и новое, еще более жестокое порабощение.

Забываешь, что перед тобой книга, такими близкими кажутся эти люди, такими давно, давно знакомыми. Они говорят простыми, не книжными словами. Болеешь их горем, радуешься их радостям, плачешь их слезами и вместе с ними смеешься их шуткам.

Как бесконечно нежна любовь немца Штекендорфа к прелестной жене товарища — казака Коли Галдина, как глубоко правдиво его отречение от любимой женщины. Долг и товарищество победили страсть и запретное чувство. Как понятен Коля Галдин в своей едва сдерживаемой ненависти и ревности и как тиха и примирительна его смерть героя.

Но рядом с этой любовью встают грозные образы, шагает война, и от ее смертоносного дыхания гибнут лучшие сыны Дона, алеет снег от крови храбрых. Мчатся со впалыми глазами всадники Апокалипсиса, развеваются их красные мантии, и под широким взмахом их косы погибают не только полки и армии — нет, умирают и женщины, и дети.

Пал смертью храбрых Коля Галдин. Ввиду надвигающейся на Новочеркасск опасности, Штекендорф прощается с Наташей. Прощается навсегда. Теперь он — только солдат.

Солдат. Разве солдатом можно быть только на фронте? Не все ли мы солдаты? Солдаты жизни. И не стоит ли перед всеми нами долг сражаться за свободу и правду — этот вечный закон духа. Что же нам делать? Да, быть настоящими солдатами — прожить жизнь так, чтобы в час смерти подпись наша под нею была бы чиста.

Книга полковника фон Фореля читается с захватывающим интересом, и ее нельзя отложить, не дочитав до конца. Это — книга честного и порядочного человека, вполне отдающего себе отчет в ответственности тех своих соотечественников, которые должны были бы стать освободителями томящегося под игом

Fritz von Forell. „Sie ritten in die Ewigkeit". Deutscher Heimatverlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld-Bethel 1957.

коммунизма великого народа, но... задачи своей не выполнили.

Автор говорит устами полковника Грунвальда:

«...К казакам нельзя относиться, как к прусским гренадерам. К ним нужно подойти с открытым сердцем, уважая их. Знайте, что мы можем положиться на них...»

И далее: «...Что будет, если фронт развалится? Казаки, вынужденные бежать, покинуть родину, проклянут нас, назовут предателями. И они будут правы... Только представить себе, что они будут затянуты в этот адский круговорот! Сердце мое сжимается при одной мысли об этом. Кто позаботится о них? Их дорога ведет к смерти, и вина — вина за это ляжет на нас...»

Немцы отступают. Казаки покидают свой тихий Дон — они на дороге в неизвестность. И вот, через два с половиной года, в Австрии их настигает трагический конец. В последний раз полковник Грунвальд старается спасти их, объясняя англичанам весь ужас, всю безысходность их положения. Он наталкивается на холодное недоумение и непонимание. Грунвальд восклицает с дрожью в голосе:

«...Этого не может быть! Вы не можете этих людей, которые боролись за свободу и во имя ее принесли бесчисленные жертвы, вы не можете их выдать большевикам. Вы не можете обагрить руки их кровью. Неужели вы, представители свободного народа, хотите взять на свою совесть смерть или ссылку в Сибирь тысяч и тысяч людей?..»

А потом случилось то, что Верховное командование западных союзников вряд ли могло хотеть или предвидеть. В Лиенце, в Платлинге, в Римини, в Дахау, в Шпителе и в других местах разыгралась величайшая трагедия людей, погибших потому, что они больше всего в жизни любили *свободу!*

М. Шведова

„Поющая книга"

В романе А. Толстого «Аэлита» (неудачный в целом, он все же — в частностях — не лишен пророческой «космической» поэтичности) главный герой инженер Лось в полуразрушенном марсианском доме находит странную книгу и, разворачивая ее, видит бегущие со страницы на страницу разноцветные геометрические фигуры. Рассеянным взглядом инженер следит за ними, и вдруг в ушах его начинает звучать ниоткуда не исходящая музыка.

Таких «поющих книг» у нас на Земле, конечно, нет, но есть поэты, у которых вне формальной стихотворной «фактуры» чувствительному читателю слышатся такие же неизвестно где зарождающиеся звучания, ничего общего не имеющие с «музыкой стиха» в собственном смысле этого слова (т. е. с льющимися «л», свистящими «с», шипящими «ш» и «щ», раскатами громовых «р» или с поющим чередованием открытых гласных («по вечерам, над ресторанами»...).

Всего чаще и всего настойчивее звучит «марсианская музыка», конечно, у Лермонтова (Великий Пушкин ее, обычно, лишен).

> Есть речи — значенье
> темно иль ничтожно,
> но им без волненья
> внимать невозможно...

Если читать эти стихи без напора, без декламации, с тем рассеянным полувниманием, с каким инженер Лось рассматривал марсианскую книгу, — где-то в стороне и от автора, и от читателя возникает таинственная музыка.

В эмиграции, где очень любят говорить о «подлинной поэзии» как о чем-то необычайно тонком и возвышенном (никогда, кстати, его не определяя), чрезвычайно (и не всегда по заслугам) вознесен как раз поэт, который строит свои стихи

В. Смоленский. Собрание стихотворений, Париж, 1957.

с циркулем и линейкой и всякое в них значение подымает до предельно доступной ему ясности и темен бывает только тогда, когда сам этого хочет. Именно поэтому он с такой пронзительной очевидностью выразил эмигрантскую «погибель» и безнадежность ее «торжества», но — несмотря на чрезвычайно частое и настойчивое упоминание о музыке — лермонтовских звучаний «тонкой наукой» своего стиха создать не мог.

Если принять, по Герцену, что для русского человека эмиграция — не жизнь, и не смерть, а хуже смерти, то темы, на которые «раскладывается» этот не слишком глубокий афоризм (т. е. «катастрофа» как начало, «погибель» как дление и «торжество» как мечтаемый выход), с болезненной настойчивостью повторяются у всех подлинно эмигрантских (а не просто случайно живущих в эмиграции и случайно пишущих по-русски) поэтов: и у трижды вознесенного Г. Иванова и у значительно менее почитаемого критиками В. Смоленского. У последнего нет ни экзистенциалистской афористичности, ни интеллектуально-цинической беспощадности, ни способности в острые, как экстракт кайеннского перца, образы укладывать историю и социальность грозовых и предгрозовых лет России — но зато за стихами Смоленского, часто не безупречными, слышатся звучания, которым действительно без волненья внимать невозможно:

Вся жизнь твоя глубокий, долгий сон
души, что спит в тугих объятьях тела ...
Она давно проснуться бы хотела,
но сон глубок и ночь со всех сторон ...

Все это уже было сказано по-разному и не один раз. Ни особых глубин, ни особых проникновений автор к созданному предшественниками не добавил и все-таки — как бы независимо от содержания, эти строки, словно марсианская книга, заполняют сознание неуявимым и каждый раз как будто по-новому звучащим очарованием. В. Смоленский убеждает не тем, что ему удается сказать, а как раз тем не выраженным (или даже невыразимым), что, как странные тени на стене знаменитой платоновской пещеры, — маячит за его стихами. Те, будто бы «вечные», темы любви и смерти, которым, как хочется верить автору, он верно служит, по счастью для него самого довольно прочно увязаны не только с таинственным «надбытием», но и с повседневной современностью:

Как летящая из сил последних птица
посредине ледяного океана,
с верной смертью продолжает биться
средь ветров, и стужи, и тумана.
Как она должна свое дыханье
с силою своею соразмерить,
чтоб в себе преодолеть желанье
больше не бороться и не верить ...

Трудно представить себе более точный и в то же время более «вознесенный» образ эмигрантского «погибания» и ее большей, чем сама смерть, жажды конечного «торжества»! Две последних «нацеленных на вечность» строки —

...Так и ты, душа, должна стремиться
к берегам своим недостижимым —

— как и всё нарочито «вечное» падают в безразличие, и на фоне неуявимой музыки трагической тенью реет только одна эта удивительная птица нашей судьбы ... И нужды нет, что формально пьеса не вполне на высоте: — долженствующая быть периодом, она дважды ломает конструкцию: «как» в первой и во второй строфе не расположены по одной и той же восходящей смысловой линии, и стоят словно бы под углом друг к другу, вопрос «что» в третьей строфе еще раз сдвигает смысл. При добром желании можно видеть нарочитость в ломаном рисунке вещи: трагичность ужасного полета «в никуда» еще более подчеркивается. Думается, однако, что В. Смоленский не нуждается в таком снисхождении ... Гораздо бесспорнее в смысле сделанности другое «претворение» эмигрантской драмы:

Закрой глаза, в виденьи сонном
восстанет твой погибший дом —
четыре белые колонны
над розами и над прудом ...

Именно своей дворянской трафаретностью эти «четыре белые колонны»

упираются в какую-то «субстанциональную» подпочву эмигрантской трагедии, и это ощущение усиливает под другим углом зрения совершенно неправдоподобная Россия, которая «за балконом как ямб торжественный звучит». (Даже насквозь декадентский Бальмонт был все-таки ближе к правде — «есть в русской природе усталая нежность...» и т. д.). Однако если вспомнить «потешную красивость Марсовых Полей» у Пушкина, становится ясно, какую Россию имеет в виду Смоленский. Это опять все те же «четыре белые колонны» — чиновничье-дворянский миф об Империи... Заканчиваются звучные и, для очень многих читателей в эмиграции, пронзительные «стансы» риторической «розой с бессмертием», которой предшествует все же очень интересная исповедь:

а рядом мальчик черноглазый
прислушивается: к чему —
не знает сам...

Именно то, что поэт «не знает сам» — ему больше всего удается. «Стихи о России», в которых Смоленский пытается «знать», самые неудачные в сборнике. И хоть автор ставит себе весьма высокую задачу:

...за молчащих говорить
о жалости безжалостному миру... —

это ему плохо удается. И даже — в наивысшем достижении («Ты в крови, а мне тебя не жаль») он не глубок и фельетонен. Лермонтовской — «марсианской» — музыки, разумеется, нет и в помине. И тут сказывается основное различие двух эмигрантских поэтов: то, что хочется Г. Иванову сказать о современности, он умеет выражать с предельной, стальной точностью. Проявление этого блестящего, гибкого и острого, как шпага, интеллектуального поэтизма — потрясающий «Лунатик», например:

Расстреливают палачи
невинных в мировой ночи —
не обращай вниманья.
Гляди в холодное ничто,
в сиянье постигая то,
что выше пониманья...

Очевидно в «Лунатике» есть нечто от образа современного Человечества, потому что и В. Смоленский пишет на ту же тему одно из наиболее для себя характерных «поющих» и раскрывающих нераскрываемое стихотворений:

В полночный час, когда луна
дрожа от холода и боли
в голубоватом ореоле
всплывет у твоего окна,
когда дрожащие лучи
раскалены небесным хладом
бесшумно поплывут в ночи,
чуть слышно зазвучат над садом,
тогда, сквозь сон и тишину,
в глухой тоске, в тревоге давней
ты тихо подойдешь к окну...

Удивительная картина лунной ночи, наполненная звучанием и движением, как будто не на земле берущими свое начало! Как будто после чудесного улова в прочной сетке стихов «дрожа от холода и боли» и чуть слышно звуча блистанием радужных крыл, бьется какое-то существо с неведомой планеты — не то бабочка, не то птица, не то ангел. И душа читателя «в глухой тоске, в тревоге давней» затаивает дыхание, боясь, как бы не спугнуть непрочный мираж. Именно за такие минуты неопределимого очарования можно простить Смоленскому и его конструктивные несовершенства, и одержимость страхом смерти, и навязчивую идею собственной «хрупкости» в нашем невыносимом мире, и нелюбимые любови, и бесчисленных ангелов, превратившихся у поэта в своего рода домашнюю птицу, и — даже — стихи о России: творцов, переносящих нас хотя бы на мгновение по ту сторону того, «что выше понимания» в материалистическом веке уже почти не осталось.

С. Рафальский

Об отверженных

Уже давно установлено, что в послереволюционное время значительно увеличилось количество книг так называемого мемуарного содержания. Оно и неудивительно. Эпоху мы переживаем бурную, на авансцену истории вышли широчайшие народные массы, глубоким плугом прошли по жизни политические и социальные катастрофы, судьбы отдельных людей то причудливо взметались вверх, то так же причудливо, а чаще трагически, обрушивались вниз. Мемуары писали и те, кто имел что рассказать о прошлом, и те, кто хотел понять и осмыслить эпоху, и те, кто своими мемуарами хотел в изгнании заработать на хлеб насущный...

Но в общем потоке зарубежной мемуарной литературы хорошо заметна особая струя: это книги о виденном и пережитом в *советских местах заключения*. Эти книги только условно можно назвать мемуарными — авторы их еще не подводят жизненных итогов. Кроме того, эти книги написаны отнюдь не в тоне эпического спокойного повествования, наоборот. И все-таки мы назовем их мемуарами, так как они излагают факты, преломленные в сознании и в субъективном опыте их авторов.

К числу таких произведений относится и аннотируемая нами книга. В ней автор-заключенный рассказывает свою личную историю, переплетенную с тысячами историй других советских заключенных. Будем откровенны — за книжку мы брались с некоторым предвзятым мнением. Можно было предполагать, — и с полным правом, — что автор кое-где впадает в мелодраму, а то и просто сфальшивит. Это предвзятое мнение скоро рассеялось: книга написана искренно, с большой авторской честностью, читается с неослабеваемым взволнованным интересом. Вопреки естественному и понятному стремлению каждого автора несколько себя выделить, Трегубов остается скромен, а местами и подтрунивает над самим собой.

Перед нами мир «отверженных». Не тех отверженных, о которых в свое время писали Достоевский, Чехов и Дорошевич. Отверженные советского режима — это особое общество, совершенно отрезанное от внешнего мира, это государство в государстве. Там люди живут по особым первобытным законам, где на одном полюсе — неограниченная власть надсмотрщиков и палачей, а на другом — непрерывное страдание и изнурение рабов-илотов.

...И еще можно назвать этот мир отверженных с их управителями — мрачной пародией, кривым зеркалом возвещенного коммунистического рая.

Становится страшно — неужели всё описанное автором могло существовать и существует? К чему же культура, цивилизация, идеалы — если в нашей России к власти пришла цивилизованная обезьяна и хочет овладеть всем миром?

В известном смысле книга дает ответ на этот мучительный вопрос. Она проникнута оптимизмом (иногда в ущерб драматизму фактов) и она — свидетельство о победе *духовного*. Не сразу, а постепенно и незаметно вдруг убеждаешься, что весь гигантский аппарат принуждения ничего не может сделать с людьми, даже одиночками, если они обладают сильной волей и в душе у них живет Идеал.

Книга Ю. Трегубова, члена НТС, интересна и нужна не только потому, что дает огромный познавательный материал о мире отверженных, об охранительной и карательной системе советского режима, но и потому, что свидетельствует о несгибаемой силе людей идеала, любви к народу и революционной решимости.

Л. Дузинг

Ю. Трегубов. Восемь лет во власти Лубянки, изд. «Посев», 1957.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

(АПРЕЛЬ — ИЮНЬ 1958 г.)

ХРОНИКА

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Речь Н. С. Хрущева на торжественном заседании в городе Будапеште 3 апреля.

«Правда», № 94 от 4 апреля

✳

То же, на митинге в Будапеште 4 апреля.

«Правда», № 95 от 5 апреля

✳

Сообщение об изменении в форме одежды военнослужащих Советской армии.

«Правда», № 97 от 7 апреля

✳

Речь Н. С. Хрущева на митинге во Дворце спорта 10 апреля.

«Правда», № 101 от 11 апреля

✳

Об итогах выполнения Государственного плана промышленностью СССР в I квартале 1958 года — сообщение ЦСУ.

«Правда», № 103 от 13 апреля

✳

Сообщение ТАСС о прекращении существования второго искусственного спутника земли.

В Совете Министров СССР. Об увеличении производства мебели для продажи населению.

«Правда», № 105 от 15 апреля

✳

Ответ ЦК ВЛКСМ XIII съезду. Доклад секретаря ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепина. Центральный Комитет КПСС — XIII съезду ВЛКСМ.

«Правда», № 106 от 16 апреля

✳

Обращение участников Всесоюзного совещания строителей, архитекторов, работников промышленности строительных материалов, проектных и научно-исследовательских организаций ко всем работникам строительной индустрии.

О выполнении государственного плана розничного товарооборота в первом квартале 1958 года — сообщение ЦСУ.

«Правда», № 107 от 17 апреля

✳

О порядке проведения контрактации хлопка-сырца в колхозах — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

«Правда», № 108 от 18 апреля

✳

Речь Н. С. Хрущева на XIII съезде ВЛКСМ.

«Правда», № 109 от 19 апреля

✳

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР. О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС — директива партийным организациям.

«Правда», № 110 от 20 апреля

✳

В ЦК КПСС, Совете Министров СССР и ВЦСПС. О переводе в 1958 году на семи- и шестичасовой рабочий день и упорядочении заработной платы рабочих и служащих ряда отраслей тяжелой промышленности.

В Комитете по ленинским премиям в области науки и техники при Совете министров СССР — о присуждении премий. То же в области литературы и искусства.

«Правда», № 112 от 22 апреля

✳

Доклад П. Н. Поспелова на торжест-

венном заседании в Москве, посвященном 88 годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

«Правда», № 113 от 23 апреля

✳

Речь Н. С. Хрущева в Курске 25 апреля.

Сообщение о посещении Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошиловым Польской Народной Республики.

«Правда», № 116 от 26 апреля

✳

Речь Н. С. Хрущева в Киеве 26 апреля.

«Правда», № 118 от 28 апреля

✳

В Совете Министров СССР. О Всесоюзной переписи населения 1959 года, с образцом «Переписного листа» и установлением срока переписи: 15—22 января 1959 года.

«Правда», № 127 от 7 мая

✳

Информационное сообщение о Пленуме ЦК КПСС 6—7 мая с докладом Хрущева Н. С. «Об ускорении развития химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства».

«Правда», № 129 и 130 от 9 и 10 мая

✳

От Президиума Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР — по поводу присуждения ленинских премий 1958 года.

«Правда», № 135 от 15 мая

✳

Сообщение ТАСС о запуске третьего советского искусственного спутника Земли 15 мая.

Речь Н. С. Хрущева на митинге дружбы народов Советского Союза и Объединенной Арабской Республики в Москве.

«Правда», № 136 от 16 мая

✳

В Президиуме Верховного Совета СССР об ответственности хозяйственников по поставкам, с дисциплинарными взысканиями или денежными начетами в размере до трехмесячного оклада заработной платы и возможности привлечения к уголовной ответственности «в случаях неоднократного невыполнения без уважительных причин планов и заданий по поставкам продукции».

Реорганизация главных управлений по сбыту продукции при Госплане СССР в главные управления по межреспубликанским поставкам продукции.

«Правда», № 139 от 19 мая

✳

Первый заместитель Председателя Госплана СССР Лесечко Михаил Авксентьевич назначен Президиумом Верховного Совета СССР Министром СССР.

«Правда», № 142 от 22 мая

✳

Коммюнике о Совещании представителей коммунистических и рабочих партий стран-участниц Совета Экономической Взаимопомощи.

«Правда», № 145 от 25 мая

✳

Коммюнике о Совещании Политического Консультативного Комитета государств-участников Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 24 мая.

«Правда», № 147 от 27 мая

✳

Речь Н. С. Хрущева на VII съезде Болгарской коммунистической партии 3 июня.

Новые правила приема в вузы (сообщение ТАСС).

«Правда», № 155 от 4 июня

✳

Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года.

«Правда», № 159 от 8 июня

✳

Министерство химической промышленности СССР преобразовано в Государственный комитет Совета Министров СССР по химии.

«Правда», № 161 от 10 июня

✳

Сообщение Министерства юстиции Венгерской Народной Республики о судебном процессе Имре Надя и его сообщников. *«Правда», № 168 от 17 июня*

✳

Информационное сообщение о Пленуме ЦК КПСС 17—18 июня — об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов. Постановление пленума ЦК КПСС по докладу Н. С. Хрущева, принятое 18 июня 1958 г.

Пленум ЦК избрал т.т. Подгорного Н. В. и Полянского Д. С. кандидатами в члены Президиума ЦК КПСС.

«Правда», № 171 от 20 июня

✳

Доклад Н. С. Хрущева на пленуме ЦК КПСС 17 июня 1958 г. об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и условия заготовок с.-х. продуктов.

«Правда», № 172 от 21 июня

✳

Тихомиров Сергей Михайлович назначен Председателем Государственного Комитета Совета Министров СССР по химии.

«Правда», № 175 от 24 июня

✳

Пятый съезд уполномоченных потребительской кооперации СССР.

«Правда», № 178 от 27 июня

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Заявление ТАСС по поводу отношения США к одностороннему прекращению Советским Союзом испытаний атомного и водородного оружия.

Ответы Н. С. Хрущева на вопросы корреспондента итальянской газеты «Темпо» Дж. Полоцци.

«Правда», № 92 от 2 апреля

✳

Послание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева Президенту США Д. Эйзенхауэру от 4 апреля.

«Правда», № 96 от 6 апреля

✳

То же — премьер-министру Великобритании Гарольду Макмиллану от 5 апреля.

«Правда», № 98 от 8 апреля

✳

То же — Председателю Совета Министров Французской Республики Ф. Гайяру.

«Правда», № 103 от 13 апреля

✳

Совместное заявление об итогах переговоров между партийно-правительственными делегациями Советского Союза и Венгерской Народной Республики.

«Правда», № 100 от 10 апреля

✳

Памятная записка Советского правительства правительствам США, Великобритании и Франции по вопросу о созыве совещания на высоком уровне с участием глав правительств.

«Правда», № 102 от 12 апреля

✳

Выступление В. Гомулки на IV съезде профсоюзов Польши 14 апреля.

«Правда», № 106 от 16 апреля

✳

Заявление министра иностранных дел СССР А. А. Громыко на пресс-конференции советских и иностранных корреспондентов 18 апреля в Москве — О полетах американских самолетов в Арктике к границам СССР.

«Правда», № 109 от 19 апреля

✳

В Министерстве иностранных дел СССР — встреча А. А. Громыко с послами стран коммунистического блока 19 апреля по вопросам, связанным с подготовкой к совещанию на высоком уровне.

«Правда», № 110 от 20 апреля

✳

Торжественное заседание в Варшаве и речи В. Гомулки и К. Е. Ворошилова.

«Правда», № 112 от 22 апреля

✳

Заседание Совета Безопасности («Пре-

сечь провокационные полеты американской авиации»).

«Правда», № 113 от 23 апреля

*

Обмен посланиями между Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым и Президентом США Д. Эйзенхауэром (от 8 и 22 апреля).

«Правда», № 114 от 24 апреля

*

Обмен нотами между Советским правительством и правительством Японии по вопросу о прекращении испытаний ядерного оружия (ноты от 5 и 24 апреля — Японии и СССР).

«Правда», № 115 от 26 апреля

*

Подписание соглашений между СССР и ФРГ (пребывание А. И. Микояна в Федеративной Республике Германии) 25 апреля в Бонне.

«Правда», № 115 от 26 апреля

*

Памятная записка Советского правительства Правительствам США, Великобритании и Франции по вопросу о созыве совещания на высоком уровне с участием Глав правительств (с заявлениями США от 16 и 24 апреля).

«Правда», № 117 от 27 апреля

*

Заявление министра иностранных дел СССР А. А. Громыко на пресс-конференции советских и иностранных корреспондентов.

Прибытие в Москву Президента ОАР Гамаль Абдель Насера.

«Правда», № 120 от 30 апреля

*

Заявление ТАСС по поводу сообщения министра иностранных дел Норвегии Х. Ланге о наличии в Восточной Германии, Польше и Чехословакии советских ракетно-атомных баз, с опровержением этого сообщения.

«Правда», № 120 от 1 мая

*

Ответы Н. С. Хрущева на вопросы издателя греческих газет Х. Ламбракиса.

«Правда», № 124 от 4 мая

*

Памятная записка Советского правительства Правительству США (аналогичные памятные записки — Великобритании и Франции) от 5 мая.

«Правда», № 126 от 6 мая

*

Заявление Советского правительства по поводу атомных испытаний США в районе Маршаловых островов от 8 мая.

«Правда», № 129 от 9 мая

*

Обмен посланиями между Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым и Президентом США Д. Эйзенхауэром (в ответ на послание от 28 апреля 1958 года).

«Правда», № 132 от 12 мая

*

Заявление Советского правительства по Индонезии.

«Правда», № 135 от 15 мая

*

Совместное заявление о результатах переговоров между правительством СССР и правительством Объединенной Арабской Республики в связи с пребыванием в СССР президента Гамаль Абдель Насера от 15 мая.

«Правда», № 136 от 16 мая

*

Заявление МИД'а СССР по поводу сессии НАТО в Копенгагене.

Нота Советского правительства правительству Японии — по поводу размещения на территории Японии атомного оружия.

«Правда», № 137 от 17 мая

*

Заявление ТАСС против иностранного вмешательства в события в Ливане.

«Правда», № 139 от 19 мая

*

Заявление Советского правительства правительству Италии с предложением заключить договор о дружбе и ненападении на срок в 20 лет.

«Правда», № 142 от 22 мая

*

Заявление МИД'а СССР об отсутствии в Советском Союзе итальянских военнопленных.

«Правда», № 144 от 24 мая

*

Коммюнике о Совещании представителей коммунистических и рабочих пар-

тий стран-участниц Совета Экономической Взаимопомощи.

«Правда», № 145 от 25 мая

✳

Коммюнике о Совещании Политического Консультативного Комитета государств-участников Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Декларация государств-участников Варшавского договора.

Проект пакта о ненападении между государствами-участниками Варшавского договора и государствами-участниками Североатлантического Пакта.

Выступление главы советской делегации Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева на совещании Политического Консультативного Комитета государств-участников Варшавского договора 24 мая 1958 года.

«Правда», № 147 от 27 мая

✳

Обмен нотами между посольством СССР в США и Государственным департаментом США от 19—26 мая.

«Правда», № 150 от 30 мая

✳

Советско-финляндское коммюнике в связи с посещением СССР президентом Финляндии Урхо Кекконеном от 30 мая.

«Правда», № 151 от 31 мая

✳

Обмен посланиями между Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым и Президентом США Д. Эйзенхауэром, 24—30 мая.

«Правда», № 153 от 2 июня

✳

То же, с премьер-министром Канады Д. Дифенбейкером.

«Правда», № 154 от 3 июня

✳

Обмен письмами между Государственным Департаментом США и посольством СССР в США по вопросу об Антарктике, 2 мая — 2 июня.

«Правда», № 155 от 4 июня

✳

Ответ Н. С. Хрущева на письмо сторонников «Движения за ядерное разоружение».

«Правда», № 156 от 5 июня

✳

Послание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева Президенту США Д. Эйзенхауэру.

«Правда», № 157 от 6 июня

✳

Памятная записка Советского правительства от 13 июня Правительству США — о совещании экспертов по атомным взрывам.

«Правда», № 165 от 14 июня

✳

Послание Н. С. Хрущева Президенту США Д. Эйзенхауэру от 11 июня 1958 г.

Предложение советского правительства по вопросам, выдвигаемым к рассмотрению на совещании с участием глав правительств, от 5 мая 1958 года.

Памятная записка посла Великобритании в Москве П. Райли — А. А. Громыко, 28 мая 1958 г.

Проект повестки для совещания на высшем уровне, врученный послом США в Москве Л. Томсоном — А. А. Громыко 31 мая 1958 г.

«Правда», № 168 от 17 июня

✳

Заявление Советского правительства правительству Пакистана.

«Правда», № 170 от 19 июня

✳

Обмен нотами между посольством СССР в Японии и Министерством иностранных дел Японии (от 16 июня и 17 мая 1958 года).

«Правда», № 171 от 20 июня

✳

Совместное советско-непальское коммюнике от 23 июня 1958 года.

«Правда», № 175 от 24 июня

✳

Ответы Н. С. Хрущева на вопросы редактора австралийской газеты «Геральд» Джона Уотерса.

Памятные записки правительства США (от 20 июня) и советского правительства (от 24 июня) по поводу совещания экспертов в Женеве.

Заявление ТАСС по Ливану.

«Правда», № 176 от 25 июня

✳

Памятная записка Советского правительства от 25 июня правительству США по поводу совещания экспертов в Женеве. *«Правда», № 177 от 26 июня*

✳

Нота протеста Советского правительства правительству США в связи с нарушением американским самолетом советской государственной границы.

Памятная записка Советского правительства правительству США по поводу встречи экспертов в Женеве.

«Правда», № 180 от 29 июня

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Е. Р. Романов**
Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**
Редакционная коллегия:
А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко, А. С. Светов.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt Main.

Обращение российского антикоммунистического издательства «Посев»

К ДЕЯТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ ПОРАБОЩЕННОЙ РОССИИ

Доводим до сведения писателей, поэтов, журналистов и ученых, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине из-за партийной цензуры, — что российское революционное издательство «П О С Е В», находящееся в настоящее время во Франкфурте на Майне, предоставляет им эту возможность.

Беллетристические произведения, сборники стихотворений, статей и научные труды могут быть изданы отдельными книгами.

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи принимает редакция журнала литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли «Г Р А Н И».

Политические и публицистические статьи охотно будут приняты в редакцию еженедельника общественно-политической мысли «П О С Е В», голоса российского революционного движения.

Антикоммунистические материалы пропагандного характера могут быть изданы в виде листовок и отдельных брошюр или же использованы в ряде революционно-фронтовых изданий, как, например, в газетах «Вахта свободы», «Правда солдата», «Посев» (уменьшенного формата), сборник «Наши дни».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «П О С Е В»

1. Редакции журнала «Г Р А Н И», газеты «П О С Е В» и фронтовых изданий пропагандно-революционного характера принимают рукописи, подписанные псевдонимами.

2. Вышеназванные редакции, как и само издательство, обязуются немедленно п е р е п е ч а т ы в а т ь присланные рукописи на своих пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту машинки. После перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «П О С Е В» гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чужие руки.

3. Все права на рукописи автор передает издательству «П О С Е В», включая сюда разрешение переводить их на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение дого-

воров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «П О С Е В».

4. Издательство «П О С Е В» обязуется откладывать на имя автора (указанный псевдоним) гонорар в соответствии с установленными в редакциях журнала и газет правилами. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

Примечание: В связи с этим, во избежание возможных недоразумений и затруднений, издательство «П О С Е В» обращается с просьбой к авторам вместе с рукописью присылать и свой п а р о л ь, по которому автор легко сможет доказать свою идентичность с псевдонимом, данным им в рукописи.

5. Чистый доход от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках поступает в размере 40% в пользу автора. Остальные 60% предназначаются в фонд издательства «П О С Е В» для расширения печатной базы и покрытия расходов по изданию тех политических материалов (книг, брошюр, листовок), которые, играя важную роль в борьбе с коммунистической властью, не могут принести коммерческого дохода. В это же понятие входит бесплатное распространение в СССР через подпольные каналы НТС (Народно-Трудового Союза) целого ряда книг, в том числе и произведений данного автора.

6. В том случае, когда присланная в издательство «П О С Е В» рукопись по своему профилю или по политической направленности не сможет быть помещена в вышеуказанных изданиях, издательство «П О С Е В» обязуется пересылать ее в те печатные органы за границей, которые будут соответствовать политическому профилю данной рукописи. Научные труды в аналогичном случае будут пересылаться издательством как в русские научные, так и иностранные журналы.

7. Не принятые по каким-либо причинам рукописи по обязательству издательства «П О С Е В» в п е р е п е ч а т а н н о м виде будут храниться до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР В ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»?

А) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

Б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

В) Через членов различных многочисленных делегаций: научных, спортивных, артистических и прочих, выезжающих организованным порядком из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

Г) Через иностранных туристов, посещающих СССР: артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к иностранному

коммунисту или к «сочувствующему» подхалиму коммунистической власти.

Д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение осторожности, т. к. за помещениями иностранных посольств ведется наблюдение со стороны М Г Б.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Frankfurt am Main
Merianstrasse 24 a

Издательство «П О С Е В»
Франкфурт на Майне
Мерианштрассе 24 а

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. Из рук в руки.

Члены НТС имеются во всех европейских странах. Почти каждый пароход или делегация из СССР встречаются ими не только в Европе, но и на других континентах: в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и пр.

В связи с этим, приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с членом НТС и пердать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. По почте.

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «П О С Е В» и бросить в любой почтовый ящик любого (некоммунистического) государства.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом варианте оплачивает получатель — издательство «П О С Е В».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ, АРТИСТЫ! ПИШИТЕ В СВОБОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию возлагается историей ответственнейшая задача — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!
За свободную Россию!

С дружеским приветом

Издательство «П О С Е В»

Книги издательства

«Посев»

Г. Андреев — Горькие воды	НМ	13.00
Д. Бернхэм — Грядущее поражение коммунизма		5.00
Его же — Революция директоров		4.00
Проф. А. Билимович — Кооперация в России до, во время и после большевиков		6.50
Проф. Гаккель — О православной иконописи		8.00
В. Глаголев — Материализм в свете современной науки		1.50
М. Зощенко — О чем пел соловей		1.00
Избранное о солидаризме (сборник)		4.00
Идейные искания и политическая программа освободительной борьбы		3.00
В. Картье — Тайны войны		3.00
Р. Киплинг — Маугли		3.00
Б. Кирюшин — Конспект по русской истории		4.50
А. Кузнецова — Забытые сказки		6.00
С. Левицкий — Основы органического мировоззрения		5.00
Проф. Н. Лосский — Общедоступное введение в философию		12.00
Его же — Характер русского народа		9.00
В. Мерцалов — Трагедия российского крестьянства		3.00
А. Неймирок — Дороги и встречи		1.00
Обновленная Россия — сборник статей		8.00
Д. Орвелл — Скотский хутор		2.00
Очерки большевизмоведения		16.00
Проф. Б. Петров — Философская нищета марксизма		6.00
Г. Рар — Плененная церковь		4.50
М. Розанов — Завоеватели белых пятен		10.00
Россия — Альманах		8.00
Н. Синевирский — Смерш		3.00
Сказка об Иване-Царевиче		3.00
Ю. Трегубов — Восемь лет во власти Лубянки		8.00
А. Трушнович — Россия и славянство. Пути России		1.80
Его же — Ценою подвига		6.00
Н. Хохлов — Право на совесть		15.00
В. Шубарт — Европа и душа Востока		4.00

Книжный склад издательства «Посев» располагает большим выбором книг, помимо собственного издания, книгами изд. имени Чехова (США), изд. «Возрождение» (Франция) и др.

Каталоги высылаются бесплатно по первому требованию.

Цена 6 марок (6 DM)